This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

3 3433 06998300 9

Digitized by Google

Digitized by Google

v. 3
R. L A771-067

Lyeskov.

Polnoye sobraniye sochineni.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Сборникъ „Нивы" за 1902 г.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. Лѣскова.

Изданіе третье

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Н. С. Лѣскова, гравиров. на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Digitized by Google

Новыя изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., М.-Морская, 22.

Вышли изъ печати и поступили въ продажу новымъ **ДОПОЛНЕННЫМЪ ВТОРЫМЪ** изданіемъ

„ПЬЕСЫ“ Ант. Чехова.

(VII-й томъ сочин.)

Новое изданіе 7-го тома дополнено тремя пьесами автора: 1) «Свадьба», 2) «Юбилей» и 3) «Три сестры».

Содержаніе: Медвѣдь. Шутка въ одномъ дѣйствіи.—Предложеніе. Шутка въ одномъ дѣйствіи.—Ивановъ. Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.—Лебединая пѣсня. (Калхасъ). Драматическій этюдъ въ одномъ дѣйствіи.—Трагикъ по неволѣ. Шутка въ одномъ дѣйствіи. — Чайка. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. — Дядя Ваня. Сцены изъ деревенской жизни въ четырехъ дѣйствіяхъ.—Свадьба. Сцена въ одномъ дѣйствіи.—Юбилей. Шутка въ одномъ дѣйствіи.—Три сестры. Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ.—Всѣ эти пьесы безусловно дозволены къ представленію.

Изящно изданная книга, отпечатанная на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, въ 8-ю д. л. СПБ. 1902 г.

Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к.; въ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ — 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

СОЧИНЕНІЯ Ив. Фед. Горбунова.

Новое 2-е изданіе подъ редакціею и съ предисловіемъ А. Ѳ. КОНИ. Въ двухъ томахъ, съ портретомъ-геліогравюрою И. Ѳ. Горбунова и одною изъ его мимическихъ сценъ.

Имя Горбунова, какъ автора выдающихся разсказовъ изъ русской народной жизни, широко извѣстно въ Россіи. Эти яркіе, тонкіе по своей наблюдательности, блещущіе безобиднымъ юморомъ, безъ оскорбительной насмѣшки и ядовитой ироніи, разсказы воплощаютъ въ себѣ черты русской жизни съ безконечной галлереей типовъ крестьянъ, мастеровыхъ, купцовъ, духовенства и мелкаго чиновничества. Въ глубоко продуманныхъ и художественныхъ сценкахъ, монологахъ, очеркахъ, разсказахъ, драматическихъ этюдахъ и, наконецъ, въ знаменитыхъ подражаніяхъ старинной письменности, юмористъ съ особымъ искусствомъ и правдивостью талантливо передаетъ бытовыя черты изъ книги скорбей и радостей народной жизни, наводя на серьезные вопросы всякаго, кому дорого нравственное развитіе народа.

Изящное изданіе, отпечатанное на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, въ двухъ томахъ, 1049 страницъ, in 8°. СПБ. 1902 г.

ЦѢНА соч. И. Ѳ. Горбунова въ 2-хъ томахъ 4 руб., съ перес. 4 р. 50 коп.; въ красив. коленкор. переплетахъ 5 руб., съ перес. 5 р. 75 коп.—Цѣна роскошнаго изданія на веленевой бумагѣ 8 р., съ перес. 9 р.; въ переплетахъ 9р., съ перес. 10 р.

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ

литературнаго и художественнаго содержанія

журнала „НИВА“ за XXX лѣтъ (съ 1870—1899 г.).

Составилъ **А. Д. ТОРОПОВЪ.** Съ иллюстрированнымъ (51 рисун. и портрет.) историко-описательнымъ очеркомъ **И. М. Эйзена.**

Литературный, научный и художественный матеріалъ, напечатанный въ „Нивѣ“ за 30 лѣтъ, по своей обширности и разнообразію, представляетъ собою большую, единственную въ своемъ родѣ, энциклопедію, и приведеніе этого матеріала въ систематическій порядокъ имѣетъ поэтому немаловажное значеніе. Являясь яркимъ, нагляднымъ итогомъ всего, что появлялось на страницахъ „Нивы“ за истекшіе 30 лѣтъ, систематическій указатель этотъ представляетъ собой незамѣнимое подспорье для всякаго, желающаго разобраться въ этомъ богатѣйшемъ матеріалѣ, дающемъ полное всестороннее отраженіе жизни за послѣднее тридцатилѣтіе истекшаго вѣка. Поэтому настоящій указатель необходимъ въ каждой библіотекѣ, какъ общественной, такъ и частной, имѣющей „Ниву“ за прошлые годы, и является цѣнной справочной книгой по самымъ разнообразнымъ вопросамъ литературы, искусства, политики и общественной жизни.

Оглавленіе: Часть I. Указатель статей. Романы, повѣсти, разсказы, очерки и проч. Стихотворенія. Біографіи (портреты). — Родиновѣдѣніе: Географія Россіи, Исторія Россіи, Этнографія Россіи.—Исторія (всеобщая). Археологія. Географія, этнографія и путешествія. Естествознаніе. Педагогика. Медицина. Астрономія, Статистика. Спортъ. Охота. Изобрѣтенія и открытія. Театръ и музыка. Совѣты и рецепты. Выставки. Статьи разнаго содержанія. Библіографія. **Часть II. Указатель рисунковъ.** Жанръ и пейзажъ. Литературный альбомъ (иллюстраціи къ произведеніямъ писателей). Скульптура. Историческіе. Событія дня. Бытовые. сляница. Пасха. Святки. Географическіе. Памятники. Выставки. Морское дѣло. Естество-

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
211840B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1942 L

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

Digitized by Google

Rus
L vol. 3 A771067
PROPERTY OF THE
CITY OF NEW YORK

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мы плыли по Ладожскому озеру отъ острова Коневца къ Валааму и на пути зашли по корабельной надобности въ пристань къ Корелѣ. Здѣсь многіе изъ насъ полюбопытствовали сойти на берегъ и съѣздили на добрыхъ чухонскихъ лошадкахъ въ пустынный городокъ. Затѣмъ капитанъ изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

Послѣ посѣщенія Корелы, весьма естественно, что рѣчь зашла объ этомъ бѣдномъ, хотя и чрезвычайно старомъ русскомъ поселкѣ, грустнѣе котораго трудно что-нибудь выдумать. На суднѣ всѣ раздѣляли это мнѣніе, и одинъ изъ пассажировъ, человѣкъ склонный къ философскимъ обобщеніямъ и политической пытливости, замѣтилъ, что онъ никакъ не можетъ понять, для чего это неудобныхъ въ Петербургѣ людей принято отправлять куда-нибудь въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста, отчего, конечно, происходитъ убытокъ казнѣ на ихъ провозъ, тогда какъ тутъ же, вблизи столицы, есть на Ладожскомъ берегу такое превосходное мѣсто, какъ Корела, гдѣ любое вольномысліе и свободомысліе не могутъ устоять передъ апатіею населенія и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я увѣренъ,—сказалъ этотъ путникъ:—что въ настоящемъ случаѣ непремѣнно виновата рутина, или въ крайнемъ случаѣ, можетъ-быть, недостатокъ подлежащихъ свѣдѣній.

Кто-то, часто здѣсь путешествующій, отвѣтилъ на это, что будто и здѣсь разновременно живали какіе-то изгнанники, но только всѣ они недолго будто выдерживали.

Digitized by Google
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
CIRCULATION DEPARTMENT CENTRAL RESERVE
LIBRARY
CIRCULATION DEPARTMENT 222 E. 46TH STREET, NEW YORK

— Одинъ молодецъ изъ семинаристовъ сюда за грубость въ дьячки былъ присланъ (этого рода ссылки я уже и понять не могъ). Такъ пріѣхавши сюда, онъ долго храбрился и все надѣялся какое-то судбище поднять; а потомъ, какъ запилъ, такъ до того пилъ, что совсѣмъ съ ума сошелъ и послалъ такую просьбу, чтобы его лучше какъ можно скорѣе велѣли «разстрѣлять, или въ солдаты отдать, а за неспособностью повѣсить».

— Какая же на это послѣдовала резолюція?

— М... н... не знаю право; только онъ все равно этой резолюціи не дождался: самовольно повѣсился.

— И прекрасно сдѣлалъ,—откликнулся философъ.

— Прекрасно?—переспросилъ разсказчикъ, очевидно купецъ и притомъ человѣкъ солидный и религіозный.

— А что же? по крайней мѣрѣ умеръ и концы въ воду.

— Какъ же концы въ воду-съ? А на томъ свѣтѣ что ему будетъ? Самоубійцы, вѣдь они цѣлый вѣкъ будутъ мучиться. За нихъ даже и молиться никто не можетъ.

Философъ ядовито улыбнулся, но ничего не отвѣтилъ, но зато и противъ него, и противъ купца выступилъ новый оппонентъ, неожиданно вступившійся за дьячка, совершившаго надъ собою смертную казнь безъ разрѣшенія начальства.

Это былъ новый пассажиръ, который ни для кого изъ насъ незамѣтно присѣлъ съ Коневца. Онъ до сихъ поръ молчалъ, и на него никто не обращалъ никакого вниманія, но теперь всѣ на него оглянулись и, вѣроятно, всѣ подивились: какъ онъ могъ до сихъ поръ оставаться незамѣченнымъ. Это былъ человѣкъ огромнаго роста, съ смуглымъ, открытымъ лицомъ и густыми, волнистыми волосами свинцоваго цвѣта: такъ странно отливала его просѣдь. Онъ былъ одѣтъ въ послушничьемъ подрясникѣ, съ широкимъ монастырскимъ ременнымъ поясомъ и въ высокомъ, черномъ суконномъ колпачкѣ. Послушникъ онъ былъ, или постриженный монахъ — этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожскихъ островов не только въ путешествіяхъ, но и на самыхъ островахъ не всегда надѣваютъ камилавки, а въ сельской простотѣ ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впослѣдствіи чрезвычайно интереснымъ человѣкомъ, по виду можно было дать съ небольшимъ лѣтъ за пятьдесятъ; но

Digitized by Google

онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова богатырь, и притомъ типическій, простодушный, добрый русскій богатырь, напоминающій дѣдушку Илью Муромца въ прекрасной картинѣ Верещагина и въ поэмѣ графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не въ ряскѣ ходить, а сидѣть бы ему на «чубаромъ» да ѣздить въ лаптищахъ по лѣсу и лѣниво нюхать, какъ «смолой и земляникой пахнетъ темный боръ».

Но, при всемъ этомъ добромъ простодушіи, немного надо было наблюдательности, чтобы видѣть въ немъ человѣка много видѣвшаго и, что называется, «бывалаго». Онъ держался смѣло, самоувѣренно, хотя и безъ непріятной развязности, и заговорилъ пріятнымъ басомъ съ повадкою:

— Это все ничего не значитъ, — началъ онъ, лѣниво и мягко выпуская слово за словомъ изъ-подъ густыхъ, вверхъ по-гусарски закрученныхъ сѣдыхъ усовъ. — Я, что вы насчетъ того свѣта для самоубійцевъ говорите, что они будто никогда не простятся, не пріемлю. И что за нихъ будто некому молиться—это тоже пустяки, потому что есть такой человѣкъ, который все ихъ положеніе самымъ легкимъ манеромъ очень просто можетъ поправить.

Его спросили: кто же это такой человѣкъ, который вѣдаетъ и исправляетъ дѣла самоубійцъ послѣ ихъ смерти?

— А вотъ кто-съ, — отвѣчалъ богатырь-черноризецъ: — есть въ московской епархіи въ одномъ селѣ попикъ,—прегорчающій пьяница, котораго чуть было не разстригли,— такъ онъ ими орудуетъ.

— Какъ же вамъ это извѣстно?

— А помилуйте-съ, это не я одинъ знаю, а всѣ въ московскомъ округѣ про то знаютъ, потому что это дѣло шло черезъ самого высокопреосвященнаго митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказалъ, что все это довольно сомнительно.

Черноризецъ нимало не обидѣлся этимъ замѣчаніемъ и отвѣчалъ:

— Да-съ, оно по первому взгляду такъ-съ, сомнительно-съ. И что тутъ удивительнаго, что оно намъ сомнительнымъ кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не вѣрили, а потомъ, получивъ вѣрныя тому доказательства, увидали, что нельзя этому не вѣрить, и повѣрили.

Пассажиры пристали къ иноку съ просьбою разсказать

Digitized by Google

эту дивную исторію, и онъ отъ этого не отказался и началъ слѣдующее:

— Повѣствуютъ такъ, что пишетъ будто бы разъ одинъ благочинный высокопреосвященному владыкѣ, что будто бы, говоритъ, такъ и такъ, этотъ попикъ ужасная пьяница,— пьетъ вино и въ приходѣ не годится. И оно, это донесеніе, по одной сущности было справедливо. Владыко и велѣли прислать къ нимъ этого попика въ Москву. Посмотрѣли на него и видятъ, что, дѣйствительно, этотъ попикъ запивашка, и рѣшили, что быть ему безъ мѣста. Попикъ огорчился и даже пересталъ пить, и все убивается и оплакиваетъ: «до чего, думаетъ, я себя довелъ, и что мнѣ теперь больше дѣлать, какъ не руки на себя наложить? Это одно, говоритъ, мнѣ только и осталося: тогда, по крайней мѣрѣ, владыко сжалятся надъ моею несчастною семьею и дочери жениха дадутъ, чтобы онъ на мое мѣсто заступилъ и семью мою питалъ». Вотъ и хорошо: такъ онъ порѣшилъ настоятельно себя кончить и день къ тому опредѣлилъ, но только какъ былъ онъ человѣкъ доброй души, то подумалъ: «хорошо же; умереть-то я, положимъ, умру, а вѣдь я не скотина: я не безъ души, — куда потомъ моя душа пойдетъ?» И сталъ онъ отъ этого часу еще больше скорбѣть. Ну, хорошо: скорбитъ онъ и скорбитъ, а владыко рѣшили, что быть ему за его пьянство безъ мѣста, и легли однажды послѣ трапезы на диванчикъ съ книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этакъ только воздремали, какъ вдругъ видятъ, будто къ нимъ въ келію двери отворяются. Они и окликнули: «кто тамъ?» потому что думали, будто служка имъ про кого-нибудь доложить пришелъ; анъ, вмѣсто служки, смотрятъ — входитъ старецъ, добрый-предобрый, и владыко его сейчасъ узнали, что это преподобный Сергій.

Владыко и говорятъ:

— Ты ли это, пресвятой отче Сергіе?

А угодникъ отвѣчаетъ:

— Я, рабъ Божій Филаретъ.

Владыко спрашиваютъ:

— Что же твоей чистотѣ угодно отъ моего недостоинства?

А святой Сергій отвѣчаетъ:

— Милости хощу.

— Кому же повелишь явить ее?

Digitized by Google

А угодникъ и наименовалъ того попика, что за пьянство мѣста лишенъ, и самъ удалился; а владыко проснулись и думаютъ: «къ чему это причесть: простой это сонъ, или мечтаніе, или духоводительное видѣніе?» И стали они размышлять и, какъ мужъ ума во всемъ свѣтѣ именитаго, находятъ, что это простой сонъ, потому что статочное ли дѣло, что святой Сергій, постникъ и добраго, строгаго житія блюститель, ходатайствовалъ объ іереѣ слабомъ, творящемъ житіе съ небреженіемъ. Ну-съ, хорошо: разсудили такъ его высокопреосвященство и оставили все это дѣло естественному онаго теченію, какъ было начато, а сами провели время, какъ имъ надлежало, и отошли опять въ должный часъ ко сну. Но только что они снова опочили, какъ снова видѣніе, и такое, что великій духъ владыки еще въ большее смятеніе повергло. Можете вообразить: грохотъ... такой странный грохотъ, что ничѣмъ его невозможно выразить... Скачутъ... числа имъ нѣтъ сколько рыцарей... несутся, всѣ въ зеленомъ убранствѣ, латы и перья, и кони, что львы вороные, а впереди ихъ горделивый стратопедархъ въ такомъ же уборѣ, и куда помахнетъ темнымъ знаменемъ, туда всѣ и скачутъ, а на знамени змѣй. Владыко не знаютъ, къ чему этотъ поѣздъ, а оный горделивецъ командуетъ: «терзайте, говоритъ, ихъ: теперь нѣтъ ихъ молитвенника», и проскакалъ мимо; а за симъ стратопедархомъ — его воины, а за ними, какъ стая весеннихъ гусей тощихъ, потянулись скучныя тѣни и все киваютъ владыкѣ грустно и жалостно, и все сквозь плачъ тихо стонутъ: «отпусти его! — онъ одинъ за насъ молится». Владыко, какъ изволили встать, сейчасъ посылаютъ за пьянымъ попикомъ и разспрашиваютъ: какъ и за кого онъ молится? А попъ по бѣдности духовной весь передъ святителемъ растерялся и говоритъ: «я, владыко, какъ положено, совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что онъ повинился: «виноватъ, говоритъ, въ одномъ, что самъ, слабость душевную имѣя и отъ отчаянія думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидіи за безъ покаянія скончавшихся и руки на ся наложившихъ молюсь...» Ну, тутъ владыко и поняли, что то за тѣни предъ нимъ въ видѣніи какъ тощіе гуси плыли, и не восхотѣли радовать тѣхъ демоновъ, что впереди ихъ спѣшили съ губительствомъ, и благословили попика: «ступай,

Digitized by Google

изволили сказать, и къ тому не согрѣшай, а за кого молился — молись», и опять его на мѣсто отправили. Такъ вотъ онъ, этакій человѣкъ, всегда таковымъ людямъ, что жизни боренія не переносятъ, можетъ быть полезенъ, ибо онъ уже отъ дерзости своего призванія не отступитъ и все будетъ за нихъ Создателю докучать, и Тотъ долженъ будетъ ихъ простить.

— Почему же *«долженъ»?*

— А потому, что «толцытеся»; вѣдь это отъ Него же самого повелѣно, такъ вѣдь уже это не перемѣнится же-съ.

— А скажите, пожалуйста, кромѣ этого московскаго священника, за самоубійцъ развѣ никто не молится.

— А не знаю, право, какъ вамъ на это что доложить? Не слѣдуетъ, говорятъ, будто бы за нихъ Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочемъ, можетъ-быть, иные, сего не понимая, и о нихъ молятся. На Троицу, не то на Духовъ день, однако, кажется, даже всѣмъ позволено за нихъ молиться. Тогда и молитвы такія особенныя, читаются. Чудесныя молитвы, чувствительныя; кажется, всегда бы ихъ слушалъ.

— А ихъ нельзя развѣ читать въ другіе дни?

— Не знаю-съ. Объ этомъ надо спросить у кого-нибудь изъ начитанныхъ: тѣ, думается, должны бы знать; да какъ мнѣ это ни къ чему, такъ и не доводилось объ этомъ говорить.

— А въ служеніи вы не замѣчали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нѣтъ-съ, не замѣчалъ; да вы, впрочемъ, на мои слова въ этомъ не полагайтесь, потому что вѣдь я у службы рѣдко бываю.

— Отчего же это?

— Занятія мои мнѣ не позволяютъ.

— Вы іеромонахъ, или іеродіаконъ?

— Нѣтъ, я еще просто въ рясофорѣ.

— Все же вѣдь уже это, значитъ, вы инокъ?

— Н... да-съ; вообще это такъ почитаютъ.

— Почитать-то почитаютъ,—отозвался на это купецъ:— но только изъ рясофора-то еще можно и въ солдаты лобъ забрить.

Богатырь-черноризецъ нимало этимъ замѣчаніемъ не обидѣлся, а только пораздумалъ немножко и отвѣчалъ:

Digitized by Google

— Да, можно, и, говорятъ, бывали такіе случаи; но только я уже старъ: пятьдесятъ третій годъ живу, да и мнѣ военная служба не въ диковину.

— Развѣ вы служили въ военной службѣ?

— Служилъ-съ.

— Что же, ты изъ ундеровъ, что ли? — снова спросилъ его купецъ.

— Нѣтъ, не изъ ундеровъ.

— Такъ кто же: солдатъ или вахтеръ, или помазокъ— чей возокъ?

— Нѣтъ, не угадали: но только я настоящій военный при полковыхъ дѣлахъ былъ почти съ самаго дѣтства.

— Значитъ, кантонистъ?—сердясь добивался купецъ.

— Опять же нѣтъ.

— Такъ прахъ же тебя разберетъ, кто же ты такой?

— Я *конэсеръ*.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсеръ-съ, конэсеръ, или, какъ простонароднѣе выразить, я въ лошадяхъ знатокъ и при ремонтерахъ состоялъ для ихъ руководствованія.

— Вотъ какъ!

— Да-съ, не одну тысячу коней отобралъ и отъѣздилъ. Такихъ звѣрей отучалъ, каковые, напримѣръ, бываютъ, что встаетъ на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчасъ сѣдоку сѣдельною лукою можетъ грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Какъ же вы такихъ усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я къ этому отъ природы своей особенное дарованіе получилъ. Я какъ вскочу, сейчасъ, бывало, не дамъ лошади опомниться, лѣвою рукою ее со всей силы за ухо да въ сторону, а правою кулакомъ между ушей по башкѣ, да зубами страшно на нее заскриплю, такъ у нея, у иной, даже инда мозгъ изо-лба въ ноздряхъ вмѣстѣ съ кровью покажется,— она и усмирѣетъ.

— Ну, а потомъ?

— Потомъ сойдешь, оглядишь, дашь ей въ глаза себѣ налюбоваться, чтобы въ памяти у нея хорошее воображеніе осталось, да потомъ сядешь опять и поѣдешь.

— И лошадь послѣ этого смирно идетъ?

— Смирно пойдетъ, потому, лошадь умна, она чувствуетъ, какой человѣкъ съ ней обращается и какихъ онъ насчетъ

ея мыслей. Меня, напримѣръ, лошадь въ этомъ разсужденіи всякая любила и чувствовала. Въ Москвѣ, въ манежѣ, одинъ конь былъ, совсѣмъ у всѣхъ наѣздниковъ отъ рукъ отбился и изучилъ, профанъ, такую манеру, чтобы за колѣни сѣдока ѣсть. Просто, какъ чортъ, схватитъ зубищами, такъ всю колѣнную чашку и выщелушитъ. Отъ него много людей погибло. Тогда въ Москву англичанинъ Рарей пріѣзжалъ, — «бѣшеный усмиритель» онъ назывался, — такъ она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съѣла, а въ позоръ она его все-таки привела; но онъ тѣмъ отъ нея только и уцѣлѣлъ, что, говорятъ, стальной наколѣнникъ имѣлъ, такъ что она его хотя и ѣла за ногу, но не могла прокусить и сбросила, а то бы ему смерть; а я ее направилъ какъ должно.

— Разскажите, пожалуйста, какъ же вы это сдѣлали?

— Съ Божіею помощію-съ, потому что, повторяю вамъ, я къ этому даръ имѣю. Мистеръ Рарей этотъ, что называется «бѣшеный укротитель», и прочіе, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности въ поводахъ держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсѣмъ противное тому средство изобрѣлъ: я, какъ только англичанинъ Рарей отъ этой лошади отказался, говорю: «ничего, говорю: — это самое пустое, потому что этотъ конь ничего больше, какъ бѣсомъ одержимъ». Англичанинъ этого не можетъ постичь, а я постигну и помогу. Начальство согласилось. Тогда я говорю: «выведите его за Драгомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-съ; свели мы его въ поводьяхъ въ лощину къ Филямъ, гдѣ лѣтомъ господа на дачахъ живутъ. Я вижу: тутъ мѣсто просторное и удобное, и давай дѣйствовать. Сѣлъ на него, на этого людоѣда, безъ рубахи, босой, въ однѣхъ шароварахъ, да въ картузѣ, а по голому тѣлу имѣлъ тесменный поясокъ отъ святого, храбраго князя Всеволода-Гавріила изъ Новгорода, котораго я за молодечество его сильно уважалъ и въ него вѣрилъ; а на томъ пояскѣ его надпись заткана: *«чести моей никому не отдамъ»*. Въ рукахъ же у меня не было никакого особаго инструмента, какъ опричь въ одной — крѣпкая татарская нагайка съ свинцовымъ головкомъ, въ концѣ такъ не болѣе, яко въ два фунта, а въ другой — простой муравный горшокъ съ жидкимъ тѣстомъ. Ну-съ, усѣлся я, а четверо человѣкъ тому коню морду поводьями въ разныя стороны

Digitized by Google

тащутъ, чтобы онъ на котораго-нибудь изъ нихъ зубомъ не кинулся. А онъ, бѣсъ, видя, что на него ополчаемся, и ржетъ, и визжитъ, и потѣетъ, и весь отъ злости трусится, сожрать меня хочетъ. Я это вижу и велю конюхамъ: «тащите, говорю, скорѣе съ него, мерзавца, узду долой». Тѣ ушамъ не вѣрятъ, что я имъ такое даю приказаніе, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вамъ приказываю—то вы сейчасъ исполнять должны!» А они отвѣчаютъ: «что ты, Иванъ Северьянычъ (меня въ міру Иванъ Северьянычъ, господинъ Флягинъ, звали): какъ, говорятъ, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на нихъ сердиться началъ, потому что наблюдаю и чувствую въ ногахъ, какъ конь отъ ярости бѣсится, и его хорошенько подавилъ въ колѣняхъ, а имъ кричу: «снимай!» Они было еще слово; но тутъ уже и я совсѣмъ разсвирѣпѣлъ, да какъ заскриплю зубами—они сейчасъ въ одно мгновеніе узду сдернули, да сами, кто куда видитъ, бросились бѣжать, а я ему въ ту же минуту сейчасъ первое, чего онъ не ожидалъ, трахъ горшокъ объ лобъ: горшокъ разбилъ, а тѣсто ему и потекло и въ глаза, и въ ноздри. Онъ испужался, думаетъ: «что̀ это такое?» А я скорѣе схватилъ съ головы картузъ въ лѣвую руку и прямо имъ коню еще больше на глаза тѣста натираю, а нагайкой его по боку щёлкъ... Онъ ёкъ да впередъ, а я его картузомъ по глазамъ тру, чтобы ему совсѣмъ зрѣніе въ глазахъ замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошелъ, да и пошелъ его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своимъ картузомъ по мордѣ тѣсто размазываю, слѣплю; зубнымъ скрежетомъ въ трепетъ привожу, пугаю, а по бокамъ съ обѣихъ сторонъ нагайкой деру, чтобы понималъ, что это не шутка... Онъ это понялъ и не сталъ на одномъ мѣстѣ упорствовать, а ударился меня носить. Носилъ онъ меня, сердечный, носилъ, а я его поролъ да поролъ, такъ что чѣмъ усерднѣе онъ носится, тѣмъ и я для него еще ревностнѣе плетью стараюсь, и, наконецъ, оба мы отъ этой работы стали уставать: у меня плечо ломитъ и рука не поднимается, да и онъ, смотрю, уже пересталъ коситься и языкъ изо рта вонъ посунулъ. Ну, тутъ я вижу, что онъ пардону проситъ, поскорѣе съ него сошелъ, протеръ ему глаза, взялъ за вихорь и говорю: «стой, собачье мясо, песья снѣдь!» да какъ дерну его книзу—онъ

Digitized by Google

на колѣни передо мною и палъ, и съ той поры такой скромникъ сдѣлался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ѣздилъ, но только скоро издохъ.

— Издохъ однако?

— Издохъ-съ; гордая очень тварь былъ, поведеніемъ смирился, но характера своего, видно, не могъ преодолѣть. А господинъ Рарей меня тогда, объ этомъ прослышавъ, къ себѣ въ службу приглашалъ.

— Что же, вы служили у него?

— Нѣтъ-съ.

— Отчего же?

— Да какъ вамъ сказать! Первое дѣло, что я вѣдь былъ конэсеръ и больше къ этой части привыкъ—для выбора, а не для отъѣздки, а ему нужно было только для одного бѣшенаго усмирительства, а второе, что это съ его стороны, какъ я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотѣлъ у меня секретъ взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продалъ.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— Такъ... онъ самъ меня, должно быть, испугался.

— Разскажите, сдѣлайте милость, что̀ это еще за исторія?

— Никакой-съ особенной исторіи не было, а только онъ говоритъ: «открой мнѣ, братецъ, твой секретъ, — я тебѣ большія деньги дамъ и къ себѣ въ конэсеры возьму». Но какъ я никогда не могъ никого обманывать, то и отвѣчаю: «какой же секретъ?—это глупость». А онъ все съ аглицкой, ученой точки беретъ, и не повѣрилъ; говоритъ: «ну, если ты не хочешь такъ, въ своемъ видѣ, открыть, то давай съ тобою вмѣстѣ ромъ пить». Послѣ этого мы пили вдвоемъ съ нимъ очень много рому, до того, что онъ раскраснѣлся и говоритъ, какъ умѣлъ: «ну, теперь, молъ, открывай, что̀ ты съ конемъ дѣлалъ?» А я отвѣчаю: «вотъ что...» да глянулъ на него какъ можно пострашнѣе и зубами заскрипѣлъ, а какъ горшка съ тѣстомъ на ту пору при себѣ не имѣлъ, то взялъ да для примѣру стаканомъ на него размахнулъ, а онъ вдругъ, это видя, какъ нырнетъ — и спустился подъ столъ, да потомъ какъ шаркнетъ въ двери, да и былъ таковъ, и негдѣ его стало и искать. Такъ съ тѣхъ поръ мы съ нимъ уже и не видались.

Digitized by Google

— Поэтому вы къ нему и не поступили?

— Поэтому-съ. Да и какъ же поступить, когда онъ съ тѣхъ поръ даже встрѣтить меня опасался? А я бы очень къ нему тогда хотѣлъ, потому что онъ мнѣ, пока мы съ нимъ на ромѣ на этомъ состязались, очень понравился; но вѣрно своего пути не обѣжишь, и надо было другому призванію послѣдовать.

— А вы что же почитаете своимъ призваніемъ?

— А не знаю, право, какъ вамъ сказать... Я вѣдь много что происходилъ; мнѣ доводилось быть-съ и на коняхъ, и подъ конями, и въ плѣну былъ, и воевалъ, и самъ людей билъ, и меня увѣчили, такъ что, можетъ-быть, не всякій бы вынесъ.

— А когда же вы въ монастырь пошли?

— Это недавно-съ, всего нѣсколько лѣтъ послѣ всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призваніе къ этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, какъ это объяснить... впрочемъ, надо полагать, что имѣлъ-съ.

— Почему же вы это такъ... какъ будто не навѣрное говорите?

— Да потому, что какъ же навѣрное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-съ, что я многое даже не своею волею дѣлалъ.

— А чьею же?

— По родительскому обѣщанію.

— И что же такое съ вами происходило по родительскому обѣщанію?

— Всю жизнь свою я погибалъ и никакъ не могъ погибнуть.

— Будто такъ?

— Именно такъ-съ.

— Разскажите же намъ, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу разсказать, но только я иначе не могу-съ, какъ съ самаго первоначала.

— Сдѣлайте одолженіе. Это тѣмъ интереснѣе будетъ.

— Ну, ужъ не знаю-съ, будетъ ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Digitized by Google

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бывшій конэсеръ Иванъ Северьянычъ, господинъ Флягинъ, началъ свою повѣсть такъ:

— Я родился въ крѣпостномъ званіи и происхожу изъ дворовыхъ людей графа К. изъ орловской губерніи. Теперь эти имѣнія при молодыхъ господахъ расплылись, но при старомъ графѣ были очень значительны. Въ селѣ Г., гдѣ самъ графъ изволилъ жить, былъ громадный великій домина, флигеля для пріѣзду, театръ, особая кегельная галлерея, псарня, живые медвѣди на столбу сидѣли, оранжереи, сады, свои пѣвчіе концерты пѣли, свои актеры всякія сцены представляли; были свои ткацкія и всякія свои мастерства содержались; но болѣе всего обращалось вниманіе на конный заводъ. Ко всякому дѣлу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще въ особомъ вниманіи и все равно какъ въ военной службѣ отъ солдата въ прежнія времена кантонистъ происходилъ, чтобы сражаться, такъ и у насъ отъ кучера шелъ кучеренокъ, чтобы ѣздить, отъ конюха — конюшонокъ, чтобы за лошадьми ходить, а отъ кормового мужика кормовикъ, чтобы съ гумна на ворки кормъ возить. Мой родитель былъ кучеръ Северьянъ, и хотя приходился онъ не изъ самыхъ первыхъ кучеровъ, потому что у насъ ихъ было большое множество; но, однако, онъ шестерикомъ правилъ, и въ царскій проѣздъ одинъ разъ въ седьмомъ номерѣ былъ и старинною синею ассигнаціею жалованъ. Отъ родительницы своей я въ самомъ юномъ сиротствѣ остался и ее не помню, потому какъ я былъ у нея *молитвенный сынъ*, значитъ, она, долго дѣтей не имѣя, меня себѣ у Бога все выпрашивала, и какъ выпросила, такъ сейчасъ же, меня породивши, и умерла, оттого, что я произошелъ на свѣтъ съ необыкновенною большою головою, такъ что меня поэтому и звали не Иванъ Флягинъ, а просто *Голованъ*. Живучи при отцѣ на кучерскомъ дворѣ, всю жизнь свою я проводилъ на конюшнѣ, и тутъ я постигъ тайну познанія въ животномъ и, можно сказать, возлюбилъ коня, потому что маленькимъ еще на четвереньках я у лошадей промежъ ногъ ползалъ и онѣ меня не увѣчили, а подросъ—такъ и совсѣмъ съ ними спознался. Заводъ у насъ былъ отдѣльно,—конюшни отдѣльно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовыхъ воспи-

томковъ и обучали ихъ. У насъ у всякаго кучера съ форейторомъ были шестерики и все разныхъ сортовъ: вятки, казанки, калмыки, битюгскіе, донскіе,—все это были изъ приводныхъ коней, которые по ярмаркамъ покупались, а то, разумѣется, больше было своихъ заводскихъ, но про этихъ говорить не стоитъ, потому что заводскіе кони смирные и ни сильнаго характера, ни фантазіи веселой не имѣютъ; а вотъ эти дикари, это ужасные были звѣри. Покупаетъ ихъ, бывало, графъ прямо цѣлыми косяками, какъ есть весь табунъ, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и какъ скоро мы ихъ домой пригонимъ, сейчасъ начинаемъ ихъ школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнутъ, а воспитанію не подаются: стоятъ на дворѣ— все дивятся и даже отъ стѣнъ шарахаются, а все только на небо, какъ птицы, глазами косятъ. Даже инда жалость, глядя на иного, возьметъ, потому что видишь, что вотъ такъ бы онъ, кажется, сердечный, и улетѣлъ, да крылышекъ у него нѣтъ... И овса или воды изъ корыта ни за что по первоначалу ни пить, ни ѣсть не станетъ, и такъ все сохнетъ, сохнетъ, пока изведется совсѣмъ и околѣетъ. Иногда этой траты бываетъ болѣе, какъ на половину того, что купимъ, а особенно изъ киргизскихъ. Ужасно они степную волю любятъ. Но зато, которые оборкаются и останутся жить, изъ тѣхъ тоже не малое число, учивши, покалѣчить придется, потому что на ихъ дикость одно средство—строгость, но зато уже которые все это воспитаніе и науку вынесутъ, такъ изъ этихъ такая отборность выходитъ, что никогда съ ними никакой заводской лошади не сравниться по ѣздовой добродѣтели.

Родитель мой, Северьянъ Иванычъ, правилъ киргизскимъ шестерикомъ, а когда я подросъ, такъ меня къ нему въ этотъ же шестерикъ форейторомъ посадили. Лошади были жестокіе, не то, что нынѣшнія какія-нибудь кавалерійскія, что для офицеровъ берутъ. Мы этихъ офицерскихъ кофишками звали потому, что на нихъ нѣтъ никакого удовольствія ѣхать, такъ какъ на нихъ офицеры даже могутъ сидѣть, а тѣ были просто звѣрь, аспидъ и василискъ, все вмѣстѣ: морды эти однѣ чего стоили, или оскалъ, либо ножищи, или гривье... ну, то-есть, просто сказать ужасть! Устали онѣ никогда не знали; не только что восемьдесятъ, а даже сто и сто пятнадцать верстъ изъ деревни до Орла

Digitized by Google

или назадъ домой такимъ же манеромъ, это имъ, бывало, безъ отдыха нипочемъ сдѣлать. Какъ разнесутся, такъ только гляди, чтобы мимо не пролетѣли. А мнѣ въ ту пору, какъ я на форейторскую подсѣдельную сѣлъ, было еще всего одиннадцать лѣтъ и голосъ у меня былъ настоящій такой, какъ по тогдашнему приличію для дворянскихъ форейторовъ требовалось: самый пронзительный, звонкій и до того продолжительный, что я могъ это «дддиди-и-и-ттты-о-о» завести и полчаса этакъ звенѣть; но въ тѣлѣ своемъ силами я еще не могучъ былъ, такъ что дальніе пути не могъ свободно верхомъ переносить и меня еще присѣдлывали къ лошади, то-есть къ сѣдлу и къ подпругамъ, ко всему ремнями умотаютъ и сдѣлаютъ такъ, что упасть нельзя. Расколотитъ на смерть и даже не одинъ разъ сомлѣешь и чувство потеряешь, а все въ своей позиціи верхомъ ѣдешь, и опять, наскучивъ мотаться, въ себя придешь. Должность не легкая, за дорогу, бывало, нѣсколько разъ такія перемѣны происходятъ, то ослабѣешь, то исправишься, а дома отъ сѣдла совсѣмъ уже какъ неживого отрѣшатъ, положатъ и станутъ давать хрѣнъ нюхать; ну, а потомъ привыкъ и все это нипочемъ сдѣлалось; еще, бывало, ѣдешь да все норовишь какого-нибудь встрѣчнаго мужика кнутомъ по рубахѣ вытянуть. Это форейторское озорство уже извѣстно. Вотъ этакъ мы разъ и ѣдемъ съ графомъ въ гости. Погода лѣтняя, прекрасная, и графъ сидятъ съ собакою въ открытой коляскѣ, батюшка четверней правитъ, а я впереди задуваю, а дорога тутъ съ большака свертываетъ и идетъ особый поворотъ верстъ на пятнадцать къ монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивѣе къ нимъ ѣздить было: преестественно, тамъ на казенной дорогѣ нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчатъ; а у монаховъ къ пустынѣ дорожка въ чистотѣ, разметена вся и подчищена и по краямъ сажеными березками обросла и отъ тѣхъ березъ такая зелень и духъ, а вдаль полевой видъ обширный... Словомъ сказать,—столь хорошо, что вотъ такъ бы при всемъ этомъ и вскрикнулъ, а кричать, разумѣется, безъ пути нельзя, такъ я и держусь, скачу; но только вдругъ на третьей или четвертой верстѣ не доѣзжая монастыря, стало этакъ клонить подо взволочекъ и вдругъ я завидѣлъ тутъ впереди себя малую точку... что-то ползетъ

Digitized by Google

по дорогѣ, какъ ежикъ. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянулъ «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и съ версту все это звучалъ и до того разгорѣлся, что какъ стали мы нагонять парный возъ, на кого я кричалъ-то, я и сталъ въ стременахъ подниматься и вижу, что человѣкъ лежитъ на сѣнѣ на возу и какъ его вѣрно пріятно на свѣжемъ повѣтріи солнышкомъ пригрѣло, то онъ, ничего не опасаяся, крѣпко-прекрѣпко спитъ, такъ сладко вверхъ спиною раскинулся и даже руки врозь разложилъ, точно возъ обнимаетъ. Я вижу, что уже онъ не свернетъ, взялъ въ сторону, да поровнявшись съ нимъ, стоя на стременахъ, впервые тогда заскрипѣлъ зубами, да какъ полосну его во всю мочь вдоль спины кнутомъ. Его лошади какъ подхватятъ съ возомъ подъ гору, а онъ сразу какъ взметнется, старенькій этакой, вотъ въ такомъ, какъ я нонѣ, въ послушничьемъ колпачкѣ и лицо какое-то такое жалкое, какъ у старой бабы, да весь перепуганный и слезы текутъ, и нуриться на сѣнѣ, словно пескарь на сковородѣ, да вдругъ не разобралъ вѣрно съ просонья гдѣ край, да кувыркъ съ воза подъ колесо и въ пыли-то и поползъ... въ вожжи ногами замотался... Мнѣ и отцу моему, да и самому графу сначала это смѣшно показалось, какъ онъ кувыркнулся, а тутъ вижу я, что лошади внизу у моста зацѣпили колесомъ за надолбу и стали, а онъ не поднимается и не ворочается... Ближе подъѣхали, а гляжу онъ весь сѣрый въ пыли и на лицѣ даже носа не значится, а только трещина и изъ нея кровь... Графъ велѣли остановиться, сошли, посмотрѣли и говорятъ «убитъ». Погрозились мнѣ дома за это выпороть и велѣли скорѣй въ монастырь ѣхать. Оттуда людей послали на мостъ, а графъ тамъ съ игуменомъ переговорили и по осени отъ насъ туда въ дары цѣлый обозъ пошелъ съ овсомъ и съ мукою и съ сушеными карасями, а меня отецъ кнутомъ въ монастыр[illegible]а, сараемъ по штанамъ продралъ, но настояще пороть не стали, потому что мнѣ, по моей должности, сейчасъ опять верхомъ надо было садиться. Тѣмъ это дѣло и кончилось, но въ эту же самую ночь приходитъ ко мнѣ въ видѣніи этотъ монахъ, котораго я засѣкъ, и опять какъ баба плачетъ. Я говорю:

— Чего тебѣ отъ меня надо? пошелъ прочь!

А онъ отвѣчаетъ:

— Ты, говоритъ, меня безъ покаянія жизни рѣшилъ,

Digitized by Google

— Ну, мало чего нѣтъ,—отвѣчаю:—что же мнѣ теперь съ тобой дѣлать? Вѣдь я это не нарочно. Да и чѣмъ, говорю, тебѣ теперь худо? Умеръ ты и все кончено.

— Кончено-то,—говоритъ:—это, дѣйствительно, такъ, и я тебѣ очень за это благодаренъ, а теперь я пришелъ отъ твоей родной матери сказать тебѣ, что знаешь ли ты, что ты у нея *моленый сынъ?*

— Какъ же,—говорю:—слышалъ я про это, бабушка Ѳедосья мнѣ про это не разъ сказывала.

— А знаешь ли,—говоритъ:—ты еще и то, что ты *сынъ обѣщанный?*

— Какъ это такъ?

— А такъ,—говоритъ:—что ты Богу обѣщанъ.

— Кто же меня Ему обѣщалъ?

— Мать твоя.

— Ну, такъ пускай же,—говорю:—она сама придетъ мнѣ про это скажетъ, а то ты, можетъ-быть, это выдумалъ.

— Нѣтъ, я, — говоритъ: — не выдумывалъ, а ей придти нельзя.

— Почему?

— Такъ, — говоритъ: — потому, что у насъ здѣсь не то, что у васъ на землѣ: здѣшніе не всѣ говорятъ и не всѣ ходятъ, а кто чѣмъ одаренъ, тотъ то и дѣлаетъ. А если ты хочешь, говоритъ, такъ я тебѣ дамъ знаменіе въ удостовѣреніе.

— Хочу,—отвѣчаю:—только какое же знаменіе?

— А вотъ, — говоритъ: — тебѣ знаменіе, что будешь ты много разъ погибать и ни разу не погибнешь, пока придетъ твоя настоящая погибель и ты тогда вспомнишь материно обѣщаніе за тебя и пойдешь въ чернецы.

— Чудесно,—отвѣчаю:—согласенъ и ожидаю.

Онъ и скрылся, а я проснулся и про все это позабылъ и не чаю того, что всѣ эти погибели сейчасъ по ряду и начнутся. Но только черезъ нѣкоторое время поѣхали мы съ графомъ и съ графинею въ Воронежъ,—къ новоявленнымъ мощамъ маленькую графиньку косолапую на исцѣленіе туда везли,—и остановились въ елецкомъ уѣздѣ, въ селѣ Крутомъ, лошадей кормить, я и опять подъ колодой уснулъ, и вижу опять идетъ тотъ монашекъ, котораго я рѣшилъ, и говоритъ:

— Слушай, Голованька, мнѣ тебя жаль, просись скорѣй у господъ въ монастырь,—они тебя пустятъ.

Digitized by Google

Я отвѣчаю:—Это съ какой стати?

А онъ говоритъ:

— Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь.

Думаю, ладно; надо тебѣ что-нибудь каркать, когда я тебя убилъ, и съ этимъ всталъ, запрягъ съ отцомъ лошадей и выѣзжаемъ, а гора здѣсь прекрутая-крутищая и сбоку обрывъ, въ которомъ тогда не вѣсть что народу погибало. Графъ и говоритъ:

— Смотри, Голованъ, осторожнѣе.

А я на это ловокъ былъ и хоть вожжи отъ дышловыхъ, которымъ надо спускать, въ рукахъ у кучера, но я много умѣлъ отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли такъ спускать, что просто хвостомъ на землю садились, но одинъ изъ нихъ, подлецъ, съ астрономіей былъ — какъ только его сильно потянешь, онъ сейчасъ голову кверху деретъ и прахъ его знаетъ куда на небо созерцаетъ. Эти астрономы въ корню—нѣтъ ихъ хуже, а особенно въ дышлѣ они самые опасные, за конемъ съ такою повадкою форейторъ завсегда смотри, потому что астрономъ самъ не зритъ какъ тычетъ ногами и не вѣсть куда попадаетъ. Все это я, разумѣется, за своимъ астрономомъ зналъ и всегда помогалъ отцу: своихъ подсѣдельную и подручную, бывало, на лѣвомъ локтѣ поводами держу и такъ ихъ ставлю, что онѣ хвостами дышловымъ въ самую морду приходятся, а дышло у нихъ промежду круповъ, а у самого у меня кнутъ всегда наготовѣ, у астронома передъ глазами, и чуть вижу, что онъ уже очень въ небо полѣзъ, я его по храпѣ, и онъ сейчасъ морду спуститъ и отлично съѣдемъ. Такъ и на этотъ разъ: спускаемъ экипажъ и я верчусь, знаете, передъ дышломъ и кнутомъ астронома остепеняю, какъ вдругъ вижу, что ужъ онъ ни отцовыхъ вожжей, ни моего кнута не чуетъ, весь ротъ въ крови отъ удиловъ и глаза выворотилъ, а самъ я вдругъ слышу сзади что-то заскрипѣло, да хлопъ, и весь экипажъ сразу такъ и посунулся... Тормозъ лопнулъ! Я кричу отцу: «держи! держи!» и онъ самъ ореть: «держи, держи!» А уже чего держать, когда весь шестерикъ, какъ прокаженные, несутся и сами ничего не видятъ, а передъ глазами у меня вдругъ что-то стрекнуло и смотрю отецъ съ козелъ долой летитъ... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мнѣ господъ или себя стало,

Digitized by Google

но только я, видя неминуемую гибель, съ подсѣдельной бросился прямо на дышло и на концѣ повисъ... Не знаю опять, сколько тогда во мнѣ вѣсу было, но только на перевѣсѣ вѣдь это очень тяжело вѣситъ, и я дышловиковъ такъ сдушилъ, что они захрипѣли и... гляжу уже моихъ передовыхъ нѣтъ, какъ отрѣзало ихъ, а я вишу надъ самою пропастью, а экипажъ стоитъ и уперся въ коренныхъ, которыхъ я дышломъ подавилъ.

Тутъ только я опомнился и пришелъ въ страхъ и руки у меня оторвались, и я полетѣлъ и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю черезъ сколько времени и вижу, что я въ какой-то избѣ и здоровый мужикъ говоритъ мнѣ:

— Ну, что, неужели ты, малый, живъ?

Я отвѣчаю:

— Должно быть живъ.

— А помнишь ли, говоритъ,—что съ тобою было?

Я сталъ припоминать и вспомнилъ, какъ насъ лошади понесли и я на конецъ дышла бросился и повисъ надъ ямищей; а что дальше было—не знаю.

А мужикъ и улыбается:

— Да и гдѣ же, говоритъ,—тебѣ это знать. Туда въ пропасть и кони-то твои передовые заживо не долетѣли—расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: какъ на глиняну глыбу сорвался, упалъ, такъ на ней внизъ какъ на салазкахъ и скатился. Думали мертвый совсѣмъ, а глядимъ ты дышишь, только воздухомъ духъ оморило. Ну, а теперь, говоритъ, если можешь, вставай, поспѣшай скорѣе къ угоднику: графъ деньги оставилъ, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если живъ будешь, къ нему въ Воронежъ привезть.

Я и поѣхалъ, но только всю дорогу ничего не говорилъ, а слушалъ, какъ этотъ мужикъ, который меня везъ, все на гармоніи «барыню» игралъ.

Какъ мы пріѣхали въ Воронежъ, графъ призвалъ меня въ комнаты и говоритъ графинюшкѣ:

— Вотъ, говоритъ,—мы, графинюшка, этому мальчишкѣ спасеніемъ своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а графъ говоритъ:

— Проси у меня, Голованъ, чего хочешь, — я все тебѣ сдѣлаю.

Я говорю:

Digitized by Google

— Я не знаю чего просить!

А онъ говоритъ:

— Ну, чего тебѣ хочется?

А я думалъ-думалъ, да говорю:

— Гармонію.

Графъ засмѣялся и говоритъ:

— Ну, ты взаправду дуракъ, а, впрочемъ, это само собою, я самъ, когда придетъ время, про тебя вспомню, а гармонію, говоритъ,—ему сейчасъ же купить.

Лакей сходилъ въ лавки и приноситъ мнѣ на конюшню гармонію:

— На, говоритъ, играй.

Я было ее взялъ и сталъ играть, но только вижу, что ничего не умѣю, и сейчасъ ее бросилъ, а потомъ ее у меня странницы на другой день изъ-подъ сарая и украли.

Мнѣ надо было бы этимъ случаемъ графской милости пользоваться, да тогда же, какъ монахъ совѣтовалъ, въ монастырь проситься; а я самъ не знаю зачѣмъ себѣ гармонію выпросилъ и тѣмъ первое самое призваніе опровергъ и оттого пошелъ отъ одной стражбы къ другой, все болѣе и болѣе претерпѣвая, но нигдѣ не погибъ, пока все мнѣ монахомъ въ видѣніи предреченное въ настоящемъ житейскомъ исполненіи оправдалось за мое недовѣріе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Не успѣлъ я, по семъ облагодѣтельствованіи своихъ господъ, вернуться съ ними домой на новыхъ лошадяхъ, коихъ мы въ Воронежѣ опять шестерикъ собрали, какъ прилучилося мнѣ завесть у себя въ конюшнѣ на полочкѣ хохлатыхъ голубей,—голубя и голубочку. Голубь былъ глинистаго пера, а голубочка бѣленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мнѣ нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркуетъ, такъ это пріятно слушать, а днемъ они между лошадей летаютъ и въ ясли садятся, кормъ клюютъ и сами съ собою цѣлуются... Утѣшно на все на это молодому ребенку смотрѣть.

И пошли у нихъ послѣ этого цѣлованія дѣти; одну пару вывели и опять эти растутъ, а они цѣловались-цѣловались, да и опять на яички сѣли и еще вывели... Маленькіе такіе эти голубяточки, точно въ шерсти, а пера нѣтъ, и желтые какъ бываютъ ядрышки на травѣ, что зовутъ «кошачьи

просвирки», а носы, притомъ, не хуже какъ у черкесскихъ князей, здоровенные... Сталъ я ихъ, этихъ голубятокъ, разглядывать и, чтобы ихъ не помять, взялъ одного за носикъ и смотрѣлъ, смотрѣлъ на него и засмотрѣлся, какой онъ нѣжный, а голубь его у меня все отбиваетъ. Я съ нимъ и забавлялся,—все его этимъ голубенкомъ дразню; да потомъ какъ сталъ пичужку назадъ въ гнѣздо класть, а онъ уже и не дышитъ. Этакая досада; я его и въ горстяхъ-то грѣлъ и дышалъ на него, все оживить хотѣлъ;—нѣтъ, пропалъ да и полно! Я разсердился, взялъ да и вышвырнулъ его вонъ за окно. Ну, ничего; другой въ гнѣздѣ остался, а этого, дохлаго, откуда ни возьмись, бѣлая кошка какая-то мимо бѣжала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо замѣтилъ, что она вся бѣлая, а на лобочкѣ какъ шапочка черное пятнышко. Ну, да думаю себѣ, прахъ съ ней, — пусть она мертваго ѣстъ. Но только ночью я сплю и вдругъ слышу на полочкѣ надъ моей кроватью голубь съ кѣмъ-то сердито бьется. Я вскочилъ и гляжу, а ночь лунная и мнѣ видно, что это опять та же кошечка бѣлая уже другого живого моего голубенка тащитъ.

— Ну, думаю, нѣтъ, зачѣмъ же, молъ, это такъ дѣлать? да вдогонку за нею и швырнулъ сапогомъ, но только не попалъ, — такъ она моего голубенка унесла и вѣрно гдѣ-нибудь съѣла. Осиротѣли мои голубки, но недолго поскучали и начали опять цѣловаться и опять у нихъ парка дѣтей готовы, а та проклятая кошка опять какъ тутъ... Лихо ее знаетъ, какъ это она все это наблюдала, но только гляжу я, одинъ разъ она среди бѣлаго дня опять голубенка волочитъ, да такъ ловко, что мнѣ и швырнуть-то за ней нечѣмъ было. Но зато же я рѣшился ее пробрать и настроилъ въ окнѣ такой силокъ, что чуть она ночью морду показала, тутъ ее сейчасъ и прихлопнуло, и она сидитъ и жалится, мяучитъ. Я ее сейчасъ изъ силка вынулъ, воткнулъ ее мордою и передними лапами въ голенище, въ сапогъ, чтобы она не царапалась, а заднія лапки вмѣстѣ съ хвостомъ забралъ въ лѣвую руку, въ рукавицу, а въ правую кнутъ со стѣны снялъ, да и пошелъ ее на своей кровати учить. Кнутовъ, я думаю, сотни полторы я ей закатилъ и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее изъ сапога вынулъ и думаю: издохла или не издохла? Семъ, думаю, испробовать, жива она или

Digitized by Google

нѣтъ? и положилъ я ее на порогъ да топорикомъ хвостъ ей и отсѣкъ: она этакъ «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась разъ десять, да и побѣжала.

— Хорошо, думаю, теперь ты сюда, небось, въ другой разъ на моихъ голубятъ не пойдешь; а чтобы ей еще страшнѣе было, такъ я на утро взялъ да и хвостъ ея, который отсѣкъ, гвоздикомъ у себя надъ окномъ снаружи приколотилъ, и очень этимъ былъ доволенъ. Но только такъ черезъ часъ или не болѣе какъ черезъ два, смотрю, вбѣгаетъ графинина горничная, которая отъ-роду у насъ на конюшнѣ никогда не была, и держитъ надъ собой въ рукѣ зонтикъ, а сама кричитъ:

— Ага, ага! вотъ это кто! вотъ это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, говоритъ, — Зозиньку изувѣчилъ? Признавайся: это вѣдь у тебя ея хвостикъ надъ окномъ приколоченъ?

Я говорю:

— Ну такъ что же такое за важность, что хвостикъ приколоченъ?

— А какъ же ты, говоритъ, это смѣлъ?

— А она, молъ, какъ смѣла моихъ голубятъ ѣсть?

— Ну, важное дѣло твои голубята.

— Да и кошка, молъ, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрастѣ-то поругиваться сталъ.

— Что, говорю, за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Какъ ты эдакъ смѣешь говорить: ты развѣ не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала; да съ этимъ ручкою хвать меня по щекѣ, а я, какъ самъ тоже съ дѣтства былъ скоръ на руку, долго не думая, схватилъ отъ дверей грязную метлу, да ее метлою по таліи...

Боже мой, что̀ тутъ поднялось! Повели меня въ контору къ нѣмцу управителю судить, и онъ разсудилъ, чтобы меня какъ можно жесточе выпороть и потомъ съ конюшни долой и въ аглицкій садъ для дорожки молоткомъ камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не могъ, и къ отцу на рогожѣ снесли, но это бы мнѣ ничего, а вотъ послѣднее осужденіе, чтобы стоять на колѣняхъ да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думалъ - ду-

Digitized by Google

малъ, какъ себѣ помочь, и рѣшился съ своею жизнью покончить. Припасъ я себѣ крѣпкую сахарную веревочку, у лакейченка ее выпросилъ, и пошелъ вечеромъ выкупался, а оттудова въ осиновый лѣсокъ за огуменникомъ, сталъ на колѣни, помолился за вся христіаны, привязалъ ту веревочку за сукъ, затравилъ петлю и всунулъ въ нее голову. Осталося скакнуть, да и вся бъ недолга была... Я бы все это отъ своего характера пресвободно и исполнилъ, но только-что размахнулся да соскочилъ съ сука и повисъ, какъ, гляжу, уже я на землѣ лежу, а передо мною стоитъ цыганъ съ ножомъ и смѣется, — бѣлые-пребѣлые зубы, да такъ ночью середь черной морды и сверкаютъ.

— Что это, говоритъ,—ты, батракъ, дѣлаешь?

— А тебѣ, молъ, что до меня за надобность?

— Или, пристаетъ,—тебѣ жить худо?

— Видно, говорю,—не сахарно.

— Такъ чѣмъ своей рукой вѣшаться, пойдемъ, говоритъ,— лучше съ нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такіе и чѣмъ живете? Вы, вѣдь, небось, воры?

— Воры, говоритъ,—мы и воры, и мошенники.

— Да; вотъ видишь, говорю,—а при случаѣ, молъ, вы, пожалуй, небось, и людей рѣжете?

— Случается, говоритъ,—и это дѣйствуемъ.

Я подумалъ-подумалъ: что̀ тутъ дѣлать: дома завтра и послѣзавтра опять все то же самое, стой на дорожкѣ на колѣняхъ, да тюпъ да тюпъ молоточкомъ камешки бей, а у меня отъ этого рукомесла уже на колѣнкахъ наросты пошли и въ ушахъ одно слышаніе было какъ надо мною всѣ насмѣхаются, что осудилъ меня вражій нѣмецъ за кошкинъ хвостъ цѣлую гору камня перемусорить. Смѣются всѣ: «А еще, говорятъ, спаситель называешься: господамъ жизнь спасъ». Просто терпѣнія моего не стало и, взгадавъ все это, что если не удавиться, то опять къ тому же надо вернуться, махнулъ я рукою, заплакалъ и пошелъ въ разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тутъ этотъ хитрый цыганъ не далъ мнѣ опомниться и говоритъ:

— Чтобъ я, говоритъ, тебѣ повѣрилъ, что ты назадъ не

Digitized by Google

уйдешь, ты долженъ мнѣ сейчасъ изъ барской конюшни пару коней вывести, да бери коней такихъ самыхъ наилучшихъ, чтобы мы на нихъ до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился; страсть какъ мнѣ не хотѣлось воровать, однако, видно, нававшись груздемъ, полѣзешь и въ кузовъ; и я, знавши въ конюшнѣ всѣ ходы и выходы, безъ труда вывелъ за гумно пару лихихъ коней, кои совсѣмъ устали не вѣдали, а цыганъ еще до того сейчасъ досталъ изъ кармана на шнурочкѣ волчьи зубы и повѣсилъ ихъ и одному, и другому коню на шеи, и мы съ цыганомъ сѣли на нихъ и поѣхали. Лошади, чуя на себѣ волчью кость, такъ неслись, что и сказать нельзя, и мы на нихъ къ утру стали за сто верстъ подъ городомъ Карачевомъ. Тутъ мы этихъ коней вразъ продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли къ одной рѣчкѣ и стали дѣлиться. За коней мы взяли триста рублей, разумѣется по-тогдашнему, на ассигнацію, а цыганъ мнѣ даетъ всего одинъ серебряный цѣлковый и говоритъ:

— Вотъ тебѣ твоя доля.

Мнѣ это обидно показалось.

— Какъ, говорю,—я же тѣхъ лошадей кралъ и за то больше тебя пострадать могъ, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, отвѣчаетъ,—что такая выросла.

— Это, говорю, — глупости: почему же ты себѣ много берешь?

— А, опять, говоритъ,—потому, что я мастеръ, а ты еще ученикъ.

— Что, говорю, ученикъ, — ты это все врешь! да и пошло у насъ съ нимъ слово за слово и оба мы поругались. А наконецъ, я говорю: я съ тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлецъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— И отстань, братецъ, Христа ради, потому что ты безпачпортный, еще съ тобою спутаешься.

Такъ мы и разошлись, и я было пошелъ къ засѣдателю, чтобы объявиться, что я сбѣглый, но только разсказалъ я эту свою исторію его писарю, а тотъ мнѣ и говоритъ:

— Дуракъ ты, дуракъ: на что тебѣ объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нѣтъ, говорю, — у меня одинъ цѣлковый есть, а десяти рублей нѣту.

Digitized by Google

— Ну такъ, можетъ-быть, еще что-нибудь есть, можетъ-быть, серебряный крестъ на шеѣ, или вонъ это что у тебя въ ухѣ: серьга?

— Да, говорю,—это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крестъ, молъ, тоже имѣю отъ Митрофанія серебряный.

— Ну, скидавай, говоритъ, — ихъ скорѣе и давай ихъ мнѣ, я тебѣ отпускной видъ напишу и уходи въ Николаевъ, тамъ много людей нужно и страсть что туда отъ насъ бродягъ бѣжитъ.

Я ему отдалъ цѣлковый, крестъ и сережку, а онъ мнѣ видъ написалъ и засѣдателеву печать приложилъ и говоритъ:

— Вотъ за печать съ тебя надо бы прибавку, потому что я такъ со всѣхъ беру, но только уже жалѣю твою бѣдность и не хочу, чтобы моихъ рукъ виды не въ совершенствѣ были. Ступай, говоритъ, и кому еще нужно — ко мнѣ посылай.

— Ладно, думаю: хорошъ милостивецъ: крестъ съ шеи снялъ, да еще и жалѣетъ. Никого я къ нему не посылалъ, а все только шелъ Христовымъ именемъ безъ грошика мѣднаго.

Прихожу въ этотъ городъ и сталъ на торжокъ, чтобы наниматься.—Народу наемнаго самая малость вышла,—всего три человѣка и тоже все должно быть точно такіе какъ я, полубродяжки, а нанимать выбѣжало много людей и всѣ такъ насъ нарасхватъ и рвутъ, тотъ къ себѣ, а этотъ на свою сторону. На меня напалъ одинъ баринъ, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всѣхъ отъ меня отпихнулъ и схватилъ меня за обѣ руки и поволокъ за собою: самъ меня ведетъ, а самъ другихъ во всѣ стороны кулаками расталкиваетъ и преподло бранится, а у самого на глазахъ слезы. Привелъ онъ меня въ домишко, не вѣсть изъ чего наскоро сколоченный, и говоритъ:

— Скажи правду: ты вѣдь бѣглый?

Я говорю:

— Бѣглый.

— Воръ, говоритъ,—или душегубецъ, или просто бродяга?

Я отвѣчаю:

— На что вамъ это разспрашивать?

— А чтобы лучше знать, къ какой ты должности годенъ.

Я разсказалъ все, отчего я сбѣжалъ, а онъ вдругъ кинулся меня цѣловать и говоритъ:

— Такого мнѣ и надо; такого мнѣ и надо! Ты, говоритъ, вѣрно, если голубятъ жалѣлъ, такъ ты можешь мое дитя выходить: я тебя въ няньки беру.

Я ужаснулся:

— Какъ, говорю:—въ няньки? я къ этому обстоятельству совсѣмъ не сроденъ.

— Нѣтъ, это пустяки, говоритъ, пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мнѣ бѣда, потому что у меня жена съ ремонтеромъ отсюда съ тоски сбѣжала и оставила мнѣ грудную дочку, а мнѣ ее кормить некогда и нечѣмъ, такъ ты ее мнѣ выкормишь, а я тебѣ по два цѣлковыхъ въ мѣсяцъ стану жалованья платить.

— Помилуйте, отвѣчаю,—тутъ не о двухъ цѣлковыхъ, а какъ я въ этой должности справлюсь?

— Пустяки, говоритъ:—вѣдь ты русскій человѣкъ? Русскій человѣкъ со всѣмъ справится.

— Да, что же, молъ,—хоть и я русскій, но вѣдь я мужчина, и чего нужно чтобы грудное дитя воспитывать, тѣмъ не одаренъ.

— А я, говоритъ, — на этотъ счетъ тебѣ въ помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тѣмъ молочкомъ мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, молъ, съ козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, говорю, кажется, вамъ женщину къ этой должности лучше имѣть.

— Нѣтъ, ты мнѣ про женщинъ, пожалуйста, отвѣчаетъ,—не говори: изъ-за нихъ-то тутъ всѣ исторіи и поднимаются, да и брать ихъ не откуда, а ты, если мое дитя няньчить не согласишься, такъ я сейчасъ казаковъ позову и велю тебя связать да и въ полицію, а оттуда по пересылкѣ отправятъ. Выбирай теперь, что́ тебѣ лучше: опять у своего графа въ саду на дорожкѣ камни щелкать, или мое дитя воспитывать?

Я подумалъ: нѣтъ, уже назадъ не пойду, и согласился остаться въ нянькахъ. Въ тотъ же день мы купили у жида бѣлую козу съ козленочкомъ. Козленочка я закололъ, и мы его съ моимъ бариномъ въ лаптѣ съѣли, а козочку я подоилъ и ея молочкомъ началъ дитя питать. Дитя было ма-

ленькое и такое поганое, жалкое: все пищитъ. Баринъ мой, отецъ его, изъ полячковъ былъ чиновникъ и никогда, прохвостикъ, дома не сидѣлъ, а все бѣгалъ по своимъ товарищамъ въ карты играть, а я одинъ съ этой моей воспитомкой, съ дѣвчурочкой, и страшно я сталъ къ ней привыкать, потому что скука для меня была тутъ несносная, и я отъ нечего дѣлать все съ ней упражнялся. То положу дитя въ корытце, да хорошенько ее вымою, а если гдѣ на кожечкѣ сыпка зацвѣтетъ, я ее сейчасъ мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на колѣняхъ качаю ее. либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиманъ бѣлье полоскать,—и коза-то и та къ намъ привыкла, бывало, за нами тоже гулять идетъ. Такъ я дожилъ до новаго лѣта и дитя мое подросло, и стало дыбки стоять, но замѣчаю я, что у нея что-то ножки колесомъ идутъ. Я было на это барину показалъ, но онъ ничего на то не уважилъ и сказалъ только:

— Я, говоритъ, тутъ чѣмъ причиненъ? снеси ее лѣкарю покажи: пусть посмотритъ.

Я понесъ, а лѣкарь говоритъ:

— Это аглицкая болѣзнь, надо ее въ песокъ сажать.

Я такъ и началъ исполнять: выбралъ на бережку лимана такое мѣстечко, гдѣ песокъ есть, и какъ погожій теплый день, я заберу и козу, и дѣвочку, и туда съ ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочекъ и закопаю туда дѣвочку по поясъ и дамъ ей палочекъ играть и камушковъ, а коза наша вокругъ насъ ходитъ, травку щиплетъ, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По цѣлымъ днямъ такимъ манеромъ мы втроемъ одни проводили и это мнѣ лучше всего было отъ скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная и особенно мнѣ тутъ весною, какъ я сталъ дѣвочку въ песокъ закапывать, да надъ лиманомъ спать, пошли разные безтолковые сны. Какъ усну, а лиманъ рокочетъ, а со степи теплый вѣтеръ на меня несетъ, такъ точно съ нимъ будто что-то плыветъ на меня чародѣйное и нападаетъ страшное мечтаніе: вижу, какія-то степи, коней и все меня будто кто-то зоветъ и куда-то манитъ: слышу даже имя кричитъ: «Иванъ! Иванъ! иди, братъ Иванъ!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на васъ нѣтъ, чего вы меня вскликались! оглянешься кругомъ:—тоска; коза уже отойдетъ да-

леко, бродитъ, травку щиплетъ, да дитя закопано въ пескѣ сидитъ, а больше ничего... Ухъ, какъ скучно! пустынь, солнце да лиманъ, и опять заснешь, а оно, это теченіе съ повѣтріемъ, опять въ душу лѣзетъ и кричитъ: «Иванъ! пойдемъ, братъ Иванъ!» Даже выругаешься, скажешь: да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня такъ зовешь? И вотъ я такъ разъ озлобился и сижу да гляжу въ-полсна за лиманъ, и оттоль какъ облачко легкое поднялось и плыветъ и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Анъ вдругъ вижу это надо мною стоитъ тотъ монахъ съ бабьимъ лицомъ, котораго я давно, форейторомъ бывши, кнутомъ засѣкъ. Я говорю: тпружи! пошелъ прочь! А онъ этакъ ласково звенитъ: «пойдемъ, Иванъ, братъ, пойдемъ! тебѣ еще много надо терпѣть, а потомъ достигнешь». Я его во снѣ выругалъ и говорю: «Куда я съ тобой пойду и чего еще достигать буду». А онъ вдругъ опять облакомъ сдѣлался и сквозь себя показалъ мнѣ и самъ не знаю что: степь, люди, такіе дикіе, сарацины, какъ вотъ бываютъ при сказкахъ въ Еруланѣ и въ Бовѣ Королевичѣ; въ большихъ шапкахъ лохматыхъ и съ стрѣлами, на страшныхъ дикихъ коняхъ. И съ этимъ, что вижу, послышались мнѣ и гоготъ, и ржанье, и дикій смѣхъ, а потомъ вдругъ вихорь... взмело песокъ тучею и нѣтъ ничего, только гдѣ-то тонко колоколъ тихо звонитъ и весь какъ алою зарею облитый большой бѣлый монастырь по вершинѣ показывается, а по стѣнамъ крылатые ангелы съ золотыми копьями ходятъ, а вокругъ море, и какъ который ангелъ по щиту копьемъ ударитъ, такъ сейчасъ вокругъ всего монастыря море всколышется и заплещетъ, и изъ бездны страшные голоса вопіютъ: «святъ!»

Ну, думаю, — опять это мнѣ про монашество пошло! и съ досадою проснулся и въ удивленіи вижу, что надъ моею барышнею кто-то стоитъ на песку на колѣняхъ самаго нѣжнаго вида, и рѣка-рѣкой разливается-плачетъ.

Я долго на это смотрѣлъ, потому что все думалъ: не длится ли мнѣ это видѣніе, но потомъ вижу, что оно не исчезаетъ, я и всталъ, и подхожу: вижу дама дѣвочку мою изъ песку выкопала и схватила ее на руки и цѣлуетъ, и плачетъ:

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

Digitized by Google

А она ко мнѣ и бросилась и жметъ дитя къ груди, а сама шепчетъ:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну, такъ что же въ этомъ такое?

— Отдай,—говоритъ:—мнѣ ее.

— Съ чего же ты это,—говорю:—взяла, что я ее тебѣ отдамъ?

— Развѣ тебѣ,—плачетъ:—ее не жаль? видишь, какъ она ко мнѣ жмется.

— Жаться, молъ, она глупый ребенокъ,—она тоже и ко мнѣ жмется, а отдать я ее не отдамъ.

— Почему?

— Потому, молъ, что она мнѣ на соблюденіе повѣрена—вонъ и коза съ нами ходитъ, а я дитя долженъ отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать:

— Ну, хорошо,—говоритъ:—ну, не хочешь дитя мнѣ отдать, такъ, по крайней мѣрѣ, не сказывай, говоритъ, моему мужу, а твоему господину, что ты меня видѣлъ, и приходи завтра опять сюда на это самое мѣсто съ ребенкомъ, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, молъ,—другое дѣло,—это я обѣщаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказалъ, а на утро взялъ козу и ребенка и пошелъ опять къ лиману, а барыня уже ждетъ. Все въ ямочкѣ сидѣла, а какъ насъ завидѣла, выскочила и бѣжитъ, и плачетъ, и смѣется, и въ обѣихъ ручкахъ дитю игрушечки суетъ и даже на козу на нашу колокольчикъ на красной суконкѣ повѣсила, а мнѣ трубку и кисетъ съ табакомъ и расческу.

— Кури,—говоритъ:—пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя няньчить.

И такимъ манеромъ пошли у насъ тутъ надъ лиманомъ свиданія: барыня все съ дитемъ, а я сплю, а порой она мнѣ начнетъ разсказывать, что она того... замужъ въ своемъ мѣстѣ за моего барина насильно была выдана... злою мачихою и того... этого мужа своего она не того... говоритъ, никакъ не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любитъ и жалуется, что противъ воли, говоритъ, своей я ему... предана. Потому мужъ мой, какъ самъ, говоритъ, знаешь, неаккуратной жизни, а

Digitized by Google

этотъ съ этими... ну, какъ ихъ?.. съ усиками, что ли, прахъ его знаетъ, и очень чисто, говоритъ, онъ завсегда одѣвается, и меня жалѣетъ, но только же, опять я, говоритъ, со всѣмъ съ этимъ все-таки не могу быть счастлива, потому что мнѣ и этого дитя жаль. А теперь мы, говоритъ, съ нимъ сюда пріѣхали и стоимъ здѣсь на квартирѣ у одного у его товарища, но я живу подъ большимъ опасеніемъ, чтобы мой мужъ не узналъ, и мы скоро уѣдемъ и я опять о дитѣ страдать буду.

— Ну, что же, молъ, дѣлать: если ты, презрѣвъ законъ и религію, свой обрядъ измѣнила, то должна и пострадать.

А она начнетъ плакать и отъ одного дня разъ отъ разу больше и жалостнѣе стала плакать, и мнѣ жалобами докучаетъ, и вдругъ ни съ того, ни съ сего стала все мнѣ деньги сулить. И, наконецъ, пришла послѣдній разъ прощаться и говоритъ:

— Послушай, Иванъ (она уже имя мое знала), послушай,—говоритъ:—что я тебѣ скажу: нынче, говоритъ, *онъ* самъ сюда къ намъ придетъ.

Я спрашиваю:

— Кто этой такой?

Она отвѣчаетъ:

— Ремонтеръ.

Я говорю:

— Ну, такъ что же мнѣ за причина?

А она повѣствуетъ, что будто онъ сею ночью страсть какъ много денегъ въ карты выигралъ и сказалъ, что хочетъ ей въ удовольствіе мнѣ тысячу рублей дать за то, чтобы я, то-есть, ей ея дочку отдалъ.

— Ну, уже вотъ этого,—говорю:—никогда не будетъ.

— Отчего же, Иванъ? отчего же?—пристаетъ.—Неужто тебѣ меня и ее не жаль, что мы въ разлукѣ?

— Ну, молъ, жаль, или не жаль, а только я себя не продавалъ ни за большія деньги, ни за малыя и не продамъ, а потому всѣ ремонтеровы тысячи пусть при немъ остаются, а твоя дочка при мнѣ.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мнѣ все равно.

Она говоритъ:

— Ты безсердечный, ты каменный.

А я отвѣчаю:

Digitized by Google

— Совсѣмъ, молъ, я не каменный, а такой же какъ всѣ, костяной да жильный, а я человѣкъ должностной и вѣрный: взялся хранить дитя и берегу его.

Она убѣждаетъ, что вѣдь посуди, говоритъ, и самому же дитяти у меня лучше будетъ!

— Опять-таки,—отвѣчаю:—это не мое дѣло.

— Неужто же,—вскрикиваетъ она:—неужто же мнѣ опять съ дитемъ моимъ должно разставаться?

— А что же, — говорю: — если ты, презрѣвъ законъ и релегію...

Но только не договорилъ я этого, что хотѣлъ сказать, какъ вижу къ намъ по степи легкій уланъ идетъ. Тогда полковые еще какъ должно ходили, съ форсомъ, въ настоящей военной формѣ, не то что какъ нынѣшніе, въ родѣ писарей. Идетъ этотъ уланъ-ремонтеръ такой осанистый, руки въ боки, а шинель широко на опашку несетъ... силы въ немъ, можетъ-быть, и нисколько нѣтъ, а форсисто... Гляжу я на этого гостя и думаю: вотъ бы мнѣ отлично съ ними со скуки поиграть. И рѣшилъ, что чуть если онъ ко мнѣ какое слово заговоритъ, я ему непремѣнно какъ ни можно хуже согрублю и авось, молъ, мы съ нимъ здѣсь, Богъ дастъ, въ свое удовольствіе подеремся. Это, восторгаюсь, будетъ чудесно, и того, что мнѣ въ это время говоритъ и со слезами моя барынька лепечетъ, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Только, рѣшивши себѣ этакую потѣху добыть, я думаю: какъ бы мнѣ лучше этого офицера раздразнить, чтобы онъ на меня нападать сталъ? и взялъ я сѣлъ, вынулъ изъ кармана гребень и зачалъ имъ себя будто въ головѣ чесать; а офицеръ подходитъ и прямо къ той своей барынькѣ.

Онъ ему—та-та-та, та-та: все, значитъ, о томъ, что я ей дитя не даю.

А онъ ее по головкѣ гладитъ и говоритъ:

— Ничего это, душенька, ничего: я противъ него сейчасъ средство найду. Деньги, — говоритъ: — раскинемъ, у него глаза разбѣжатся; а если и это средство не подѣйствуетъ, такъ мы просто отнимемъ у него ребенка,—и съ этимъ самымъ словомъ подходитъ ко мнѣ и подаетъ мнѣ пучокъ ассигнацій, а самъ говоритъ:

Digitized by Google

— Вотъ,—говоритъ:—тутъ ровно тысяча рублей,—отдай намъ дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь.

А я нарочно невѣжничаю, не скоро ему отвѣчаю: прежде всталъ потихонечку; потомъ гребень на поясокъ повѣсилъ, откашлянулся и тогда молвилъ:

— Нѣтъ,—говорю:—это твое средство, ваше благородіе, не подѣйствуетъ, а самъ взялъ, вырвалъ у него изъ рукъ бумажки, поплевалъ на нихъ да и бросилъ, говорю: тубо,—пиль, аппортъ, подними!

Онъ огорчился, весь покраснѣлъ, да на меня; но мнѣ, сами можете видѣть мою комплекцію,—что же мнѣ съ форменнымъ офицеромъ долго справляться: я его такъ слегка пихнулъ, онъ и готовъ: полетѣлъ и шпоры вверхъ задралъ, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчасъ топнулъ, на эту саблю его ногой наступилъ и говорю:

— Вотъ тебѣ, говорю, и храбрость твою подъ ногой придавлю.

Но онъ хоть силой плохъ, но отважный былъ офицерикъ: видитъ, что сабельки ему у меня уже не отнять, такъ распоясалъ ее, да съ кулачонками ко мнѣ борзо кидается... Разумѣется, и этакъ онъ отъ меня ничего, кромѣ тѣлеснаго огорченія, для себя не получилъ, но понравилось мнѣ какъ онъ характеромъ своимъ былъ гордъ и благороденъ: я не беру его денегъ и онъ ихъ тоже не сталъ подбирать.

Какъ перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сіятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: вѣдь не поднялъ, а прямо бѣжитъ и за дитя хватается; но, разумѣется, онъ беретъ дитя за руку, а я сейчасъ же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чію половину больше оторвется.

Онъ кричитъ:

— Подлецъ, подлецъ, извергъ!—и съ этимъ въ лицо мнѣ плюнулъ и ребенка бросилъ, а уже только эту барыньку увлекаетъ, а она въ отчаяніи прежалобно вопитъ и, насильно влекома, за нимъ хотя слѣдуетъ, но глаза и руки сюда ко мнѣ и къ дитѣ простираетъ... и вотъ вижу я и чувствую какъ она, точно живая, пополамъ рвется, половина къ нему, половина къ дитяти... А въ эту самую минуту отъ города вдругъ вижу бѣгитъ мой баринъ, у кото-

раго я служу, и у него въ рукахъ пистолетъ, и онъ все стрѣляетъ изъ того пистолета да кричитъ:

— Держи ихъ, Иванъ! держи.

Ну, какъ же, думаю себѣ, такъ я тебѣ и стану ихъ держать? Пускай любятся! да догналъ барыньку съ уланомъ, даю имъ дитя и говорю:

— Нате вамъ этого пострѣла! только уже теперь и меня,—говорю:—увозите, а то онъ меня правосудію сдастъ, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говоритъ:

— Уѣдемъ, голубчикъ Иванъ, уѣдемъ, будемъ съ нами жить.

Такъ мы и ускакали и дѣвчурку, мою воспитомку, съ собой увезли, а тому моему барину коза да деньги, да мой паспортъ остались.

Всю дорогу я съ этими своими съ новыми господами все на козлахъ на тарантасѣ до самой Пензы ѣдучи сидѣлъ и думалъ: хорошо ли же это я сдѣлалъ, что я офицера билъ? вѣдь онъ присягу принималъ, и на войнѣ съ саблею отечество защищаетъ и самъ государь ему, по его чину, можетъ-быть, «вы» говоритъ, а я, дуракъ, его такъ обидѣлъ!.. А потомъ это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба опредѣлитъ, а въ Пензѣ тогда была ярмарка и уланъ мнѣ говоритъ:

— Послушай, Иванъ, ты вѣдь, я думаю, знаешь, что мнѣ тебя при себѣ держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, отвѣчаетъ, что я человѣкъ служащій, а у тебя никакого паспорта нѣтъ.

— Нѣтъ, у меня былъ, говорю,—паспортъ, только фальшивый.

— Ну, вотъ видишь, отвѣчаетъ,—а теперь у тебя и такого нѣтъ. На же вотъ тебѣ двѣсти рублей денегъ на дорогу и ступай съ Богомъ куда хочешь.

А мнѣ, признаюсь, ужасть какъ не охота была никуда отъ нихъ идти, потому что я то дитя любилъ; но дѣлать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, говорю,—покорно васъ благодарю на вашемъ награжденіи, но только еще вотъ что:

— Что, спрашиваетъ,—такое?

Digitized by Google

— А то, отвѣчаю,—что я передъ вами виноватъ, что дрался съ вами и грубилъ.

Онъ разсмѣялся и говоритъ:

— Ну, что это, Богъ съ тобой, ты добрый мужикъ.

— Нѣтъ-съ, это, отвѣчаю:—мало ли что добрый, это такъ нельзя, потому что это у меня можетъ на совѣсти остаться: вы защитникъ отечества, и вамъ, можетъ-быть, самъ государь «вы» говорилъ.

— Это, отвѣчаетъ,—правда: намъ, когда чинъ даютъ, въ бумагѣ пишутъ: «жалуемъ *васъ* и повелѣваемъ *васъ* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, говорю:—я этого никакъ дальше снесть не могу...

— А что же, говоритъ,—теперь съ этимъ дѣлать. Что ты меня сильнѣе и поколотилъ меня, того назадъ не вынешь.

— Вынуть, говорю,—нельзя, а по крайности для облегченія моей совѣсти, какъ вамъ угодно, а извольте сколько-нибудь разъ меня сами ударить, и взялъ обѣ щеки передъ нимъ надулъ.

— Да за что же?—говоритъ:—за что же я тебя стану бить?

— Да такъ, отвѣчаю,—для моей совѣсти,—чтобы я не безъ наказанія своего государя офицера оскорбилъ.

Онъ засмѣялся, а я опять надулъ щеки, какъ можно полнѣе, и опять стою.

Онъ спрашиваетъ:

— Чего же ты это надуваешься, зачѣмъ гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, говорю,—меня съ обѣихъ сторонъ ударить, и опять щеки надулъ; а онъ вдругъ вмѣсто того, чтобы меня бить, сорвался съ мѣста и ну цѣловать меня и говоритъ:

— Полно, Христа ради, Иванъ, полно: ни за что на свѣтѣ я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорѣе, пока Машеньки съ дочкой дома нѣтъ, а то онѣ по тебѣ очень плакать будутъ.

— А! это, молъ, иное дѣло, зачѣмъ ихъ огорчать?

И хоть не хотѣлось мнѣ отходить, но дѣлать нечего: такъ и ушелъ поскорѣй, не прощавшись, и вышелъ за ворота и сталъ, и думаю:

— Куда я теперь пойду? И взаправду сколько времени

Google

прошло съ тѣхъ поръ какъ я отъ господъ бѣжалъ и бродяжу, а все я нигдѣ мѣста подъ собой не согрѣю... Шабашъ, думаю, пойду въ полицію и объявлюсь, но только, думаю, опять теперь то̀ нескладно, что у меня теперь деньги есть, а въ полиціи ихъ всѣ отберутъ: дай же хоть что-нибудь изъ нихъ потрачу, хоть чаю съ кренделями въ трактирѣ попью въ свое удовольствіе. И вотъ я пошелъ на ярмарку въ трактиръ, спросилъ чаю съ кренделями и долго пилъ, а потомъ вижу, дольше никакъ невозможно продолжать и пошелъ походить. Выхожу за Суру за рѣку на степь, гдѣ тамъ стоятъ конскіе косяки и при нихъ же тутъ и татары въ кибиткахъ. Всѣ кибитки одинаковыя, но одна пестрая-препестрая, а вокругъ нея много разныхъ господъ занимаются, ѣздовыхъ коней пробуютъ. Разные—и штатскіе, и военные, и помѣщики, которые пріѣхали на ярмарку, всѣ стоятъ трубки курятъ, а посреди ихъ на пестрой кошмѣ сидитъ тонкій, какъ жердь, длинный степенный татаринъ въ штучномъ халатѣ и въ золотой тюбетейкѣ. Я оглядаюсь и, видя одного человѣка, который при мнѣ въ трактирѣ чай пилъ, спрашиваю его: что это такой за важный татаринъ, что онъ одинъ при всѣхъ сидитъ? А мнѣ тотъ человѣкъ отвѣчаетъ:

— Нешто ты, говоритъ, его не знаешь: это ханъ Джангаръ.

— Что, молъ, еще за ханъ Джангаръ?

А то̀тъ и говоритъ, ханъ Джангаръ, говоритъ,—первый степной коневодъ, его табуны ходятъ отъ самой Волги до самаго Урала во всѣ Рынь-пески и самъ онъ, этотъ ханъ Джангаръ, въ степи все равно что царь.

— Развѣ, говорю,—эта степь не подъ нами?

— Нѣтъ; она, отвѣчаетъ,—подъ нами, но только намъ ее никакъ достать нельзя, потому что тамъ до самаго Каспія либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются и чиновнику тамъ совсѣмъ взять нечего, вотъ по этой причинѣ, говоритъ, ханъ Джангаръ тамъ и царюетъ, и у него тамъ, въ Рынь-пескахъ, говорятъ, есть свои шихи и шихъ-сады, и молозады, и мамы, и азіи, и дербыши, и уланы, и онъ ихъ всѣхъ, какъ ему надо, наказываетъ, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а самъ смотрю, что въ то самое время одинъ татарченокъ пригонилъ передъ этого хана небольшую бѣлую кобылку и что-то залопоталъ; а тотъ всталъ, взялъ кнутъ на длинномъ кнутовищѣ и сталъ прямо про-

Digitized by Google

тивъ кобылицыной головы и кнутъ ей ко лбу вытянулъ и стоитъ. Но вѣдь какъ, я вамъ доложу, разбойникъ стоитъ? просто статуй великолѣпный, на котораго на самого заглядѣться надо, и сейчасъ по немъ видно, что онъ въ конѣ все нутро соглядаетъ. А какъ я по этой части самъ съ дѣтства былъ наблюдателенъ, то мнѣ видно, что и сама кобылица-то эта зритъ въ немъ знатока, и сама вся на вытяжкѣ передъ нимъ держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И такимъ манеромъ онъ, этотъ степенный татаринъ, смотрѣлъ, смотрѣлъ на эту кобылицу и не обходилъ ее, какъ дѣлаютъ наши офицеры, что по суетливости все вокругъ коня мычутся, а онъ все съ одной точки взиралъ и вдругъ кнутъ опустилъ, а самъ персты у себя на рукѣ молча поцѣловалъ: «дескать, антикъ!» и опять на кошмѣ, склавши накрестъ ноги, сѣлъ, а кобылица сейчасъ ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тутъ стояли, и пошли на нее въ перебой торговаться: одинъ даетъ сто рублей, а другой полтораста и такъ далѣе все бо́льшую другъ противъ друга цѣну нагоняютъ. Кобылица была, точно, дивная, ростомъ не великонька, въ подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазокъ полный, яблочкомъ, ушки сторожкія; бочка самые звонкіе, воздушные, спинка какъ стрѣлка, а ножки легкія, точеныя, самыя уносистыя. Я, какъ подобной красоты былъ любитель, то никакъ глазъ отъ этой кобылицы не отвлеку. А ханъ Джангаръ видитъ, что на всѣхъ отъ нея зорость пришла и господа на нее какъ оглашенные цѣну наполняютъ, кивнулъ чумазому татарченку, а тотъ какъ прыгъ на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидитъ, знаете, по-своему, по-татарски, колѣнками ее ежитъ, а она подъ нимъ окрыляется и точно птица летитъ, и не всколыхнетъ, а какъ онъ ей къ холочкѣ принагнется, да на нее гикнетъ, такъ она такъ вмѣстѣ съ пескомъ въ одинъ вихорь и воскурится. Ахъ, ты, змѣя! думаю себѣ, ахъ ты стрепетъ степной, аспидскій! гдѣ ты только могла такая зародиться? И чувствую, что рванулась моя душа къ ней, къ этой лошади, родной страстію. Пригонилъ ее татарчище назадъ, она пыхнула сразу въ обѣ ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнетъ и ни сапнетъ. Ахъ, ты, думаю, милушка; ахъ ты милушка! Кажется, спроси бы у меня за нее татаринъ не то что мою душу, а отца и

мать родную, и тѣхъ бы не пожалѣлъ—но гдѣ было о томъ и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами не вѣсть какая цѣна слагалась, но и это еще было все ничего, какъ вдругъ тутъ еще торгъ не былъ конченъ, и никому она не досталась, какъ видимъ изъ-за Суры, отъ Селиксы, гонитъ на вороном конѣ борзый всадникъ, а самъ широкою шляпой машетъ и подлетѣлъ, соскочилъ, коня бросилъ и прямо къ той къ бѣлой кобылицѣ и сталъ опять у нея въ головахъ, какъ и первый статуй, и говоритъ:

— Моя кобылица.

А ханъ отвѣчаетъ:

— Какъ не твоя: господа мнѣ за нее пятьсотъ монетовъ даютъ.

А тотъ всадникъ—татарчище этакій огромный и пузатый, морда загорѣла и вся облупилась, словно кожа съ нея сорвана, а глаза малые точно щелки, и оретъ сразу:

— Сто монетовъ больше всѣхъ даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулятъ, а сухой ханъ Джангаръ сидитъ да губы цмокаетъ, а отъ Суры съ другой стороны еще всадникъ татарчище гонитъ на гривастомъ конѣ, на игренемъ, и этотъ опять весь худой, желтый, въ чемъ кости держатся, а еще озорнѣе того, что первый пріѣхалъ. Этотъ съерзнулъ съ коня и какъ гвоздь воткнулся передъ бѣлой кобылицей и говоритъ:

— Всѣмъ отвѣчаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю сосѣда: въ чемъ тутъ у нихъ дѣло зависитъ. А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ, дѣло зависитъ отъ очень большого хана-Джангарова понятія. Онъ, говоритъ, не одинъ разъ, а чуть не всякую ярмарку тутъ такую штуку подводитъ, что прежде всѣхъ своихъ обыкновенныхъ коней, коихъ пригонитъ сюда, распродастъ, а потомъ въ послѣдній день, михорь его знаетъ откуда, какъ изъ-за пазухи выйметъ такого коня, или двухъ, что конэсеры не знать что дѣлаютъ; а онъ, хитрый татаринъ, глядитъ на это, да тѣшится и еще деньги за то получаетъ. Эту его привычку знавши, всѣ уже такъ этого послѣдыша отъ него и ожидаютъ, и вотъ оно такъ и теперь вышло: всѣ думали, ханъ нонѣ уѣдетъ, и онъ, точно, ночью уѣдетъ, а теперь ишь какую кобылицу вывелъ...

Digitized by Google

— Диво, говорю, какая лошадь!

— Подлинно диво, — онъ ее, говорятъ, къ ярмаркѣ всереди косяка пригонилъ, и такъ гналъ, что ее за другими конями никому видѣть нельзя было, и никто про нее не зналъ, опричь этихъ татаръ, что пріѣхали, да и тѣмъ онъ казалъ, что кобылица у него не продажная, а завѣтная, да ночью ее отъ другихъ отлучилъ и подъ Мордовскій ишимъ въ лѣсъ отогналъ и тамъ на полянѣ съ особымъ пастухомъ пасъ, а теперь вдругъ ее выпустилъ и продавать сталъ, и ты погляди, что изъ-за нея тутъ за чудеса будутъ, и что онъ, собака, за нее возьметъ, а если хочешь, ударимся объ закладъ, кому она достанется?

— А что, молъ, такое: изъ-за чего намъ биться?

— А изъ-за того, отвѣчаетъ,—что тутъ страсть, что сейчасъ почнется: и всѣ господа непремѣнно спятятся, а лошадь который-нибудь вотъ изъ этихъ двухъ азіатовъ возьметъ.

— Что же они, спрашиваю:—очень что ли богаты?

— И богатые, отвѣчаетъ, — и озорные охотники: они свои большіе косяки гоняютъ и хорошей, завѣтной лошади другъ другу въ жизнь не уступятъ. Ихъ всѣ знаютъ: этотъ, брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучевъ, а худищій, что однѣ кости ходятъ, Чепкунъ Емгурчеевъ,—оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потѣху сдѣлаютъ.

Я замолчалъ и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися отъ нея и только глядятъ, а тѣ два татарина другъ дружку отпихиваютъ и все хана Джангара по рукамъ хлопаютъ, а сами за кобылицу держатся и всѣ трясутся да кричатъ; одинъ кричитъ:

— Я даю за нее, кромѣ монетовъ, еще пять головъ (значитъ пять лошадей), а другой вопитъ:

— Вретъ твоя мордамъ, я даю десять.

Бакшей Отучевъ кричитъ:

— Я даю пятнадцать головъ.

А Чепкунъ Емгурчеевъ:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкунъ:

— Тридцать.

Digitized by Google

А больше ни у того, ни у другого видно уже нѣтъ... Чепкунъ крикнулъ: тридцать, и Бакшей даетъ тоже только тридцать, а больше нѣтъ; но зато Чепкунъ еще въ придачу сѣдло сулитъ, а Бакшей сѣдло и халатъ, и Чепкунъ халатъ скидаетъ, а больше опять другъ друга имъ нечѣмъ одолѣвать. Чепкунъ крикнулъ: слушай меня, ханъ Джангаръ: я домой пріѣду, я къ тебѣ свою дочь пригоню, и Бакшей тоже дочь сулитъ, а больше опять другъ друга нечѣмъ пересилить. Тутъ вдругъ вся татарва, кои тутъ это торговище зрѣли, заорали, загалдѣли по-своему; ихъ разнимаютъ, чтобы до разоренія другъ друга не довели, тормошатъ ихъ, Чепкуна и Бакшея, въ разныя стороны, въ бока ихъ тычутъ, уговариваютъ.

Я спрашиваю у сосѣда:

— Скажи, пожалуйста, что̀ это такое у нихъ теперь пошло?

— А вотъ, видишь,—говоритъ:—этимъ князьямъ, которые ихъ разнимаютъ, имъ Чепкуна съ Бакшеемъ жалко, что они очень заторговались, такъ вотъ они ихъ разлучаютъ, чтобы опомнились и какъ-нибудь другъ дружкѣ честью кобылицу уступили.

— Какъ же,—спрашиваю:—можно ли, чтобы они другъ дружкѣ ее уступили, когда она обоимъ имъ такъ нравится? Этого быть не можетъ.

— Отчего же,—отвѣчаетъ:—азіаты народъ разсудительный и степенный: они разсудятъ, что зачѣмъ напрасно имѣніе терять и хану Джангару дадутъ сколько онъ проситъ, а кому коня взять—съ общаго согласія наперепоръ пустятъ.

Я любопытствую:

— Что же, молъ, такое это значитъ: «наперепоръ».

А тотъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Нечего спрашивать, смотри, это видѣть надо, а оно сейчасъ начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучевъ и Чепкунъ Емгурчеевъ оба будто стишали и у тѣхъ своихъ татаръ-мировщиковъ вырываются и оба другъ къ другу бросились, подбѣжали и по рукамъ бьютъ.

— Сгода̀! дескать,—поладили.

И тотъ то же самое отвѣчаетъ:

— Сгода̀! поладили!

И оба въ разъ съ себя и халаты долой, и бешметы, и

Digitized by Google

чевяки сбросили, и ситцевыя рубахи сняли, и въ однихъ широкихъ полосатыхъ портищахъ остались и плюхъ одинъ противъ другого, сѣли на землю, какъ курохтаны степные, и сидятъ.

Въ первой разъ мнѣ этакое диво видѣть доводилось, и я смотрю, что̀ дальше будетъ? А они другъ дружкѣ лѣвыя руки подали и крѣпко ихъ держатъ, ноги растопырили и ими другъ дружкѣ слѣдами въ слѣды уперлись и кричатъ: «подавай!»

Что такое они себѣ требуютъ «подавать» я не предвижу, но тѣ, татарва-то, изъ кучки отвѣчаютъ:

— Сейчасъ, бачка, сейчасъ.

И вотъ вышелъ изъ этой кучки татаринъ старый, степенный такой, и держитъ въ рукахъ двѣ здоровыя нагайки и сравнялъ ихъ въ рукахъ и кажетъ всей публикѣ и Чепкуну съ Бакшеемъ: глядите, говоритъ, обѣ штуки ровныя.

— Ровныя,—кричатъ татарва:—всѣ мы видимъ, что благородно сдѣланы, плети ровныя! Пусть садятся и начинаютъ.

А Бакшей и Чепкунъ такъ и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татаринъ и говоритъ имъ: «подождите» и самъ имъ эти нагайки подалъ: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошами хлопаетъ тихо, разъ, два и три... И только что онъ въ третье хлопнулъ, какъ Бакшей стегнетъ изо всей силы Чепкуна нагайкою черезъ плечо по голой спинѣ, а Чепкунъ такимъ самымъ манеромъ на отвѣтъ его. Да и пошли этакъ одинъ другого потчивать: въ глаза другъ другу глядятъ, ноги въ ноги слѣдками упираются и лѣвыя руки крѣпко жмутъ, а правыми съ нагайками порются... Ухъ, какъ они знатно поролись! Одинъ хорошо черкнетъ, а другой еще лучше. Глаза-то у обоихъ даже выстолбенѣли и лѣвыя руки замерли, а ни тотъ, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, молъ, у нихъ, стало-быть, въ родѣ какъ господа на дуэль, что ли, выходятъ?

— Да, — отвѣчаетъ:—тоже такой поединокъ, только это, говоритъ, не насчетъ чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же,—говорю:—они этакъ могутъ другъ друга долго сѣчь?

— А сколько имъ,—говоритъ:—похочется и сколько силы станетъ.

Digitized by Google

А тѣ все хлещутся, а въ народѣ за нихъ споръ пошелъ: одни говорятъ: «Чепкунъ Бакшея перепоретъ», а другіе спорятъ: «Бакшей Чепкуна перебьетъ» и, кому хочется, объ закладъ держатъ—тѣ за Чепкуна, а тѣ за Бакшея, кто на кого больше надѣется. Поглядятъ имъ съ познаніемъ въ глаза и въ зубы, и на спины посмотрятъ и по какимъ-то примѣтамъ понимаютъ кто надежнѣе, за того и держатъ. Человѣкъ, съ которымъ я тутъ разговаривалъ, тоже изъ зрителей опытныхъ былъ и сталъ сначала за Бакшея держать, а потомъ говоритъ:

— Ахъ, квитъ, пропалъ мой двугривенный: Чепкунъ Бакшея собьетъ.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, молъ, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидятъ.

А тотъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Сидятъ-то,—говоритъ:—они еще оба ровно, да не одна въ нихъ повадка.

— Что же, — говорю: — по моему мнѣнію, Бакшей еще ярче стегаетъ.

— А вотъ то,—отвѣчаетъ:—и плохо. Нѣтъ, пропалъ за него мой двугривенный: Чепкунъ его запоретъ.

Что это, думаю, такое за диковина: какъ онъ непонятно, этотъ мой знакомецъ, разсуждаетъ? А вѣдь онъ же, размышляю, должно-быть въ этомъ дѣлѣ хорошо понимаетъ практику, когда объ закладъ бьется!

И стало мнѣ, знаете, очень любопытно, и я къ этому знакомцу пристаю:

— Скажи,—говорю:—милый человѣкъ, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А онъ говоритъ:

— Экой ты пригородникъ глупый: ты гляди,—говоритъ:—какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, какъ подушка.

— А видишь,—говоритъ:—какъ онъ бьетъ?

Гляжу, и вижу тоже, что бьетъ яростно, даже глаза на лобъ выпялилъ, и такъ его какъ ударитъ, такъ сразу до крови и рѣжетъ.

— Ну, а теперь сообрази, какъ онъ нутремъ дѣйствуетъ?

— Что же, молъ, такое нутремъ?—я вижу одно, что си-

Digitized by Google

дитъ онъ прямо, и весь ротъ открылъ и воздухъ въ себя шибко забираетъ.

А мой знакомецъ и говоритъ:

— Вотъ это-то и худо: спина велика, по ней весь ударъ просторно ложится; шибко бьетъ, запыхается, а въ открытый ротъ дышитъ, онъ у себя воздухомъ все нутро пережжетъ.

— Что же,—спрашиваю:—стало быть Чепкунъ надежнѣй?

— Непремѣнно,—отвѣчаетъ:—надежнѣе: видишь, онъ весь сухой, кости въ одной кожѣ держатся и спиночка у него какъ лопата коробленая, по ней ни за что по всей ударъ не падетъ, а только мѣстечками, а самъ онъ, зри, какъ Бакшея спрохвала поливаетъ, не частитъ, а съ повадочкой, и плеть сразу не отхватываетъ, а подъ нею кожѣ напухать даетъ. Вонъ она отъ этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и какъ котелъ посинѣла, а крови нѣтъ и вся боль у него теперь въ тѣлѣ стоитъ, а у Чепкуна на худой спинѣ кожичка какъ на жареномъ поросенкѣ трещитъ, прорываетъ и оттого у него вся боль кровью сойдетъ и онъ Бакшея запоретъ. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь,—говорю:—понимаю, и, точно, тутъ я всю эту азіатскую практику сразу понялъ и сильно ею заинтересовался: какъ въ такомъ случаѣ надо полезнѣе дѣйствовать?

— А еще самое главное,—указуетъ мой знакомецъ,—замѣчай, говоритъ, — какъ этотъ проклятый Чепкунъ хорошо мордой такту соблюдаетъ; видишь: стегнетъ и на отвѣтъ самъ вытерпитъ и соразмѣрно глазами хлопнетъ,—это легче, чѣмъ пялить глаза, какъ Бакшей пялитъ, и Чепкунъ зубы стиснулъ и губы прикусилъ, это тоже легче, оттого, что въ немъ черезъ эту замкнутость излишняго горѣнія внутри нѣтъ.

Я всѣ эти его любопытныя примѣты на умъ взялъ, и самъ вглядываюсь и въ Чепкуна, и въ Бакшея, и все мнѣ стало самому понятно, что Бакшей непремѣнно свалится, потому что у него уже и глазища совсѣмъ объостолопѣли и губы веревочкой собрались и весь оскалъ открыли... И точно, глядимъ, Бакшей еще разъ двадцать Чепкуна стеганулъ и все разъ отъ разу слабѣе, да вдругъ брякъ назадъ и лѣвую Чепкунову руку выпустилъ, а своею правою все еще двигаетъ, какъ будто бьетъ, но уже безъ памяти, совсѣмъ въ обморокѣ. Ну, тутъ мой знакомый говоритъ:

Digitized by Google

«шабашъ: пропалъ мой двугривенный». Тутъ всѣ и татары заговорили, поздравляютъ Чепкуна, кричатъ:

— Ай, башка Чепкунъ Емгурчеевъ, ай, умнай башка— совсѣмъ пересѣкъ Бакшея, садись—теперь твоя кобыла.

И самъ ханъ Джангаръ всталъ съ кошмы и похаживаетъ, а самъ губами шлепаетъ и тоже говоритъ:

— Твоя, твоя, Чепкунъ, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкунъ и всталъ: кровь струитъ по спинѣ, а ничего виду болѣзни не даетъ, положилъ кобылицѣ на спину свой халатъ и бешметъ, а самъ на нее брюхомъ вскинулся и такимъ манеромъ поѣхалъ, и мнѣ опять скучно стало.

— Вотъ, думаю, все это уже и окончилось, и мнѣ опять про свое положеніе въ голову полѣзетъ; а мнѣ страхъ какъ не хотѣлось про это думать.

Но только, спасибо, мой тотъ знакомый человѣкъ говоритъ мнѣ:

— Подожди, не уходи, тутъ непремѣнно что-то еще будетъ.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нѣтъ,—говоритъ:—не кончено, ты смотри, говоритъ, какъ ханъ Джангаръ трубку жжетъ. Видишь, палитъ: это онъ непремѣнно еще про себя что-нибудь думаетъ, самое азіатское.

Ну, а я себѣ думаю: ахъ, если еще что будетъ въ этомъ въ самомъ родѣ, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

И что же вы изволите полагать? Все точно такъ и вышло, какъ мнѣ желалось: ханъ Джангаръ трубку палитъ, а на него изъ чищобы гонитъ еще татарченокъ и уже этотъ не на такой кобылицѣ, какую Чепкунъ съ мировой у Бакшея взялъ, а караковый жеребенокъ, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, какъ по межѣ въ хлѣбахъ птичка коростель бѣжитъ, — по-нашему, по-орловски, дергачъ зовется: крыла онъ растопыритъ, а задъ у него не какъ у прочихъ птицъ, не распространяется по воздуху, а внизъ виситъ и ноги книзу пуститъ, точно онѣ ему не надобны, — настоящее, выходитъ, будто онъ ѣдетъ по воз-

Digitized by Google

духу. Вотъ и этотъ новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что онъ даже не летѣлъ, а только земли за нимъ сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видалъ и не зналъ, какъ сего конька и цѣнить, на какія сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тѣмъ паче никогда того не думалъ, чтобы этотъ конь мой сталъ.

— Какъ онъ вашъ сталъ? — перебили разсказчика удивленные слушатели.

— Такъ-съ, мой, по всѣмъ правамъ мой, но только на одну минуту, а какимъ манеромъ, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновенію, начали и на эту лошадь торговаться и мой ремонтеръ, которому я дитя подарилъ, тоже встрялъ, а противъ нихъ, точно ровня имъ, взялся татаринъ Савакирей, этакой коротышъ, небольшой, но крѣпкій, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочашокъ крѣпонькій, а рожа какъ морковь красная, и весь онъ будто огородина какая здоровая и свѣжая. Кричитъ: что, говоритъ, по-пустому карманъ терять нечего, клади кто хочетъ деньги за руки сколько ханъ проситъ, и давай со мною пороться, кому конь достанется?

Господамъ, разумѣется, это не пристало, и они отъ этого сейчасъ въ сторону, да и гдѣ имъ съ этимъ татариномъ сѣчься, онъ бы, поганый, ихъ всѣхъ перебилъ. А у моего ремонтера тогда уже и денегъ-то не очень густо было, потому онъ въ Пензѣ опять въ карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вотъ я его сзади дернулъ за рукавъ, да и говорю: такъ и такъ, молъ, лишняго сулить не надо, а что ханъ требуетъ, то дайте, а я съ Савакиреемъ сяду потягаться на мировую. Онъ было не хотѣлъ, но я упросилъ, говорю:

— Сдѣлайте такую милость: мнѣ хочется.

Ну, такъ и сдѣлали.

— Вы съ этимъ татариномъ... что же... сѣкли другъ друга?

— Да-съ, тоже такимъ манеромъ попорались на мировую, и жеребенокъ мнѣ достался.

— Значитъ, вы татарина побѣдили?

— Побѣдилъ-съ не безъ труда, но пересилилъ его.

Digitized by Google

— Вѣдь это, должно быть, ужасная боль?

— Ммм... какъ вамъ сказать... да; вначалѣ есть-съ; и даже очень чувствительно, особенно потому, что безъ привычки, и онъ, этотъ Савакирей, тоже имѣлъ сноровку на пухъ бить, чтобы кровь не спущать, но я противъ этого его тонкаго искусства свою хитрую сноровку взялъ: какъ онъ меня хлобыснетъ, я самъ подъ нагайкой спиною поддерну и такъ приноровился, что сейчасъ шкуру себѣ и сорву, такимъ манеромъ и обезопасился, и самъ этого Савакирея запоролъ.

— Какъ запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-съ, онъ черезъ свое упорство да черезъ политику такъ глупо себя допустилъ, что его больше и на свѣтѣ не стало,— отвѣчалъ добродушно и безстрастно разсказчикъ, и видя, что слушатели всѣ смотрятъ на него, если не съ ужасомъ, то съ нѣмымъ недоумѣніемъ, какъ-будто почувствовалъ необходимость пополнить свой разсказъ поясненіемъ.

— Видите,—продолжалъ онъ:—это стало не отъ меня, а отъ него, потому что онъ во всѣхъ Рынь-пескахъ первый батырь считался и черезъ эту амбицію ни за что не хотѣлъ мнѣ уступить, хотѣлъ благородно вытерпѣть, чтобы позора черезъ себя на азіатскую націю не положить, но сомлѣлъ, бѣднячокъ, и противъ меня не вытерпѣлъ, вѣрно потому, что я въ ротъ грошъ взялъ. Ужасно это помогаетъ, и я все его грызъ, чтобы боли не чувствовать, а для разсѣянности мыслей въ умѣ удары считалъ, такъ мнѣ и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударовъ?—перебили разсказчика.

— А вотъ навѣрное этого сказать не могу-съ, помню, что я сосчиталъ до двѣсти до восемьдесятъ и два, а потомъ вдругъ покачнуло меня въ родѣ обморока, я и сбился на минуту и уже такъ безъ счета пущалъ, но только Савакирей тутъ же вскорѣ послѣдній разокъ на меня замахнулся, а уже ударить не могъ, самъ какъ кукла на меня впередъ и упалъ: посмотрѣли, а онъ мертвый... Тьфу, ты, дуракъ эдакій! до чего дотерпѣлся? Чуть я за него въ острогъ не попалъ. Татарва—тѣ ничего: ну, убилъ и убилъ: на то такія были кондиціи, потому что и онъ меня могъ засѣчь, но свои, наши русскіе, даже досадно какъ этого не понимаютъ, и взъѣлись. Я говорю:

Digitized by Google

— Ну, вамъ что такого? что вамъ за надобность?

— Какъ, говорятъ:—вѣдь ты азіата убилъ?

— Ну, такъ, что же, молъ, такое, что я его убилъ? Вѣдь это дѣло любовное. А развѣ лучше было бы, если бы онъ меня засѣкъ?

— Онъ, говорятъ,—тебя могъ засѣчь и ему ничего, потому что онъ иновѣръ, а тебя, говорятъ, по христіанству надо судить. Пойдемъ, говорятъ, въ полицію.

Ну, я себѣ думаю: ладно, братцы, судите вѣтра въ полѣ, а какъ по-моему полиція — нѣтъ ее ничего вреднѣе, то я сейчасъ шмыгъ за одного татарина, да за другого. Шепчу имъ:

— Спасайте, князья: сами видѣли, все это было на честномъ бою...

Они сжалились и пошли меня другъ за дружку перепихивать и скрыли.

— То-есть, позвольте... Какъ же они васъ *скрыли?*

— Совсѣмъ я съ ними бѣжалъ въ ихъ степи.

— Въ степи даже!

— Да-съ, въ самые Рынь-пески.

— И долго тамъ провели?

— Цѣлыя десять лѣтъ: двадцати трехъ лѣтъ меня въ Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назадъ убѣжалъ.

— Что же вамъ понравилось или нѣтъ въ степи жить?

— Нѣтъ-съ; что же тамъ можетъ нравиться?—скучно и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали васъ татары въ ямѣ, или караулили?

— Нѣтъ-съ, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы въ яму сажать, или въ колодки, а просто говорятъ: ты намъ, Иванъ, будь пріятель; мы, говорятъ, тебя очень любимъ, и ты съ нами въ степи живи и полезнымъ человѣкомъ будь, — коней намъ лѣчи, и бабамъ помогай.

— И вы лѣчили?

— Лѣчилъ; я такъ у нихъ за лѣкаря и былъ, и самихъ ихъ, и скотину всю, и коней, и овецъ, всего больше женъ ихнихъ, татарокъ, пользовалъ.

— Да вы развѣ умѣете лѣчить?

— Какъ бы вамъ это сказать... Да вѣдь въ этомъ ка-

Digitized by Google

кая же хитрость? Чѣмъ кто заболитъ—я сабуру дамъ, или калганнаго корня, и пройдетъ, а сабуру у нихъ много было, — въ Саратовѣ одинъ татаринъ цѣлый мѣшокъ нашелъ и привезъ, да они до меня не знали, къ чему его опредѣлить.

— И обжились вы съ ними?

— Нѣтъ-съ, постоянно назадъ стремился.

— И неужто никакъ нельзя было уйти отъ нихъ?

— Нѣтъ-съ, отчего же, если бы у меня ноги въ своемъ видѣ оставались, такъ я навѣрно давно бы назадъ въ отечество ушелъ.

— А у васъ что же съ ногами случилось?

— Подщетиненъ я былъ, послѣ перваго раза.

— Какъ это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсѣмъ понимаемъ, что это значитъ, что вы были *подщетиненъ?*

— Это у нихъ самое обыкновенное средство: если они кого полюбятъ и удержать хотятъ, а тотъ тоскуетъ, или попытается бѣжать, то и сдѣлаютъ съ нимъ, чтобы онъ не ушелъ. Такъ и мнѣ, послѣ того какъ я разъ попробовалъ уходить, да сбился съ дороги, они поймали меня и говорятъ: знаешь, Иванъ, ты, говорятъ, намъ будь пріятель и чтобы ты опять не ушелъ отъ насъ, мы тебѣ лучше пятки нарубимъ и малость щетинки туда пихнемъ, ну и испортили мнѣ такимъ манеромъ ноги, такъ что все время на карачкахъ ползалъ.

— Скажите, пожалуйста: какъ же они дѣлаютъ эту ужасную операцію?

— Очень просто-съ: повалили меня на землю человѣкъ десять и говорятъ: «ты кричи, Иванъ, погромче кричи, когда мы начнемъ рѣзать: тебѣ тогда легче будетъ», и сверхъ меня сѣли, а одинъ такой искусникъ изъ нихъ въ одну минуточку мнѣ на подошвахъ шкурку подрѣзалъ да рубленой коневьей гривы туда засыпалъ и опять съ этой подсыпью шкурку завернулъ и стрункой зашилъ. Послѣ этого тутъ они меня, точно, дѣнъ нѣсколько держали руки связавши, — все боялись, чтобы я себѣ ранъ не вредилъ и щетинку гноемъ не вывелъ; а какъ шкурка зажила и отпустили: теперь, говорятъ, здравствуй, Иванъ, теперь уже ты совсѣмъ нашъ пріятель и отъ насъ отсюда никогда не уйдешь.

Я тогда только всталъ на ноги, да и брякъ опять на

Digitized by Google

землю: волосъ-то этотъ рубленый, что подъ шкурой въ пятахъ заросъ, такъ смертно больно въ живое мясо колося, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногахъ средства нѣтъ. Сроду я не плакивалъ, а тутъ даже въ голосъ заголосилъ:

— Что же это, говорю, вы со мною, азіаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсѣмъ убили, чѣмъ этакъ цѣлый вѣкъ такимъ калѣкой быть, что ступить не могу.

А они говорятъ:

— Ничего, Иванъ, ничего, что̀ ты по пустому дѣлу обижаешься.

— Какое же, говорю, — это пустое дѣло, такъ человѣка испортить, да еще чтобы не обижаться?

— А ты, говорятъ, — приноровись, прямо-то на слѣдки не наступай, а раскорячкомъ на косточкахъ ходи.

— Тьфу, вы подлецы! — думаю я себѣ, и отъ нихъ отвернулся и говорить не сталъ, и только порѣшилъ себѣ въ своей головѣ, что лучше уже умру, а не стану, молъ, по вашему совѣту раскорякою на щиколоткахъ ходить; но потомъ полежалъ-полежалъ,—скука смертная одолѣла и сталъ приноравливаться и мало-по-малу пошелъ на щиколоткахъ ковылять. Но только они надо мной черезъ это нимало не смѣялись, а еще говорили:

— Вотъ и хорошо, и хорошо, Иванъ, ходишь.

— Экое несчастіе, и какъ же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-съ; степь ровная, дорогъ нѣтъ и ѣсть хочется... Три дня шелъ, ослабѣлъ не хуже лиса, руками какую-то птицу поймалъ и сырую ее съѣлъ, а тамъ опять голодъ и воды нѣтъ... Какъ идти?.. Такъ и упалъ, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Нѣкто изъ слушателей замѣтилъ по поводу этого подщетиниванья, что вѣдь это должно быть изъ рукъ вонъ неловко ходить на щиколоткахъ.

— По первоначалу даже очень нехорошо, — отвѣчалъ Иванъ Северьянычъ: — да и потомъ хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мнѣ съ этихъ поръ хорошо печалились:

— Теперь, говорятъ, тебѣ, Иванъ, самому трудно быть: тебѣ ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить

Digitized by Google

неловко. Бери, говорятъ, братъ, себѣ теперь Наташу, — мы тебѣ хорошую Наташу дадимъ, какую хочешь выбирай.

Я говорю:

— Что мнѣ ихъ выбирать: одна въ нихъ во всѣхъ польза. Давайте какую попало. Ну, они меня сейчасъ безъ спора и женили.

— Какъ! женили васъ на татаркѣ?

— Да-съ; разумѣется, на татаркѣ. Сначала на одной того самаго Савакирея женѣ, котораго я пересѣкъ, только она, эта татарка, вышла совсѣмъ мнѣ не по вкусу: благая какая-то и все какъ будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или такъ къ сердцу ей что-то подступало. Ну, такъ они замѣтили, что я ею сталъ отягощаться и сейчасъ другую мнѣ привели, эта маленькая была дѣвочка. не болѣе, какъ всего годовъ тринадцати... Сказали мнѣ:

— Возьми, Иванъ, еще эту Наташу, эта будетъ утѣшнѣе.

Я и взялъ.

— И что же: эта точно была для васъ утѣшнѣе?—спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвѣчалъ онъ: — эта вышла поутѣшнѣе, только порою, бывало, веселитъ, а порою тѣмъ докучаетъ, что балуется.

— Какъ же она баловалась?

— А разно... Какъ ей, бывало, вздумается; на колѣни, бывало, вскочитъ; либо спишь, а она съ головы тюбетейку ногой скопнетъ, да закинетъ куда попало, а сама смѣется. Станешь на нее грозиться, а она хохочетъ, заливается, да какъ русалка бѣгать почнетъ, ну, а мнѣ ее на карачкахъ не догнать,—шлепнешься, да и самъ разсмѣешься.

— А вы тамъ въ степи голову брили и носили тюбетейку?

— Брилъ-съ.

— Для чего же это? вѣрно хотѣли нравиться вашимъ женамъ?

— Нѣтъ-съ; больше для опрятности, потому что тамъ бань нѣтъ.

— Такимъ образомъ у васъ, значитъ, за разъ было двѣ жены?

— Да-съ; въ этой степи двѣ; а потомъ у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонилъ отъ Отучева, мнѣ еще двѣ дали.

Digitized by Google

— Позвольте же, — запыталъ опять одинъ изъ слушателей:—какъ же васъ могли угнать?

— Подвохомъ-съ. Я вѣдь изъ Пензы бѣжалъ съ татарвою Чепкуна Емгурчеева и лѣтъ пять подъ-рядъ жилъ въ емгурчеевской ордѣ и тутъ съѣзжались къ нему на радости всѣ князья и уланы, и шихъ-зады, и мало-зады, и бывалъ ханъ Джангаръ и Бакшей Отучевъ.

— Этого котораго Чепкунъ сѣкъ?

— Да-съ, тотъ самый.

— Какъ же это... развѣ Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что онъ такъ поролъ его и лошадь у него отбилъ?

— Нѣтъ-съ, они никогда за это другъ на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьетъ, тотъ и получай, и больше ничего; а только ханъ Джангаръ мнѣ, точно, одинъ разъ выговаривалъ... эхъ, говоритъ, Иванъ, эхъ, глупая твоя башка, Иванъ, зачѣмъ ты съ Савакиреемъ за русскаго князя сѣчься сѣлъ, — я, говоритъ, было хотѣлъ смѣяться, какъ самъ князь рубаха долой будетъ снимать.

— Никогда бы, отвѣчаю ему, ты этого не дождалъ.

— Отчего?

— Оттого, что наши князья, говорю,—слабодушные и не мужественные, и сила ихъ самая ничтожная.

Онъ понялъ.

— Я такъ, говоритъ,—и видѣлъ, что изъ нихъ, говоритъ, настоящихъ охотниковъ нѣтъ, а все только если, что хотятъ получить, такъ за деньги.

— Это, молъ, вѣрно: они безъ денегъ ничего не могутъ.

— Ну, а Агашимола, онъ изъ дальней орды былъ, гдѣ-то надъ самымъ Каспіемъ его косяки ходили, онъ очень лѣчиться любилъ и позвалъ меня свою ханшу попользовать и много головъ скота за то Емгурчею обѣщалъ. Емгурчей меня къ нему и отпустилъ: набралъ я съ собою сабуру и калганнаго корня и поѣхалъ съ нимъ. А Агашимола какъ взялъ меня, да и гайда, въ сторону со всѣмъ кочемъ, восемь дней въ сторону скакали.

— И вы верхомъ ѣхали?

— Верхомъ-съ.

— А какъ же ваши ноги?

— А что же такое?

Digitized by Google

— Да волосъ-то рубленый, который у васъ въ пяткахъ былъ, развѣ онъ васъ не безпокоилъ?

— Ничего; это у нихъ хорошо приноровлено: они эдакъ кого волосомъ подщетинятъ, тому хорошо ходить нельзя, а на конѣ такой подщетиненный человѣкъ еще лучше обыкновеннаго сидитъ, потому что онъ, раскорякой ходючи, всегда ноги колесомъ привыкаетъ держать, и коня какъ обручемъ ими обтянетъ такъ, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же съ вами далѣе было въ новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибалъ.

— Но не погибли?

— Нѣтъ-съ, не погибъ.

— Сдѣлайте же милость, разскажите: что̀ вы дальше у Агашимолы вытерпѣли.

— Извольте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, такъ и гайда на другое на новое мѣсто пошли и уже не выпустили меня.

— Что, говорятъ,—тебѣ тамъ, Иванъ, съ Емгурчеевыми жить,—Емгурчей воръ, ты съ нами живи, мы тебя съ охотой уважать будемъ и хорошихъ Наташъ тебѣ дадимъ. Тамъ у тебя всего двѣ Наташи было, а мы тебѣ больше дадимъ.

Я отказался:

— На что, говорю, мнѣ ихъ больше? мнѣ больше не надо.

— Нѣтъ, говорятъ,—ты не понимаешь: больше Наташъ лучше: онѣ тебѣ больше Колекъ нарожаютъ, всѣ тебя тятькой кричать будутъ.

— Ну, говорю, легко ли мнѣ обязанность татарчатъ воспитывать. Кабы ихъ крестить и причащать было кому, другое бы еще дѣло, а то что же: сколько я ихъ ни умножу, всѣ они ваши же будутъ, а не православные, да еще и обманывать мужиковъ станутъ какъ выростутъ. Такъ двухъ женъ опять взялъ, а больше не принялъ, потому что если много бабъ, такъ онѣ хоть и татарки, но ссорятся, поганыя, и ихъ надо постоянно учить.

— Ну-съ, и что же, любили вы этихъ вашихъ новыхъ женъ?

— Какъ-съ?

Digitized by Google

— Этихъ новыхъ женъ своихъ вы любили?

— Любить?.. Да, то-есть вы про это? ничего, одна, что я отъ Агашимолы принялъ, была до меня услужлива, такъ я ее ничего... сожалѣлъ.

— А ту дѣвочку, что прежде молоденькая-то такая у васъ въ женахъ была? она вамъ, вѣрно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалѣлъ.

— И скучали навѣрно по ней, когда васъ изъ одной орды въ другую украли?

— Нѣтъ; скучать не скучалъ.

— Но вѣдь у васъ, вѣрно, и тамъ отъ тѣхъ отъ первыхъ женъ дѣти были?

— Какъ же-съ, были: Савакиреева жена родила двухъ Колекъ да Наташку, да эта маленькая въ пять лѣтъ шесть штукъ породила, потому что она двухъ Колекъ въ одинъ разъ парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить васъ: почему вы ихъ все такъ называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У нихъ все: если взрослый русскій человѣкъ такъ *Иванъ*, а женщина *Наташа*, а мальчиковъ они *Кольками* кличутъ, такъ и моихъ женъ, хоть онѣ и татарки были, но по мнѣ ихъ все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишекъ Кольками. Однако, все это, разумѣется, только поверхностно, потому что они были безъ всѣхъ церковныхъ таинствъ и я ихъ за своихъ дѣтей не почиталъ.

— Какъ же не почитали за своихъ? почему же это такъ?

— Да что же ихъ считать, когда они не крещеные-съ, и муромъ не мазаны.

— А чувства-то ваши родительскія?

— Что же такое-съ?

— Да неужто же вы этихъ дѣтей нимало и не любили, и не ласкали ихъ никогда?

— Да вѣдь какъ ихъ ласкать? Разумѣется, если, бывало, какъ одинъ сидишь, а который-нибудь подбѣжитъ, ну, ничего, по головкѣ его рукой поведешь, поглядишь и скажешь ему «ступай къ матери», но только это рѣдко доводилось, потому мнѣ не до нихъ было.

— А отчего же не до нихъ: дѣла, что ли, у васъ очень много было?

Digitized by Google

— Нѣтъ-съ; дѣла никакого, а тосковалъ: очень домой въ Россію хотѣлось.

— Такъ вы и въ десять лѣтъ не привыкли къ степямъ?

— Нѣтъ-съ, домой хочется... тоска дѣлалась. Особенно по вечерамъ, или даже когда среди дня стоитъ погода хорошая, жарынь, въ стану тихо, вся татарва отъ зною попадаетъ по шатрамъ и спитъ, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... въ одну сторону и въ другую—все одинаково... Знойный видъ, жестокій; просторъ—краю нѣтъ; травы, буйство; ковыль бѣлый, пушистый, какъ серебряное море волнуется и по вѣтерку запахъ несетъ: овцой пахнетъ, а солнце обливаетъ, жжетъ, и степи, словно жизни тягостной, нигдѣ конца не предвидится и тутъ глубинѣ тоски дна нѣтъ... Зришь, самъ не знаешь куда, и вдругъ предъ тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь, или храмъ и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иванъ Северьянычъ остановился, тяжело вздохнулъ отъ воспоминанія и продолжалъ:

— Или еще того хуже было на солончакахъ надъ самымъ надъ Каспіемъ; солнце рдѣетъ, печетъ и солончакъ блеститъ и море блеститъ... Одурѣніе отъ этого блеску даже хуже чѣмъ отъ ковыля дѣлается и не знаешь тогда, гдѣ себя, въ какой части свѣта числить, то-есть живъ ты или уже умеръ и въ безнадежномъ аду за грѣхи мучишься. Тамъ, гдѣ степь ковылистѣе, она все-таки радостнѣй; тамъ хоть по уваламъ кое-гдѣ изрѣдка шалфей сизѣетъ, или мелкій полынь и чабрецъ пестритъ бѣлизну! а тутъ все одно блыщаніе... Тамъ, гдѣ-нибудь огонь паломъ по травѣ пойдетъ, — суета поднимется: дрохвы летятъ, стрепеты, кулики степные и охота на нихъ затѣется. Тудаковъ этихъ, или по здѣшнему драхвовъ, на коняхъ заѣзжаемъ и длинными кнутьями засѣкаемъ; а тамъ, гляди, надо и самимъ съ коня отъ огня бѣжать... Все отъ этого развлеченіе. А потомъ по старому палу опять клубника засядетъ; птица на нее разная налетитъ, все больше мелочь этакая и пойдетъ въ воздухѣ чириканье... А потомъ еще гдѣ-нибудь и кустикъ встрѣтишь: таволожка, дикій персичекъ, или чилизникъ... И когда на восходѣ солнца туманъ росою садится, будто прохладой пахнётъ и идутъ отъ растенія запахи... Оно, разумѣется, и при всемъ этомъ скучно, но все еще перенесть можно, но на солончакѣ не приведи Господи ни-

Digitized by Google

кому долго побывать. Конь тамъ одно время бываетъ доволенъ: онъ соль лижетъ и съ нея много пьетъ и жирѣетъ, но человѣку тамъ—погибель. Живности даже никакой нѣтъ, только и есть, какъ на смѣхъ, одна малая птичка, красноустикъ, въ родѣ нашей ласточки, самая непримѣчательная, а только у губокъ этакая оторочка красная. Зачѣмъ она къ этимъ морскимъ берегамъ летитъ—не знаю, но какъ сѣсть ей постоянно здѣсь не на что, то она упадетъ на солончакъ, полежитъ на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетѣла, а ты и сего лишенъ, ибо крыльевъ нѣтъ, и ты снова здѣсь, и нѣтъ тебѣ ни смерти, ни живота, ни покаянія, а умрешь, такъ какъ барана тебя въ соль положатъ, и лежи до конца свѣта солониною. А еще и этого тошнѣе зимою на тюбенькѣ; снѣгъ малый, только чуть траву укроетъ и залубенитъ — татары тогда все въ юртахъ надъ огнемъ сидятъ, курятъ... И вотъ тутъ они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходятъ свернувшись, худые такіе, что только хвосты да гривы развѣваются. Насилу ноги волочатъ и копытомъ снѣжный настъ разгребаютъ и мерзлую травку гложутъ, тѣмъ и питаются, — это и называется *тюбенькуютъ*... Несносно. Только и разсѣянія, что если замѣчаютъ, что какой конь очень ослабѣлъ и тюбеньковать не можетъ, — снѣгу копытомъ не пробиваетъ и мерзлаго корня зубомъ не достаетъ, то такого сейчасъ въ горло ножомъ колютъ и шкуру снимаютъ, а мясо ѣдятъ. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно въ родѣ какъ коровье вымя, но жесткое: отъ нужды, разумѣется, ѣшь, а самого мутитъ. У меня, спасибо, одна жена умѣла еще коневьи ребра коптить: возьметъ какъ есть коневье ребро, съ мясомъ съ обѣихъ сторонъ, да въ большую кишку всунетъ и надъ очагомъ выкоптитъ. Это еще ничего, сходнѣе ѣсть можно, потому что оно, по крайней мѣрѣ, запахомъ въ родѣ ветчины отдаетъ, но а на вкусъ все равно тоже поганое. И тутъ-то этакую гадость гложешь и вдругъ вздумаешь: эхъ, а дома у насъ теперь въ деревнѣ къ празднику утокъ, молъ, и гусей щипятъ, свиней рѣжутъ, щи съ зашеиной варятъ жирныя-прежирныя, и отецъ Илья, нашъ священникъ, добрый-предобрый старичокъ, теперь скоро пойдетъ онъ Христа славить и съ нимъ дьяки, попадьи и дьячихи идутъ и съ семинаристами, и всѣ навеселѣ, а самъ отецъ

Digitized by Google

Илья много пить не можетъ: въ господскомъ домѣ ему дворецкій рюмочку поднесетъ; въ конторѣ тоже управитель съ нянькой вышлетъ, попотчуетъ, отецъ Илья и раскиснетъ и ползетъ къ намъ на дворню, совсѣмъ чуть ножки волочитъ пьяненькій: въ первой съ краю избѣ еще какъ-нибудь рюмочку прососетъ, а тамъ ужъ болѣе не можетъ и все подъ ризой въ бутылочку сливаетъ. Такъ это все у него семейственно, даже въ разсужденіи кушанья, онъ если что посмачнѣе изъ съѣстного увидитъ, проситъ: «дайте, говоритъ, мнѣ въ газетную бумажку, я съ собой заверну». Ему обыкновенно скажутъ: «нѣту, молъ, батюшка, у насъ газетной бумаги», онъ не сердится, а возьметъ такъ просто и, не завернувши, своей попадейкѣ передастъ и дальше столь же мирно пойдетъ. Ахъ, судари, какъ это все съ дѣтства памятное житье пойдетъ вспоминаться, и понапретъ на душу и станетъ вдругъ загнетать на неченяхъ, что гдѣ ты пропадаешь, ото всего этого счастія отлученъ и столько лѣтъ на духу не былъ, и живешь невѣнчанный и умрешь неотпѣтый, и охватитъ тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дѣти и никто бы тебя изъ поганыхъ не видалъ, и начнешь молиться... и молишься,—такъ молишься, что даже снѣгъ инда подъ колѣнами протаетъ и гдѣ слезы падали—утромъ травку увидишь.

Разсказчикъ умолкъ и поникъ головою. Его никто не тревожилъ; казалось, всѣ были проникнуты уваженіемъ къ святой скорби его послѣднихъ воспоминаній; но прошла минута и Иванъ Северьянычъ самъ вздохнулъ, какъ рукой махнулъ; снялъ съ головы своей монастырскій колпачокъ и, перекрестясь, молвилъ.

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о томъ, какъ онъ, нашъ очарованный богатырь, выправилъ свои попорченныя волосяною сѣчкою пятки и какими путями онъ убѣжалъ изъ татарской степи отъ своихъ Наташекъ и Колекъ и попалъ въ монастырь?

Иванъ Северьянычъ удовлетворилъ это любопытство съ полною откровенностью, измѣнять которой онъ, очевидно, былъ вовсе не способенъ.

Digitized by Google

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Дорожа послѣдовательностью въ развитіи заинтересовавшей насъ исторіи Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего разсказать, какими необыкновенными средствами онъ избавился отъ своей щетинки и ушелъ изъ плѣна? Онъ повѣдалъ объ этомъ слѣдующее сказаніе:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышленіе объ этомъ даже мнѣ казалось невозможнымъ и стала даже во мнѣ самая тоска замирать. Живу, какъ статуй безчувственный, и больше ничего; а иногда думаю: что вотъ же, молъ, у насъ дома въ церкви этотъ самый отецъ Илья, который все газетной бумажки проситъ, бывало, на служеніи молится «о плавающихъ и путешествующихъ, страждущихъ и *плѣненныхъ*», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачѣмъ? развѣ теперь есть война, чтобы о плѣнныхъ молиться? А вотъ теперь и понимаю, зачѣмъ этакъ молятся, но не понимаю, отчего же мнѣ отъ всѣхъ этихъ молитвъ никакой пользы нѣтъ и, по малости сказать, хоша не невѣрую, а смущаюсь и самъ молиться не сталъ.

— Что же, думаю, молить, когда ничего оттого не выходитъ.

А между тѣмъ вдругъ однажды слышу-послышу татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, говорятъ, — изъ вашей стороны два муллы пришли, отъ Бѣлаго Царя охранный листъ имѣютъ и далеко идутъ свою вѣру уставлять.

Я бросился: говорю:

— Гдѣ они?

Мнѣ показали на одну юрту, я и пошелъ туда, куда показали. Прихожу и вижу тамъ собрались много шихъ-задовъ и мало-задовъ, имамовъ и дербышей, и всѣ, поджавъ ноги, на кошмахъ сидятъ, а посреди ихъ два человѣка незнакомые, одѣты хотя и по-дорожному, а видно, что духовнаго званія: стоятъ оба посреди этого сброда и слову Божьему татаръ учатъ.

Я ихъ какъ увидалъ, взрадовался, что русскихъ вижу, и сердце во мнѣ затрепетало и упалъ я имъ въ ноги и за-

Digitized by Google

рыдалъ. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что? видите! видите? какъ дѣйствуетъ благодать, вотъ она уже одного вашего коснулась, и онъ обращается отъ Магомета.

А татары отвѣчаютъ, что это, молъ, ничего не дѣйствуетъ: это — вашъ Иванъ, онъ изъ вашихъ, изъ русскихъ, только въ плѣну у насъ здѣсь проживаетъ.

Миссіонеры очень этимъ недовольны сдѣлались. Не вѣрятъ, что я русскій, а я и встрялъ самъ:

— Нѣтъ, — я говорю,—я, точно, русскій! Отцы, говорю, духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здѣсь уже одиннадцатый годъ въ плѣну томлюсь и видите, какъ изувѣченъ: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дѣло продолжать: все проповѣдуютъ.

Я думаю: ну что же на это роптать: они люди должностные и, можетъ-быть, имъ со мною неловко иначе при татарахъ обойтися и оставилъ, а выбралъ такой часъ, что они были одни въ особливой ставкѣ, и кинулся къ нимъ, и уже со всею откровенностью имъ все разсказалъ, что самую жестокую участь претерпѣваю и прошу ихъ.

— Попугайте,—говорю,—ихъ, отцы благодѣтели, нашимъ батюшкой Бѣлымъ Царемъ: скажите имъ, что онъ не велитъ азіатамъ своихъ подданныхъ насильно въ плѣну держать, или, еще лучше, выкупъ за меня имъ дайте, а я вамъ служить пойду. Я, говорю, здѣсь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вамъ полезнымъ человѣкомъ быть.

А они отвѣчаютъ:

— Что, говорятъ, сыне: выкупу у насъ нѣтъ, а пугать,— говоритъ,—намъ невѣрныхъ не позволено, потому что и безъ того люди лукавые и непреданные, и съ ними изъ политики мы вѣжливость соблюдаемъ.

— Такъ что же, говорю: стало-быть мнѣ изъ-за этой политики такъ тутъ цѣлый вѣкъ у нихъ и пропадать?

— А что же, говорятъ,—все равно, сыне, гдѣ пропадать, а ты молись: у Бога много милости, можетъ-быть Онъ тебя и избавитъ.

Digitized by Google

— Я, молъ, молился, да уже силъ моихъ нѣтъ и упованіе отложилъ.

— А ты, говорятъ,—не отчаивайся, потому что это большой грѣхъ!

— Да я, говорю,—не отчаиваюсь, а только... какъ же вы это такъ... мнѣ это очень обидно, что вы, русскіе и земляки, и ничего пособить мнѣ не хотите.

— Нѣтъ, отвѣчаютъ,—ты, чадо, насъ въ это не мѣшай, мы во Христѣ, а во Христѣ нѣтъ ни еллинъ, ни жидъ: наши земляки всѣ послушенствующіе. Намъ всѣ равны, всѣ равны.

— Всѣ?—говорю.

— Да, — отвѣчаютъ: — всѣ, это наше наученіе отъ апостола Павла. Мы куда приходимъ, не ссоримся... это намъ не подобаетъ. Ты рабъ и, что дѣлать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,—говорятъ,—рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христіанинъ и потому о тебѣ намъ уже хлопотать нечего, твоей душѣ и безъ насъ врата въ рай уже отверсты, а эти во тьмѣ будутъ, если мы ихъ не присоединимъ, такъ мы за нихъ должны хлопотать.

И показываютъ мнѣ книжку:

— Вотъ вѣдь,—говорятъ,—видишь сколько здѣсь у насъ человѣкъ въ этомъ реестрѣ записано,—это все мы столько людей къ нашей вѣрѣ присоединили!

Я съ ними больше и говорить не сталъ и не видѣлъ ихъ больше, какъ окромя одного, и то случаемъ: пригонилъ отколь-то разъ одинъ мой сынишка и говоритъ:

— У насъ на озерцѣ, тятька, человѣкъ лежитъ.

Я пошелъ посмотрѣть: вижу, на ногахъ съ колѣнъ чулки содраны, а съ рукъ по локти перчатки сняты, татарва это искусно дѣлаютъ, обчертитъ да дернетъ, такъ шкуру и сниметъ,—а голова этого человѣка въ сторонкѣ валяется и на лбу крестъ вырѣзанъ.

— Эхъ, думаю:—не хотѣлъ ты за меня, землякъ, похлопотать и я тебя осуждалъ, а ты вотъ сподобился и вѣнецъ страданія пріялъ. Прости меня теперь ради Христа!

И взялъ я его перекрестилъ, сложилъ его головку съ туловищемъ, поклонился до земли и закопалъ, и «Святый Боже» надъ нимъ пропѣлъ,—а куда другой его товарищъ дѣлся, такъ и не знаю; но только тоже вѣрно онъ тѣмъ же кончилъ, что вѣнецъ пріялъ, потому что у насъ послѣ по

Digitized by Google

ордѣ у татарокъ очень много образковъ пошло, тѣхъ самыхъ, что съ этими миссіонерами были.

— А эти миссіонеры даже и туда въ Рынь-пески заходятъ?

— Какъ же-съ, они ходятъ, но только все безъ пользы безъ всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знаютъ какъ. Азіата въ вѣру приводить надо со страхомъ, чтобы онъ трясся отъ перепуга, а они имъ Бога смирнаго проповѣдываютъ. Это по первоначалу никакъ не годится, потому что азіатъ смирнаго Бога безъ угрозы ни за что не уважитъ и проповѣдниковъ побьетъ.

— А главное, надо полагать, идучи къ азіатамъ, денегъ и драгоцѣнностей не надо при себѣ имѣть.

— Не надо-съ; а впрочемъ, все равно они не повѣрятъ, что кто-нибудь пришелъ, да ничего при себѣ не принесъ; подумаютъ, что гдѣ-нибудь въ степи закопалъ и пытать станутъ и запытаютъ.

— Вотъ разбойники!

— Да-съ; такъ было при мнѣ съ однимъ жидовиномъ: старый жидовинъ не вѣсть откуда пришелъ, и тоже о вѣрѣ говорилъ. Человѣкъ хорошій и видно къ вѣрѣ своей усердный и весь въ такихъ лохмоткахъ, что вся плоть его видна, а сталъ говорить про вѣру, такъ даже кажется никогда бы его не пересталъ слушать. Я съ нимъ по первоначалу было спорить зачалъ, что какая же, молъ, ваша вѣра, когда у васъ святыхъ нѣтъ, но онъ говоритъ: есть, и началъ по талмуду читать, какіе у нихъ бываютъ святые... очень занятно, а тотъ талмудъ, говоритъ, написалъ раввинъ Іовозбенъ Леви, который былъ такой ученый, что грѣшные люди на него смотрѣть не могли; какъ взглянули, сейчасъ всѣ умирали, черезъ что Богъ позвалъ его передъ самого себя и говоритъ: «Эй, ты, ученый раввинъ, Іовозбенъ Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрезъ тебя всѣ мои жидки могутъ умирать. Не на то, говоритъ, я ихъ съ Моисеемъ черезъ степь перегналъ и черезъ море переправилъ. Пошелъ-ну ты за это вонъ изъ своего отечества и живи тамъ, гдѣ бы тебя никто не могъ видѣть». — А раввинъ Леви какъ пошелъ, то ударился до самаго до того мѣста, гдѣ былъ рай, и зарылъ себя тамъ въ

Digitized by Google

песокъ по самую шею и пребывалъ въ пескѣ тринадцать лѣтъ, а хотя же и былъ засыпанъ по шею, но всякую субботу приготовлялъ себѣ агнца, который былъ печенъ огнемъ, съ небеси нисходящимъ. И если комаръ или муха ему садилась на носъ, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчасъ были пожираемы небеснымъ огнемъ... Азіатамъ это очень понравилось про ученаго раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потомъ приступили къ нему и стали его допрашивать: гдѣ онъ, идучи къ нимъ, свои деньги закопалъ? Жидовинъ батюшки-какъ клялся, что денегъ у него нѣтъ, что его Богъ безо всего послалъ съ одной мудростью, ну, однако, они ему не повѣрили, а сгребли уголья, гдѣ костеръ горѣлъ, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори имъ, да говори: гдѣ деньги? А какъ видятъ, что онъ весь почернѣлъ и голосу не подаетъ:

— Стой,—говорятъ:—давай мы его по горло въ песокъ закопаемъ: можетъ быть ему отъ этого проходитъ.

И закопали, но, однако, жидовинъ такъ закопанный и померъ, и голова его долго потомъ изъ песку чернѣлась, но дѣти ее стали пужаться, такъ срубили ее и въ сухой колодецъ кинули.

— Вотъ тебѣ и проповѣдуй имъ!

— Да-съ; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки вѣдь были.

— Были?!

— Были-съ; его потомъ волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкамъ изъ песку повытаскали и, наконецъ, добрались и до обуви. Тутъ сапожонки растормошили, а изъ подметки семь монетъ выкатились. Нашли ихъ потомъ.

— Ну, а какъ же вы-то отъ нихъ вырвались?

— Чудомъ спасенъ.

— Кто же это чудо сдѣлалъ, чтобы васъ избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой, этотъ Талафа: тоже татаринъ?

— Нѣтъ-съ; онъ другой породы, индійской, и даже не простой индіецъ, а ихній богъ, на землю сходящій.

Упрошенный слушателями, Иванъ Северьянычъ Флятинъ разсказалъ нижеслѣдующее объ этомъ новомъ актѣ своей житейской драмо-комедіи.

Digitized by Google

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

— Послѣ того, какъ татары нашихъ мисанеровъ избавились, опять прошелъ безъ мала годъ и опять была зима и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнѣе къ Каспію и тутъ вдругъ одного дня передъ вечеромъ пригонили къ намъ два человѣка, ежели только можно ихъ за человѣковъ считать. Кто ихъ знаетъ, какіе они и откуда и какого рода и званія. Даже языка у нихъ никакого настоящаго не было, ни русскаго, ни татарскаго, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промежъ себя не вѣсть по-каковски. Оба не старые, одинъ черный, съ большой бородой, въ халатѣ, будто и на татарина похожъ, но только халатъ у него не пестрый, а весь красный и на башкѣ острая персіанская шапка, а другой рыжій, тоже въ халатѣ, но этакій штуковатый: все ящички какіе-то при себѣ имѣлъ и сейчасъ, чуть ему время есть, что никто на него не смотритъ, онъ съ себя халатъ долой сниметъ и остается въ однихъ штанцахъ и въ курточкѣ, а эти и штанцы и курточка по такому шиты, какъ въ Россіи на заводахъ у какихъ-нибудь нѣмцевъ бываетъ. И все онъ, бывало, въ этихъ ящичкахъ что-то вертитъ да перебираетъ, а что̀ такое у него тамъ содержалось—лихо его вѣдаетъ. Говорили, будто изъ Хивы пришли коней закупать и хотятъ тамъ у себя дома съ кѣмъ-то войну дѣлать, а съ кѣмъ — не сказываютъ, но только все татарву противъ русскихъ подущаютъ. Слышу я — этотъ рыжій — говоритъ онъ много не умѣетъ, а только выговоритъ въ родѣ какъ по-русски «натшальникъ» и плюнетъ; но денегъ съ ними при себѣ не было, потому что они, азіаты, это знаютъ, что если съ деньгами въ степь пріѣхать, то оттоль уже съ головой на плечахъ не выѣдешь, а манули они нашихъ татаръ, чтобы имъ косяки коней на ихъ рѣку, на Дарью, перегнать, и тамъ расчетъ сдѣлать. Татарва и туда, и сюда мыслями разсѣялись, и не знаютъ: согласиться на это, или нѣтъ? Думаютъ, думаютъ, словно золото копаютъ, а видно чего-то боятся.

А тѣ ихъ то честью уговаривали, а потомъ тоже и пугать начали:

— Гоните,—говорятъ:—а то вамъ худо можетъ быть: у насъ есть богъ Талафа и онъ съ нами свой огонь прислалъ. Не дай Богъ какъ разсердится.

Digitized by Google

Татары того бога не знаютъ и сомнѣваются, что онъ имъ сдѣлать можетъ въ степи, зимою, съ своимъ огнемъ, — ничего. Но этотъ чернобородый, который изъ Хивы пріѣхалъ въ красномъ халатѣ, говоритъ, что если, говоритъ, вы сомнѣваетесь, то Талафа вамъ сею же ночью свою силу покажетъ, только вы, говоритъ, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то онъ сожжетъ. Разумѣется, всѣмъ это среди скуки степной, зимней, ужасть какъ интересно, и всѣ мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотрѣть: что такое отъ этого индійскаго бога будетъ; чѣмъ онъ, какимъ чудомъ проявится?

Позабрались мы съ женами и съ дѣтьми подъ ставки рано и ждемъ... Все темно и тихо, какъ и во всякую ночь, только вдругъ, такъ въ первый сонъ, я слышу, что будто въ степи что-то какъ вьюга пришипѣло и хлопнуло, и сквозь сонъ мнѣ показалось, будто съ небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу и жены мои ворочаются и ребята заплакали.

Я говорю:

— Цыть! заткните имъ глотки, чтобы сосали и не плакали.

Тѣ зацмоктали и стало опять тихо, а въ темной степи вдругъ опять вверхъ огонь зашипѣлъ... зашипѣло и опять лопнуло...

— Ну, думаю, однако, видно Талафа-то не шутка!

А онъ мало спустя, опять зашипѣлъ да уже совсѣмъ на другой манеръ,—какъ птица огненная выпорхнулъ съ хвостомъ, тоже съ огненнымъ, и огонь необыкновенно какой, какъ кровь красный, а лопнетъ, вдругъ все желтое сдѣлается и потомъ синее станетъ.

По становищу, слышу, все какъ умерло. Не слыхать этого, разумѣется, никому нельзя этакой пальбы, но всѣ, значитъ, оробѣли и лежатъ подъ тулупами. Только слышно, что земля вразъ вздрогнетъ, затрясется и опять станетъ. Это, можно разумѣть, кони шарахаются и все въ кучу тѣснятся, да слышно разъ было какъ эти хивяки, или индійцы, куда-то пробѣгли и сейчасъ опять по степи огонь какъ пустится змѣемъ... Кони какъ зынули на то, да и понеслись... Татарва и страхъ позабыли, всѣ повыскакали, башками трясутъ, вопятъ: Алла! Алла! да въ погоню, а тѣ,

Digitized by Google

хивяки, пропали и слѣда ихъ нѣтъ, только одинъ ящикъ свой покинули по себѣ на память... Вотъ тутъ какъ всѣ наши батыри угнали за табуномъ, а въ стану однѣ бабы да старики остались, я и доглядѣлся до этого ящика: что̀ тамъ такое? Вижу въ немъ разныя земли и снадобья, и бумажныя трубки: я сталъ разъ одну эту трубку близко къ костру разсматривать, а она какъ хлопнетъ, чуть мнѣ огнемъ всѣ глаза не выжгло, и вверхъ полетѣла, а тамъ... бббаххъ звѣздами разсыпало... Эге, думаю себѣ, да это должно не богъ, а просто фейверокъ, какъ у насъ въ публичномъ саду пускали, да опять какъ изъ другой трубки бабахну, а гляжу татары, кои тутъ старики остались уже, и повалились и ничкомъ лежатъ кто гдѣ упалъ, да только ногами дрыгаютъ... Я было по-первоначалу и самъ испугался, но потомъ какъ увидалъ, что они этакъ дрыгаютъ, вдругъ совсѣмъ въ иное расположеніе пришелъ и съ тѣхъ поръ, какъ въ полонъ попалъ, въ первый разъ какъ заскриплю зубами, да и ну на нихъ вслухъ какія попало незнакомыя слова произносить. Кричу какъ можно громче:

— Парле-бьенъ-комса-шире-миръ-ферфлюхтуръ-минъ-адью мусью!

Да еще трубку съ вертуномъ выпустилъ... Ну, тутъ уже они, увидавъ, какъ вертунъ съ огнемъ ходитъ, всѣ какъ умерли... Огонь погасъ, а они все лежатъ и только нѣтъ-нѣтъ одинъ голову подниметъ, да и опять сейчасъ мордок внизъ, а самъ только пальцемъ киваетъ, зоветъ меня къ себѣ. Я подошелъ и говорю:

— Ну, что? признавайся; чего тебѣ, проклятому: смерти или живота? потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

— Прости, — говорятъ: — Иванъ, не дай смерти, а дай живота.

А въ другомъ мѣстѣ тоже и другіе такимъ манеромъ киваютъ и все прощенья и живота просятъ.

Я вижу, что хорошо мое дѣло заиграло: вѣрно уже я за всѣ свои грѣхи оттерпѣлся и прошу:

— Мать Пресвятая Владычица, Николай угодникъ, лебедики мои, голубчики, помогите мнѣ, благодѣтели!

А самъ татаръ строго спрашиваю:

— Въ чемъ и на какой конецъ я васъ долженъ простить и животомъ жаловать.

Digitized by Google

— Прости, — говорятъ: — что мы въ твоего Бога не вѣрили.

— Ага, думаю, — вонъ оно какъ я ихъ пугнулъ, да говорю: ну, ужъ нѣтъ, братцы, врете,—этого я вамъ за противность религіи ни за что не прощу! да самъ опять зубами скрипъ, да еще трубку распечаталъ.

Эта вышла съ ракитою... Страшный огонь и трескъ.

Кричу я на татаръ:

— Что же: еще одна минута и я васъ всѣхъ погублю, если вы не хотите въ моего Бога вѣрить.

— Не губи,—отвѣчаютъ:—мы всѣ подъ вашего Бога согласны подойти.

Я и пересталъ фейверки жечь и окрестилъ ихъ въ рѣчечкѣ.

— Тутъ же, въ это самое время и окрестили?

— Въ эту же самую минуту-съ. Да и что же тутъ было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочилъ ихъ по башмакамъ водицей, надъ прорубью, прочелъ «во имя Отца и Сына» и крестики, которые отъ мисанеровъ остались, понадѣвалъ на шеи и велѣлъ имъ того убитаго мисанера, чтобы они за мученика почитали и за него молились и могилку имъ показалъ.

— И они молились?

— Молились-съ.

— Вѣдь они же никакихъ молитвъ христіанскихъ, чай, не знали, или вы ихъ выучили?

— Нѣтъ; учить мнѣ ихъ некогда было, потому что я видѣлъ, что мнѣ въ это время бѣжать пора, а велѣлъ имъ: молитесь, молъ, какъ до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смѣйте, а вмѣсто него Іисуса Христа поминайте. Они такъ и приняли сіе исповѣданіе.

— Ну, а потомъ какъ же все-таки вы отъ этихъ новыхъ христіанъ убѣжали съ своими искалѣченными ногами и какъ вылѣчились?

— А потомъ я нашелъ въ тѣхъ фейверкахъ ѣдкую землю; такая, что чуть ее къ тѣлу приложишь, сейчасъ она страшно тѣло палитъ. Я ее и приложилъ и притворился, будто я боленъ, а самъ себѣ все, подъ кошмой лежа, этой ѣдкостью пятки растравливалъ и въ двѣ недѣли такъ растравилъ, что у меня вся какъ есть плоть на ногахъ взгноилась и вся та щетина, которую мнѣ татары десять лѣтъ назадъ

Digitized by Google

засыпали, съ гноемъ вышла. Я какъ можно скорѣе обмогнулся, но виду въ томъ не подаю, а притворяюсь, что мнѣ еще хуже стало, и наказалъ я бабамъ и старикамъ, чтобы они всѣ какъ можно усерднѣе за меня молились, потому что, молъ, помираю. И положилъ я на нихъ въ родѣ эпитемьи постъ, и три дня я имъ за юрты выходить не велѣлъ, а для бо́льшей еще острастки самый большой фейверкъ пустилъ и ушелъ...

— Но они васъ не догнали?

— Нѣтъ; да и гдѣ имъ было догонять: я ихъ такъ запостилъ и напугалъ, что они, небось, радешеньки остались и три дня носу изъ юртъ не казали, а послѣ хоть и выглянули, да уже искать имъ меня далеко было. Ноги-то у меня, какъ я изъ нихъ щетину спустилъ, подсохли, такія легкія стали, что какъ разбѣжался, всю степь перебѣжалъ.

— И все пѣшкомъ?

— А то какъ же-съ, тамъ вѣдь не проѣзжая дорога, встрѣтить некого, а встрѣтишь, такъ не обрадуешься, кого обрѣтешь. Мнѣ на четвертый день чувашинъ показался, одинъ пять лошадей гонитъ, говоритъ: садись верхомъ.

Я поопасался и не поѣхалъ.

— Чего же вы его боялись?

— Да такъ... онъ какъ-то мнѣ невѣренъ показался, а притомъ нельзя было и разобрать, какой онъ религіи, а безъ этого на степи страшно. А онъ, безтолковый, кричитъ:

— Садись,—кричитъ:—веселѣй, двое будемъ ѣхать.

Я говорю:

— А кто ты: можетъ-быть, у тебя Бога нѣтъ?

— Какъ,—говоритъ:—нѣтъ: это у татарина бока нѣтъ, онъ кобылу ѣстъ, а у меня есть бокъ.

— Кто же,—говорю:—твой Богъ?

— А у меня,—говоритъ:—все бокъ: и солнце бокъ, и мѣсяцъ бокъ, и звѣзды бокъ... все бокъ. Какъ у меня нѣтъ бокъ?

— Все!.. гм... все, молъ, у тебя Богъ, а Іисусъ Христосъ, говорю,—стало-быть, тебѣ не Богъ?

— Нѣтъ, говоритъ,—и Онъ бокъ, и Богородица бокъ, и Николачъ бокъ...

— Какой, говорю,—Николачъ?

А что одинъ на зиму, одинъ на лѣто живетъ?

Я его похвалилъ, что онъ русскаго Николая Чудотворца уважаетъ.

Digitized by Google

— Всегда, говорю, — его почитай, потому что онъ русскій, и уже совсѣмъ-было его вѣру одобрилъ и совсѣмъ съ нимъ ѣхать хотѣлъ, а онъ, спасибо, разболтался и выказался.

— Какъ же, говоритъ,—я Николача почитаю: я ему на зиму, пущай, хоть не кланяюсь, а на лѣто ему двугривенный даю, чтобъ онъ мнѣ хорошенько коровокъ берегъ, да! Да еще на него одного не надѣюсь, такъ Керемети бычка жертвую.

Я и разсердился.

— Какъ же, говорю, — ты смѣешь на Николая Чудотворца не надѣяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой цѣлаго бычка! Пошелъ прочь, говорю:—не хочу я съ тобою... я съ тобою не поѣду, если ты такъ Николая Чудотворца не уважаешь.

И не поѣхалъ: зашагалъ во всю мочь; не успѣлъ опомниться, смотрю, къ вечеру третьяго дня вода завиднѣлась и люди. Я легъ для опаски въ траву и высматриваю: что за народъ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще въ худшій плѣнъ не попасть, но вижу, что это люди пищу варятъ... Должно-быть, думаю, христіане. Подползъ еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьютъ, — ну, значитъ, русскіе!.. Тутъ и я выскочилъ изъ травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, какъ надо землякамъ, ласково приняли и говорятъ:

— Пей водку!

Я отвѣчаю:

— Я, братцы мои, отъ нея, съ татарвой живучи, совсѣмъ отвыкъ.

— Ну, ничего, говорятъ,—здѣсь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!

Я налилъ себѣ стаканчикъ и думаю:

— Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращеніе!—и выпилъ, а ватажники пристаютъ, добрые ребята.

— Пей еще! говорятъ, — ишь ты безъ нея какъ зачичкался.

Я и еще одну позволилъ и сдѣлался очень откровенный, все имъ разсказалъ: откуда я и гдѣ, и какъ пребывалъ. Всю ночь я имъ, у огня сидя, разсказывалъ и водку пилъ, и все мнѣ такъ радостно было, что я опять на святой Руси, но только подъ утро этакъ, уже костерокъ сталъ тухнуть

Digitized by Google

и почти всѣ, кто слушалъ, заснули, а одинъ изъ нихъ, ватажный товарищъ, говоритъ мнѣ:

— А паспортъ же у тебя есть?

Я говорю:

— Нѣтъ, нема.

— А если, говоритъ, — нема, такъ тебѣ здѣсь будетъ тюрьма.

— Ну, такъ я, говорю,—я отъ васъ не пойду: а у васъ, небось, тутъ можно жить и безъ паспорта?

А онъ отвѣчаетъ:

— Жить, говоритъ, — у насъ безъ паспорта можно, но помирать нельзя.

Я говорю:

— Это отчего?

— А какъ же, говоритъ,—тебя попъ запишетъ, если ты безъ паспорта?

— Такъ какъ же, молъ, мнѣ на такой случай быть?

— Въ воду, говоритъ, — тебя тогда бросимъ на рыбное пропитаніе.

— Безъ попа?

— Безъ попа.

Я, въ легкомъ подпитіи будучи, ужасно этого испугался и сталъ плакать и жалиться, а рыбакъ смѣется:

— Я, говоритъ, — надъ тобою шутилъ: помирай смѣло, мы тебя въ родную землю зароемъ.

Но я уже очень огорчился и говорю:

— Хороша, молъ, шутка. Если вы этакъ станете надо мною часто шутить, такъ я и до другой весны не доживу.

И чуть этотъ послѣдній товарищъ заснулъ, я поскорѣе поднялся и пошелъ прочь, и пришелъ въ Астрахань, заработалъ на поденщинѣ рубль и съ того часу столь усердно запилъ, что не помню, какъ очутился въ иномъ городѣ, и сижу уже я въ острогѣ, а оттуда меня по пересылкѣ въ свою губернію послали. Привели меня въ нашъ городъ, высѣкли въ полиціи и въ свое имѣніе доставили. Графиня, которая меня за кошкинъ хвостъ сѣчь приказывала, уже померла, а одинъ графъ остался, но тоже очень состарѣлся и богомольный сталъ, и конскую охоту оставилъ. Доложили ему, что я пришелъ, онъ меня вспомнилъ и велѣлъ меня еще разъ дома высѣчь и чтобы я къ батюшкѣ, къ отцу Ильѣ, на духъ шелъ. Ну, высѣкли меня по старинному, въ раз-

Digitized by Google

рядной избѣ, и я прихожу къ отцу Ильѣ, а онъ сталъ меня исповѣдывать и на три года не разрѣшаетъ мнѣ причастія...

Я говорю:

— Какъ же такъ, батюшка, я было... столько лѣтъ не причащамшись... ждалъ...

— Ну, мало ли, говоритъ, — что; ты ждалъ, а зачѣмъ ты, говоритъ, татарокъ при себѣ вмѣсто женъ держалъ... Ты знаешь ли, говоритъ, что я еще милостиво дѣлаю, что тебя только отъ причастія отлучаю, а если бы тебя взяться какъ должно по правилу святыхъ отецъ исправлять, такъ на тебѣ на живомъ надлежитъ всю одежду сжечь, но только ты, говоритъ, этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется.

Ну, что же, думаю, — дѣлать: останусь хоть такъ, безъ причастія, дома поживу, отдохну послѣ плѣна, но графъ этого не захотѣли. Изволили сказать:

— Я, говорятъ, не хочу вблизи себя отлученнаго отъ причастія терпѣть.

И приказали управителю еще разъ меня высѣчь съ оглашеніемъ для всеобщаго примѣра и потомъ на оброкъ пустить. Такъ и сдѣлалось: выпороли меня въ этотъ разъ по новому, на крыльцѣ, передъ конторою, при всѣхъ людяхъ, и дали паспортъ. Отрадно я себя тутъ-то почувствовалъ, черезъ столько лѣтъ совершенно свободнымъ человѣкомъ, съ законною бумагою, и пошелъ. Намѣреніевъ у меня никакихъ опредѣлительныхъ не было, но на мою долю Богъ послалъ практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошелъ съ самаго малаго ничтожества, безъ гроша, а вскорѣ очень достаточнаго положенія достигъ и еще бы лучше могъ распорядиться, если бы не одинъ предметъ.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпалъ отъ разныхъ духовъ и страстей, и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь васъ обдержала?

— Магнетизмъ-съ.

— Какъ! магнетизмъ?!

— Да-съ, магнетическое вліяніе отъ одной особы.

— Какъ же вы чувствовали надъ собой ея вліяніе?

Digitized by Google

— Чужая воля во мнѣ дѣйствовала, и я чужую судьбу исполнялъ.

— Вотъ тутъ, значитъ, къ вамъ и пришла *ваша* собственная погибель, послѣ которой вы нашли, что вамъ должно исполнить матушкино обѣщаніе, и пошли въ монастырь?

— Нѣтъ-съ, это еще послѣ пришло, а до того со мною много иныхъ разныхъ приключеній было, прежде чѣмъ я получилъ настоящее убѣжденіе.

— Вы можете разсказать и эти приключенія?

— Отчего же-съ; съ большимъ моимъ удовольствіемъ.

— Такъ, пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Взявши я паспортъ, пошелъ безъ всякаго о себѣ намѣренія и пришелъ на ярмарку, и вижу тамъ цыганъ мужику лошадь мѣняетъ и безбожно его обманываетъ; сталъ ея силу пробовать, и своего конишку въ просяной возъ заложилъ, а мужикову лошадь въ яблочный. Тяга въ нихъ, разумѣется, хоть и равная, а мужикова лошадь прѣетъ, потому что ее яблочный духъ обморачиваетъ, такъ какъ коню этотъ духъ страшно непріятенъ, а у цыгановой лошади, кромѣ того, я вижу, еще и обморокъ бываетъ и это сейчасъ понять можно, потому, что у нея на лбу есть знакъ, какъ былъ огонь ставленъ, а цыганъ говоритъ: «это бородавка». А мнѣ мужика, разумѣется, жаль, потому ему на обморочной лошади нельзя будетъ работать, такъ какъ она кувырнетъ, да и все тутъ, а къ тому же, я цыгановъ тогда смерть ненавидѣлъ черезъ то, что отъ первыхъ отъ нихъ имѣлъ соблазнъ бродить и впереди, вѣроятно, еще иное предчувствовалъ, какъ и оправдалось. Я эту фальшь въ лошади мужичку и открылъ, а какъ цыганъ сталъ со мною спорить, что не огонь жженъ на лбу, а бородавка, я въ доказательство моей справедливости ткнулъ коня шильцемъ въ почку, онъ сейчасъ и шленъ на землю и закрутился. Взялъ я и мужикамъ хорошую лошадь по своимъ познаніямъ выбралъ, а они мнѣ за это вина и угощенія и двѣ гривны денегъ, и очень мы тутъ погуляли. Съ того и пошло: и капиталъ расти и усердное пьянство, и мѣсяца не прошло, какъ я вижу, что это хорошо: обвѣшался весь бляхами и коновальскою сбруею и началъ ходить съ ярмарки на ярмарку и вездѣ бѣдныхъ

Digitized by Google

людей руководствую и собираю себѣ достатокъ и всѣ мегарычи пью; а между тѣмъ сталъ я для всѣхъ барышниковъ-цыгановъ все равно, что Божія гроза, и узналъ стороною, что они собираются меня бить. Я отъ этого сталъ уклоняться, потому что ихъ много, а я одинъ и они меня ни разу не могли попасть одного, и вдоволь отколотить, а при мужикахъ не смѣли, потому что тѣ за мою добродѣтель всегда стояли за меня. Тутъ они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародѣй и не своею силою въ твари толкъ знаю, но, разумѣется, все это были пустяки: къ коню я, какъ вамъ докладывалъ, имѣю дарованіе и готовъ бы его всякому кому угодно преподать, но только что главное дѣло это никому въ пользу не послужитъ.

— Отчего же это не послужитъ въ пользу?

— Не пойметъ-съ никто, потому что на это надо не иначе какъ имѣть даръ природный и у меня уже не разъ такой опытъ былъ, что я преподавалъ, но все втуне осталось; но позвольте, объ этомъ послѣ.

Когда моя слава по ярмаркамъ прогремѣла, что я насквозь коня вижу, то одинъ ремонтеръ, князь, мнѣ сто рублей давалъ:

— Открой, говоритъ, братецъ, твой секретъ насчетъ пониманія. Мнѣ это дорого стоитъ.

А я отвѣчаю:

— Никакого у меня секрета нѣтъ, а у меня на это природное дарованіе.

Ну, а онъ пристаетъ:

— Открой же мнѣ, однако, какъ ты объ этомъ понимаешь? А чтобы ты не думалъ, что я хочу какъ-нибудь,— вотъ тебѣ сто рублей.

Что тутъ дѣлать? Я пожалъ плечами, завязалъ деньги въ тряпицу и говорю: извольте, молъ, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вамъ отъ того пользы не будетъ, за это я не отвѣчаю.

Онъ, однако, былъ и этимъ доволенъ, и говоритъ: ну, ужъ это не твоя бѣда, сколько я научусь, а ты только сказывай.

— Первое самое дѣло, говорю,—если кто насчетъ лошади хочетъ знать, что она въ себѣ заключаетъ, тотъ долженъ имѣть хорошее расположеніе въ осмотрѣ и оттого никогда

Digitized by Google

не отдаляться. Съ перваго взгляда надо глядѣть умно на голову и потомъ всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, какъ офицеры дѣлаютъ. Тронетъ за зашеину, за чолку, за храпокъ, за обрѣзъ и за грудной соколокъ, или еще за что попало, а все безъ толку. Отъ этого барышники кавалерійскихъ офицеровъ за эту латошливость страсть любятъ. Барышникъ, какъ этакую военную латоху увидалъ, сейчасъ начнетъ передъ нимъ конемъ крутить, вертѣть, во всѣ стороны поворачивать, а которую часть не хочетъ показать, той ни за что не покажетъ, а тамъ-то и фальшь, а фальшей этихъ бездна: конь вислоухъ—ему кожицы на вершокъ въ затылкѣ вырѣжутъ, стянутъ и зашьютъ и замажутъ и онъ оттого ушки подберетъ, но не надолго: кожа ослабнетъ и уши развиснутъ. Если уши велики,—ихъ обрѣзываютъ,—а чтобы ушки прямо стояли, въ нихъ рожки суютъ. Если кто паристыхъ лошадей подбираетъ, и если, напримѣръ, одинъ конь во лбу съ звѣздочкой,—барышники уже такъ и зрятъ, чтобы такую звѣздочку другой приспособить: пемзою шерсть вытираютъ, или горячую рѣпу печеную приложатъ гдѣ надо, чтобы бѣлая шерсть выросла, она сейчасъ и идетъ, но только всячески если хорошо смотрѣть, то такимъ манеромъ рощеная шорстка всегда противъ настоящей немножко длиннѣе и пупится, какъ будто бородочка. Еще больше барышники обижаютъ публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись надъ глазомъ и некрасиво, но барышникъ проколетъ кожицу булавкой, а потомъ приляжетъ губами и все въ это мѣсто дуетъ, и надуетъ такъ, что кожа подымется и глазъ освѣжѣетъ, и красиво станетъ. Это легко дѣлать, потому что если лошади на глазъ дышать, ей это пріятно, отъ теплаго дыханія, и она стоитъ не шелохнется, но воздухъ выйдетъ и у нея опять ямы надъ глазами будутъ. Противъ этого одно средство: около кости щупать, не ходитъ ли воздухъ. Но еще того смѣшнѣе, какъ слѣпыхъ лошадей продаютъ. Это точно комедія бываетъ. Офицерикъ, напримѣръ, крадется къ глазу коня съ соломинкой, чтобы испытать, видитъ ли конь соломинку, а самъ того не видитъ, что барышникъ въ это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулакомъ ее подъ брюхо или подъ бокъ толкаетъ. А иной хоть и тихо гладитъ, но у него въ перчаткѣ гвоздикъ, и онъ будто гладитъ, а самъ кольнетъ. И я своему ремонтеру противъ

Digitized by Google

того, что здѣсь сейчасъ упомянулъ, вдесятеро болѣе объяснилъ, но ничего ему это въ пользу не послужило: назавтра, гляжу, онъ накупилъ коней такихъ, что кляча клячи хуже и еще зоветъ меня посмотрѣть и говоритъ:

— Ну-ка, братъ, полюбуйся, какъ я наловчился коней понимать?

Я взглянулъ, разсмѣялся и отвѣчаю, что, молъ, и смотрѣть нечего:

— У этой плечи мясисты,—будетъ землю ногами цѣплять; эта ложится—копыто подъ брюхо кладетъ и много, что чрезъ годокъ себѣ килу намнетъ; а эта, когда овесъ ѣстъ, передней ногою топаетъ и колѣно объ ясли бьетъ, и такъ всю покупку раскритиковалъ и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говоритъ:

— Нѣтъ, Иванъ: мнѣ, точно, твоего дарованія не понять, а лучше служи ты самъ у меня конэсеромъ и выбирай ты, а я только буду деньги платить.

Я согласился и жилъ отлично цѣлые три года, не какъ рабъ или наемникъ, а больше какъ другъ и помощникъ, и если бы не выходы меня одолѣли, такъ я могъ бы даже себѣ капиталъ собрать, потому что, по ремонтирскому заведенію, какой заводчикъ ни пріѣдетъ, сейчасъ самъ съ ремонтеромъ знакомится, а вѣрнаго человѣка подсылаетъ къ конэсеру, чтобы какъ возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знаютъ, что вся настоящая сила не въ ремонтерѣ, а въ томъ, если который имѣетъ при себѣ настоящаго конэсера. Я же былъ, какъ докладывалъ вамъ, природный конэсеръ и этотъ долгъ природы исполнялъ совѣстно: ни за что я того, кому служу, обмануть не могъ. И мой князь это чувствовалъ и высоко меня уважалъ, и мы жили съ нимъ во всемъ въ полной откровенности. Онъ, бывало, если проиграется гдѣ-нибудь ночью, сейчасъ утромъ какъ встанетъ, идетъ въ архалучкѣ ко мнѣ въ конюшню и говоритъ:

— Ну что, почти-полупочтеннѣйшій мой Иванъ Северьянычъ! Каковы ваши дѣла?—Онъ все этакъ шутилъ, звалъ меня *почти-полупочтенный,* но почиталъ, какъ увидите, вполнѣ.

А я зналъ, что это обозначаетъ, если онъ съ такой шуткой идетъ, и отвѣчу, бывало:

Digitized by Google

— Ничего, молъ: мои дѣла, слава Богу, хороши, а не знаю, какъ ваше сіятельство, каковы ваши обстоятельства?

— Мои, говоритъ,—такъ довольно гадки, что даже хуже требовать не надо.

— Что же это такое, молъ, вѣрно опять вчера продулись по онамеднишнему?

— Вы, отвѣчаетъ,—изволили отгадать, мой полупочтеннѣйшій, продулся я-съ, продулся.

— А на сколько, спрашиваю,—вашу милость облегчило?

Онъ сейчасъ же и отвѣтитъ, сколько тысячъ проигралъ, а я покачаю головою, да говорю:

— Продрать бы ваше сіятельство—хорошо, да некому.

Онъ разсмѣется и говоритъ:

— То и есть, что некому.

— А вотъ ложитесь, молъ, на мою кроватку, я вамъ чистенькій кулечекъ въ голову положу, а самъ васъ постегаю.

Онъ, разумѣется, и начнетъ подъѣзжать, чтобы я ему на реванжъ денегъ далъ.

— Нѣтъ, ты, говоритъ,—лучше меня не пори, а дай-ка мнѣ изъ расходныхъ денегъ на реванжикъ: я пойду отыграюсь и всѣхъ обыграю.

— Ну, ужъ это, отвѣчаю,—покорно васъ благодарю, нѣтъ уже, играйте, да не отыгрывайтесь.

— Какъ благодаришь!—начнетъ смѣхомъ, а тамъ уже пойдетъ сердиться:—ну, пожалуйста, говоритъ, не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги.

Мы спросили Ивана Северьяныча, давалъ ли онъ своему князю на реванжъ?

— Никогда,—отвѣчалъ онъ.—Я его, бывало, либо обману: скажу, что всѣ деньги на овесъ роздалъ, либо просто со двора сбѣгу.

— Вѣдь онъ на васъ, небось, за это сердился?

— Сердился-съ; сейчасъ, бывало, объявляетъ: кончено-съ; вы у меня, полупочтеннѣйшій, болѣе не служите.

Я отвѣчаю:

— Ну, и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспортъ.

— Хорошо-съ, говоритъ:—извольте собираться: завтра получите вашъ паспортъ.

Но только на завтра у насъ уже никогда объ этомъ ни-

какого разговору больше не было. Не болѣе какъ черезъ какой-нибудь часъ онъ, бывало, приходитъ ко мнѣ совсѣмъ въ другомъ расположеніи и говоритъ:

— Благодарю васъ, мой премного-мало-значущій, что вы имѣли характеръ и мнѣ на реванжъ денегъ не дали.

И такъ это онъ всегда послѣ чувствовалъ, что если и со мною что-нибудь на моихъ выходахъ случалось, такъ онъ тоже, какъ братъ, ко мнѣ снисходилъ.

— А съ вами что же случалось?

— Я же вамъ объяснялъ, что выходы у меня бывали.

— А что это значитъ *выходы?*

— Гулять со двора выходилъ-съ. Обучась пить вино, я его всякій день пить избѣгалъ и въ умѣренности никогда не употреблялъ, но если, бывало, что меня растревожитъ, ужасное тогда къ питью усердіе получаю и сейчасъ сдѣлаю выходъ на нѣсколько дней и пропадаю. А брало это меня и не замѣтишь отчего; напримѣръ, когда, бывало, отпущаемъ коней, кажется, и не братья они тебѣ, а соскучаешь по нихъ и запьешь. Особенно, если отдалишь отъ себя такого коня, который очень красивъ, то такъ онъ, подлецъ, у тебя въ глазахъ и мечется, до того, что какъ отъ навожденія какого отъ него скрываешься, и сдѣлаешь выходъ.

— Это значитъ—запьете!?

— Да-съ: выйду и запью.

— И надолго?

— М..! н... н... это не равно-съ, какой выходъ задастся: иногда пьешь пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотитъ, либо самъ кого побьешь, а въ другой разъ покороче удастся—въ части посидишь, или въ канавѣ выспишься и доволенъ, и отойдетъ. Въ таковыхъ случаяхъ я уже наблюдалъ правило, и какъ, бывало, чувствую, что долженъ сдѣлать выходъ, прихожу къ князю и говорю:

— Такъ и такъ, ваше сіятельство, извольте принять отъ меня деньги; а я пропаду.

Онъ уже и не споритъ, а принимаетъ деньги или только спроситъ, бывало:

— Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?

— Ну, я отвѣчаю, судя по тому, какое усердіе чувствую: на большой ли выходъ, или на коротенькій.

И я уйду, а онъ уже самъ и хозяйничаетъ и ждетъ меня,

Digitized by Google

пока кончится выходъ, и все шло хорошо; но только ужасно мнѣ эта моя слабость надоѣла, и вздумалъ я вдругъ отъ нея избавиться; тутъ-то и сдѣлалъ такой послѣдній выходъ, что даже теперь вспомнить страшно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мы, разумѣется, подговорились, чтобы Иванъ Северьянычъ довершилъ свою любезность, досказавъ этотъ новый злополучный эпизодъ въ своей жизни, а онъ, по добротѣ своей, всеконечно отъ этого не отказался и повѣдалъ о своемъ «послѣднемъ выходѣ» слѣдующее:

— У насъ была куплена съ завода кобылица Дидона, молодая, золотогнѣдая, для офицерскаго сѣдла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожіе, ноздерки субтильныя и открытенькія, какъ хочетъ, такъ и дышитъ, гривка легкая; грудь межъ плечъ ловко, какъ корабликъ, сидитъ, а въ поясу гибкая, и ножки въ бѣлыхъ чулочкахъ легкія и она ихъ мечетъ, какъ играетъ... Однимъ словомъ, кто охотникъ и въ красотѣ имѣетъ понятіе, тотъ отъ нагляденія на этакого животнаго задуматься можетъ. Мнѣ же она такъ по вкусу пришла, что я даже изъ конюшни отъ нея не выходилъ и все ласкалъ ее отъ радости. Бывало, самъ ее вычищу и оботру ее всю какъ есть бѣлымъ платочкомъ, чтобы пылинки у нея въ шерсткѣ нигдѣ не было, даже и поцѣлую ее въ самый лобикъ, въ завиточекъ, откуда шерсточка ея золотая расходилась... Въ эту пору у насъ разомъ шли двѣ ярмарки: одна въ Л., другая въ К., и мы съ княземъ раздѣлились: на одной я дѣйствую, а на другую онъ поѣхалъ. И вдругъ я получаю отъ него письмо, что пишетъ «прислать, говоритъ, ко мнѣ сюда такихъ-то и такихъ-то лошадей и Дидону». Мнѣ неизвѣстно было зачѣмъ онъ эту мою красавицу потребовалъ, на которую мой охотницкій глазъ радовался. Но думалъ я, конечно, что кому-нибудь онъ ее, голубушку, промѣнялъ или продалъ, или, еще того вѣрнѣе, проигралъ въ карты... И вотъ я отпустилъ съ конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелалъ выходъ сдѣлать. А положеніе мое въ эту пору было совсѣмъ необыкновенное: я вамъ докладывалъ, что у меня всегда было такое заведеніе, что если нападетъ на меня усердіе къ выходу, то я, бывало, появляюсь къ князю, отдаю ему всѣ деньги, кои всегда были у меня на рукахъ

Digitized by Google

въ большой суммѣ, и говорю: «Я на столько-то, или на столько-то дней пропаду». Ну, а тутъ, какъ мнѣ это устроить, когда моего князя при мнѣ нѣтъ? И вотъ я думаю себѣ: «нѣтъ, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нѣтъ и выхода мнѣ въ порядкѣ сдѣлать невозможно, потому что денегъ отдать некому, а при мнѣ сумма знатная, болѣе какъ до пяти тысячъ. Рѣшилъ я такъ, что этого нельзя и твердо этого рѣшенія и держусь, и усердія своего, чтобы сдѣлать выходъ и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабленія къ этому желанію всетаки не чувствую, а напротивъ того, все больше и больше стремлюсь сдѣлать выходъ. И, наконецъ, сталъ я исполняться одной мысли: какъ бы мнѣ такъ устроить, чтобы и свое усердіе къ выходу исполнить, и княжескія деньги соблюсти? И началъ я ихъ съ этою цѣлію прятать и все по самымъ невѣроятнымъ мѣстамъ ихъ пряталъ, гдѣ ни одному человѣку на мысль не придетъ деньги положить... Думаю: что дѣлать? видно съ собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнѣе деньги, чтобы онѣ были сохранны, и тогда отбуду свое усердіе, сдѣлаю выходъ. Но только напало на меня смущеніе: гдѣ я эти проклятыя деньги спрячу? Куда я ихъ ни положу, чуть прочь отъ того мѣста отойду, сейчасъ мнѣ входитъ въ голову мысль, что ихъ кто-то крадетъ. Иду и опять поскорѣе возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я ихъ прятавши, и по сѣноваламъ, и по погребамъ, и по застрѣхамъ, и по другимъ такимъ неподобнымъ мѣстамъ для храненія, а чуть отойду, сейчасъ все кажется, что кто-нибудь видѣлъ какъ я ихъ хоронилъ и непремѣнно ихъ отыщетъ, и я опять вернусь, и опять ихъ достану, и ношу ихъ съ собою, а самъ опять думаю: «нѣтъ, уже баста, видно мнѣ не судьба въ этотъ разъ свое усердіе исполнить». И вдругъ мнѣ пришла божественная мысль: вѣдь это, молъ, меня бѣсъ томитъ этой страстью, пойду же я его, мерзавца, отъ себя святыней отгоню! И пошелъ я къ ранней обѣднѣ, помолился, вынулъ за себя частичку и, выходя изъ церкви, вижу, что на стѣнѣ Страшный Судъ нарисованъ, и тамъ въ углу дьявола въ геенне ангелы цѣпью бьютъ. Я остановился, посмотрѣлъ и помолился поусерднѣе святымъ ангеламъ, а дьяволу взялъ, да, послюнивши, кулакъ въ морду и сунулъ:

— На-ка, молъ, тебѣ кукишъ, на него, что хочешь, то

Digitized by Google

и купишь, а самъ послѣ этого совершенно успокоился и, распорядившись дома чѣмъ надобно, пошелъ въ трактиръ чай пить... А тамъ, въ трактирѣ, вижу стоитъ между гостей какой-то проходимецъ. Самый препустѣйшій-пустой человѣкъ. Я его и прежде, этого человѣка, видалъ, и почиталъ его не больше какъ за какого-нибудь шарлатана, или паяца, потому что онъ все, бывало, по ярмаркамъ таскается и у господъ по-французски пособія себѣ проситъ. Изъ благородныхъ онъ будто бы былъ и въ военной службѣ служилъ, но все свое промоталъ и въ карты проигралъ, и ходитъ по міру... Тутъ его въ этомъ трактирѣ, куда я пришелъ, услужающіе молодцы выгоняютъ вонъ, а онъ не соглашается уходить и стоитъ да говоритъ:

— Вы еще знаете ли кто я такой? Вѣдь я вамъ вовсе не ровня; у меня свои крѣпостные люди были и я очень много такихъ молодцовъ, какъ вы, на конюшнѣ для одной своей прихоти сѣкъ, а что я всего лишился, такъ на это была особая Божія воля и на мнѣ печать гнѣва есть, а потому меня никто тронуть не смѣетъ.

Тѣ ему не вѣрятъ и смѣются, а онъ сказываетъ, какъ онъ жилъ и въ каретахъ ѣздилъ, и изъ публичнаго сада всѣхъ штатскихъ господъ вонъ прогонялъ, и одинъ разъ къ губернаторшѣ голый пріѣхалъ, а нынѣ, говоритъ, я за свои своеволія проклятъ и вся моя натура окаменѣла, и я ее долженъ постоянно размачивать, а потому подай мнѣ водки! — я за нее денегъ платить не имѣю, но зато со стекломъ съѣмъ.

Одинъ гость и велѣлъ ему подать, чтобы посмотрѣть, какъ онъ будетъ стекло ѣсть. Онъ сейчасъ водку на лобъ хватилъ, и, какъ обѣщалъ, такъ честно и началъ стеклянную рюмку зубами хрустать и передъ всѣми ее и съѣлъ, и всѣ этому съ восторгомъ дивились и хохотали. А мнѣ его стало жалко, что благородный онъ человѣкъ, а вотъ за свое усердіе къ вину даже утробою жертвуетъ. Думаю: надо ему дать хоть кишки отъ этого стекла прополоснуть, и велѣлъ ему на свой счетъ другую рюмку подать, но стекла ѣсть не понуждалъ. Сказалъ: не надо, не ѣшь. Онъ это восчувствовалъ и руку мнѣ подаетъ.

— Вѣрно, — говоритъ: — ты происхожденія изъ господскихъ людей?

— Да,—говорю:—изъ господскихъ.

Digitized by Google

— Сейчасъ,—говоритъ:—и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гранъ-мерси,—говоритъ:—тебѣ за это.

Я говорю:

— Ничего, иди съ Богомъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ:—я очень радъ съ тобою поговорить. Подвинься-ка, я возлѣ тебя сяду.

— Ну, молъ,—пожалуй, садись.

Онъ возлѣ меня и сѣлъ, и началъ сказывать, какой онъ именитой фамиліи и важнаго воспитанія и опять говоритъ:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, молъ,—чай. Хочешь и ты со мною пей.

— Спасибо,—отвѣчаетъ:—только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого,—говоритъ:—что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мнѣ лучше еще рюмку вина подать!.. И этакъ онъ и разъ, и два, и три у меня вина выпросилъ, и сталъ уже очень мнѣ этимъ докучать. А еще больше противно мнѣ стало, что онъ очень мало правды сказываетъ, а все-то куражится и не вѣсть что о себѣ сплететъ, а то вдругъ бѣднится, плачетъ и все о суетѣ.

— Подумай, — говоритъ: — ты, какой я человѣкъ? Я, — говоритъ:—самимъ Богомъ въ одинъ годъ съ императоромъ созданъ, и ему ровесникъ:

— Ну, такъ что же, молъ, такое?

— А то, что какое же мое, не смотря на все это, положеніе? Несмотря на все это, я, — говоритъ: — нисколько не взысканъ и вышелъ ничтожество, и какъ ты сейчасъ видѣлъ, я ото всѣхъ презираемъ. И съ этими словами опять водки потребовалъ, но на сей разъ уже велѣлъ цѣлый графинъ подать, а самъ завелъ мнѣ преогромную исторію, какъ надъ нимъ по трактирамъ купцы насмѣхаются, и въ концѣ говоритъ:

— Они,—говоритъ:—необразованные люди, думаютъ, что это легко такую обязанность несть, чтобы вѣчно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братецъ, призваніе и для многихъ даже совсѣмъ невозможно; но я свою натуру пріучилъ, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачѣмъ же, — разсуждаю: — этой привычкѣ такъ уже очень усердствовать? Ты ее брось.

Digitized by Google

— Бросить?—отвѣчаетъ.—А-га, нѣтъ, братецъ, мнѣ этого бросить невозможно.

— Почему же,—говорю:—нельзя?

— А нельзя,—отвѣчаетъ:—по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что я, не напившись вина, никакъ въ кровать не попаду, а все буду ходить; а, во-вторыхъ, самое главное, что мнѣ этого мои христіанскія чувства не позволяютъ.

— Что же, молъ, это такое? что ты въ кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христіанскія чувства тебѣ не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я вѣрить не хочу.

— Да, вотъ ты,—отвѣчаетъ:—не хочешь этому вѣрить... Такъ и всѣ говорятъ... А что, какъ ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее подниметъ да возьметъ: радъ ли онъ этому будетъ или нѣтъ?

— Спаси, молъ, Господи! Нѣтъ, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говоритъ: — вотъ то-то и есть, а если же это такъ надо, чтобы я страдалъ, такъ вы уважайте же меня, по крайней мѣрѣ, за это и вели мнѣ еще графинъ водки подать!

Я постучалъ еще графинчикъ и сижу и слушаю, потому что мнѣ это стало казаться занятно, а онъ продолжаетъ таковыя слова:

— Оно, — говоритъ: — это такъ и надлежитъ, чтобы это мученіе на мнѣ кончилось, чѣмъ еще другому достанется, потому что я, — говоритъ: — хорошаго рода и настоящее воспитаніе получилъ, такъ что даже я еще самымъ маленькимъ по-французски Богу молился, но я былъ немилостивый и людей мучилъ, въ карты своихъ крѣпостныхъ проигрывалъ; матерей съ дѣтьми разлучалъ; жену за себя богатую взялъ и со свѣта ее сжилъ, и, наконецъ, будучи во всемъ самъ виноватъ, еще на Бога возропталъ: зачѣмъ у меня такой характеръ? Онъ меня и наказалъ: далъ мнѣ другой характеръ, что нѣтъ во мнѣ ни малѣйшей гордости, хоть въ глаза наплюй, по щекамъ отдуй, только бы пьянымъ быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю: — теперь, ты уже на этотъ характеръ не ропщешь?

— Не ропщу,—отвѣчаетъ: — потому что оно хотя хуже, но зато лучше?

Digitized by Google

— Какъ это, молъ, — такъ: я что-то не понимаю, какъ это: хуже, но лучше?

— А такъ,—отвѣчаетъ:—что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже другихъ губить не могу, ибо отъ меня всѣ отвращаются. Я, говоритъ, теперь все равно, что Іовъ на гноищѣ и въ этомъ, говоритъ, все мое счастье и спасеніе, и самъ опять водку допилъ и еще графинъ спрашиваетъ, и молвитъ:

— А ты знаешь ли, любезный другъ: ты никогда никѣмъ не пренебрегай, потому что никто не можетъ знать, за что кто какой страстью мучимъ и страдаетъ. Мы, одержимые, страждемъ, а другимъ зато легче. И самъ ты, если какую скорбь отъ какой-нибудь страсти имѣешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человѣкъ не поднялъ ее и не мучился; а ищи такого человѣка, который бы добровольно съ тебя эту слабость взялъ.

— Ну, гдѣ же,—говорю:—возможно такого человѣка найти! Никто на это не согласится.

— Отчего такъ?—отвѣчаетъ:—да тебѣ даже нечего далеко ходить: такой человѣкъ передъ тобою: я самъ и есть такой человѣкъ.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но онъ вдругъ вскакиваетъ и говоритъ:

— Нѣтъ, не шучу, а если не вѣришь, такъ испытай.

— Ну, какъ,—говорю:—я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарованіе? У меня вѣдь, братъ, большое дарованіе: я вотъ, видишь,—я сейчасъ пьянъ... Такъ или нѣтъ: пьянъ я?

Я посмотрѣлъ на него и вижу, что онъ совсѣмъ сизый и весь осоловѣвши и на ногахъ покачивается, и говорю:

— Да, разумѣется, что ты пьянъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образъ и прочитай въ умѣ «Отче нашъ».

Я отвернулся, и, дѣйствительно, только «Отче нашъ», глядя на образъ, въ умѣ прочиталъ, а этотъ пьяный баринокъ уже опять мнѣ командуетъ:

— А ну-ка, погляди теперь на меня: пьянъ я теперь или нѣтъ?

Обернулся я и вижу, что онъ, точно ни въ одномъ глазу у него ничего не было, и стоитъ, улыбается.

Digitized by Google

Я говорю:

— Что же это значитъ: какой это секретъ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ,—не секретъ, а это называется магнетизмъ.

— Не понимаю, молъ,—что это такое?

— Такая воля, говоритъ,—особенная въ человѣкѣ помѣщается и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, говоритъ, это тебѣ показалъ для того, чтобы ты понималъ, что я если захочу, сейчасъ могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запилъ, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабылъ. Но съ другого человѣка со всякаго я готовъ и могу запойную страсть въ одну минуту свести.

— Такъ сведи, говорю,—сдѣлай милость, съ меня!

— А ты, говоритъ,—развѣ пьешь?

— Пью, говорю,—и временемъ даже очень усердно пью.

— Ну, такъ не робѣй же, говоритъ, — это все дѣло моихъ рукъ, и я тебя за твое угощеніе отблагодарю, все съ тебя сниму.

— Ахъ, сдѣлай милость, прошу, сними!

— Изволь, говоритъ, — любезный, изволь: я тебѣ это за твое угощеніе сдѣлаю; сниму и на себя возьму, и съ этимъ крикнулъ опять вина и двѣ рюмки.

Я говорю:

— На что тебѣ двѣ рюмки?

— Одна, говоритъ,—для меня, другая—для тебя!

— Я, молъ, пить не стану.

А онъ вдругъ какъ бы осерчалъ и говоритъ:

— Тссссъ! силянсъ! молчать! Ты теперь кто?—больной.

— Ну, молъ,—ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, говоритъ,—лѣкарь, и ты долженъ мои приказанія исполнять и принимать лѣкарство,—и съ этимъ налилъ и мнѣ, и себѣ по рюмкѣ и началъ надъ моей рюмкой въ воздухѣ, въ родѣ какъ архіерейскій регентъ, руками махать.

Помахалъ, помахалъ и приказываетъ:

— Пей!

Я было усомнился, но, какъ по правдѣ сказать, и самому мнѣ винца попробовать очень хотѣлось и онъ приказываетъ: дай, думаю, ни для чего иного, а для любопытства выпью! и выпилъ.

Digitized by Google

— Хороша ли?—спрашиваетъ:—вкусна ли, или горька?

— Не знаю, молъ,—какъ тебѣ сказать.

— А, это значитъ, — говоритъ, что ты мало принялъ, и налилъ вторую рюмку, и давай опять надъ нею руками мотать. Помотаетъ-помотаетъ и отряхнетъ, и опять заставитъ меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошаетъ: эта какова?

Я пошутилъ:

— Говорю, эта что-то тяжела показалась.

Онъ кивнулъ головой и сейчасъ намахалъ третью, и опять командуетъ: пей! Я выпилъ и говорю:

— Эта легче; и затѣмъ уже самъ въ графинъ стучу и его потчую, и себѣ наливаю, да и пошелъ пить. Онъ мнѣ въ этомъ не препятствуетъ, но только ни одной рюмки такъ просто не намаханной не позволяетъ выпить, а чуть я возьмусь рукой, онъ сейчасъ ее изъ моихъ рукъ выйметъ и говоритъ:

— Шу, силянсъ... атанде,—и прежде надъ нею руками помашетъ, а потомъ и говоритъ:—теперь готово, можешь *принимать какъ сказано.*

И лѣчился я такимъ образомъ съ этимъ баринкомъ тутъ въ трактирѣ до самаго вечера, и все былъ очень спокоенъ, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что онѣ всѣ, какъ должно, на своемъ мѣстѣ цѣлы лежатъ, и продолжаю.

Баринъ мнѣ тутъ, пивши со мною, про все разсказывалъ, какъ онъ въ свою жизнь кутилъ и гулялъ и особенно про любовь, и впослѣди всего сталъ ссориться, что я любви не понимаю.

— Я говорю: что же съ тѣмъ дѣлать, когда я къ этимъ пустякамъ не привлеченъ? Будетъ съ тебя того, что ты все понимаешь и зато вонъ какой лонтрыгой ходишь.

А онъ говоритъ:

— Шу, силянсъ! любовь наша святыня!

— Пустяки, молъ.

— Мужикъ, говоритъ, — ты, и подлецъ, если ты смѣешь надъ священнымъ сердца чувствомъ смѣяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, молъ,—оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, говоритъ, — что такое «краса природы совершенство»?

Digitized by Google

— Да, говорю,—я въ лошади красоту понимаю.

А онъ какъ вскочитъ и хотѣлъ меня въ ухо ударить.

— Развѣ лошадь, говоритъ, — краса природы совершенство?

Но какъ время было довольно поздно, то ничего этого онъ мнѣ доказать не могъ, а буфетчикъ видитъ, что мы оба пьяны, моргнулъ на насъ молодцамъ, а тѣ подскочили человѣкъ шесть и сами просятъ... «пожалуйте вонъ», а сами подхватили насъ обоихъ подъ ручки и за порогъ выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вотъ тутъ и началось такое навожденіе, что хотя этому дѣлу уже много-много лѣтъ прошло, но я и по сіе время не могу себѣ понять, что̀ тутъ произошло за дѣйствіе и какою силою оно надо мною творилось, но только такихъ искушеній и происшествій, какія я тогда перенесъ, мнѣ кажется, даже ни въ одномъ житіи въ Четминеяхъ нѣтъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Первымъ дѣломъ, какъ я за дверь вылетѣлъ, сейчасъ же руку за пазуху и удостовѣрился, здѣсь ли мой бумажникъ? Оказалось, что онъ при мнѣ. Теперь, думаю, вся забота, какъ бы ихъ благополучно домой донести. А ночь была самая темная, какую только можете себѣ вообразить. Въ лѣтѣ, знаете, у насъ, около Курска бываютъ такія темныя ночи, но претеплѣйшія и премягкія: по небу звѣзды какъ лампады навѣшаны, а по низу темнота такая густая, что словно въ ней кто-то тебя шаритъ и трогаетъ... А на ярмаркѣ всякаго дурного народа бездна бываетъ и достаточно случаевъ, что иныхъ грабятъ и убиваютъ. Я же хоть силу въ себѣ и ощущалъ, но думаю, во-первыхъ, я пьянъ, а, вовторыхъ, что если десять или болѣе человѣкъ на меня нападутъ, то и съ большою силою ничего съ ними не сдѣлаешь и оберутъ, а я хоть и былъ въ куражѣ, но помнилъ, что когда я не разъ, вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньонъ, баринокъ этотъ, видѣлъ, что у меня съ собою денегъ тучная сила. И потому вдругъ мнѣ, знаете, впало въ голову: нѣтъ ли съ его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Гдѣ онъ взаправду? вмѣстѣ насъ вонъ выставили, а куда же онъ такъ спѣшно дѣлся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову такъ:

Digitized by Google

— Слышь, ты? говорю,—магнетизеръ, гдѣ ты?

А онъ вдругъ, словно бѣсъ какой, прямо у меня передъ глазами вырастаетъ и говоритъ:

— Я вотъ-онъ.

А мнѣ показалось, что будто это не тотъ голосъ, да и впотьмахъ даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, говорю,—еще поближе; и какъ онъ подошелъ, я его взялъ за плечи и начинаю разсматривать и никакъ не могу узнать, кто онъ такой? какъ только его коснулся, вдругъ ни съ того, ни съ сего всю память отшибло. Слышу только, что онъ что-то по-французски лопочетъ: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я въ томъ ничего не понимаю.

— Что ты такое, говорю,—лопочешь?

А онъ опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, говорю,—дура, отвѣчай мнѣ по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабылъ.

Отвѣчаетъ:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизеръ.

— Тьфу, молъ,—ты пострѣлъ этакой! и на минутку будто вспомню, что это онъ, но стану въ него всматриваться и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь объ этомъ—позабуду, кто онъ такой...

— Ахъ, ты, будь ты проклятъ, думаю: — и откуда ты, шельма, на меня навязался? и опять его спрашиваю: кто ты такой?

Онъ опять говоритъ:

— Магнетизеръ.

— Провались же, говорю, — ты отъ меня: можетъ-быть, ты чортъ?

— Не совсѣмъ, говоритъ,—такъ, а около того.

Я его въ лобъ и стукнулъ, а онъ обидѣлся и говоритъ:

— За что же ты меня ударилъ? я тебѣ добродѣтельствую, и отъ усерднаго пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, молъ,—такой?

Онъ говоритъ:

— Я твой довѣчный другъ.

— Ну, хорошо, молъ, — а если ты мой другъ, такъ ты, можетъ-быть, мнѣ повредить можешь?

Digitized by Google

— Нѣтъ, говоритъ,—я тебѣ такое пти-ком-пё представлю, что ты себя инымъ человѣкомъ ощутишь.

— Ну, перестань, говорю,—пожалуйста, врать.

— Истинно, говоритъ,—истинно: такое пти-ком-пё...

— Да не болтай ты, говорю, — чортъ, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-комъ-пё!

— Я, отвѣчаетъ,—тебѣ въ жизни новое понятіе дамъ.

— Ну, вотъ это, молъ,—такъ; но только, какое же такое ты можешь мнѣ дать новое понятіе?

— А такое, говоритъ, — что ты постигнешь красу, природы совершенство.

— Отчего же я, молъ,—вдругъ такъ ее и постигну?

— А вотъ пойдемъ, говоритъ,—сейчасъ увидишь.

— Хорошо, молъ,—пойдемъ.

И пошли. Идемъ оба, шатаемся, но все идемъ, а я не знаю куда, и только вдругъ вспомню, что кто же это такой со мною и опять говорю:

— Стой! говори мнѣ, кто ты? иначе я не пойду.

Онъ скажетъ, и я на минутку какъ будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ,—и есть дѣйствіе отъ моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчасъ пройдетъ, только вотъ дай я въ тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдругъ повернулъ меня къ себѣ спиною и ну у меня въ затылкѣ, въ волосахъ пальцами перебирать... Такъ чудно: копается тамъ, точно хочетъ мнѣ взлѣзть въ голову.

— Я говорю: послушай ты... кто ты такой! что ты тамъ роешься?

— Погоди, отвѣчаетъ,—стой: я въ тебя свою силу магнетизмъ перепущаю.

— Хорошо,—говорю:—что ты силу перепущаешь, а можетъ ты меня обокрасть хочешь?

Онъ отпирается.

— Ну, такъ постой, молъ,—я деньги попробую.

Попробовалъ—деньги цѣлы.

— Ну, теперь, молъ,—вѣрно, что ты не воръ, а кто онъ такой—опять позабылъ, но только уже не помню какъ про то и спросить, а занятъ тѣмъ, что чувствую, что уже онъ совсѣмъ въ меня сквозь затылокъ точно внутрь влѣзъ и че-

Digitized by Google

резъ мои глаза на свѣтъ смотритъ, а мои глаза ему только словно какъ стекла.

— Вотъ, думаю,—штуку онъ со мной сдѣлалъ! а гдѣ же теперь, спрашиваю, мое зрѣніе?

— А твоего,—говоритъ:—теперь уже нѣтъ.

— Что, молъ,—это за вздоръ, что нѣтъ?

— Такъ,—отвѣчаетъ:—своимъ зрѣніемъ ты теперь только то увидишь, чего нѣту.

— Вотъ, молъ,—еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь. Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня изъ-за всѣхъ угловъ темныхъ разныя мерзкія рожи на ножкахъ смотрятъ и дорогу мнѣ перебѣгаютъ, и на перекресткахъ стоятъ, ждутъ и говорятъ: «убьемъ его и возьмемъ сокровище». А передо мною опять мой вихрястенькій баринокъ и рожа у него вся свѣтомъ свѣтится, а сзади себя слышу страшный шумъ и содомъ, голоса и брянцанье, и гикъ, и визгъ, и веселый хохотъ. Осматриваюсь, и понимаю, что стою, прислонясь спиною къ какому-то дому, а въ немъ окна открыты и въ серединѣ свѣтло, и оттуда тѣ разные голоса и шумъ и гитара ноетъ, а передо мною опять мой баринокъ и все мнѣ спереди по лицу ладонями машетъ, а потомъ по груди руками ведетъ, противъ сердца останавливается, напираетъ и за персты рукъ схватитъ, встряхнетъ полегонечку, и опять машетъ, и такъ трудится, что даже, вижу, онъ сдѣлался весь въ поту.

Но только тутъ, какъ мнѣ сталъ изъ оконъ дома свѣтъ свѣтить и я почувствовалъ, что въ сознаніе свое прихожу, то я его пересталъ опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: чортъ, или дьяволъ, или мелкій бѣсъ, а только, сдѣлай милость, или разбуди меня, или разсыпься.

А онъ мнѣ на это отвѣчаетъ:

— Погоди,—говоритъ:—еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, молъ,—такого я не могу перенести?

— А того,—говоритъ:—что въ воздушныхъ сферахъ теперь происходитъ.

— Что же, я, молъ,—ничего особеннаго не слышу.

А онъ настаиваетъ, что будто бы я не такъ слушаю, и говоритъ мнѣ божественнымъ языкомъ:

Digitized by Google

— Ты,—говоритъ:—чтобы слышать, подражай примѣрнѣ гуслеигрателю, како сей подклоняетъ низу главу и, слухъ прилагая къ пѣнію, подвизаетъ бряцало рукою.

— Нѣтъ,—думаю:—да что же это такое? Это даже совсѣмъ на пьянаго человѣка рѣчи непохоже, какъ онъ сталъ разговаривать!

А онъ на меня глядитъ и тихо по мнѣ руками водитъ, а самъ продолжаетъ въ томъ же намѣреніи уговаривать.

— Такъ, — говоритъ: — купно струнамъ, художне соударяемымъ единымъ со другими, гусли пѣснь издаютъ и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То-есть просто, вамъ я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струитъ, и я думаю: вотъ тебѣ и пьяничка! Гляди-ка, какъ онъ еще хорошо можетъ отъ божества говорить! а мой баринокъ этимъ временемъ пересталъ егозиться и такую рѣчь молвитъ:

— Ну, теперь довольно съ тебя; теперь проснись, — говоритъ:—и подкрѣпись!

И съ этимъ принагнулся и все что-то у себя въ штанцахъ въ кармашкѣ долго искалъ и, наконецъ, что-то оттуда достаетъ. Гляжу, это вотъ такохонькій махонькій, махонькій кусочекъ сахарцу и весь въ сору, видно оттого, что тамъ долго валялся. Обобралъ онъ съ него коготками этотъ соръ, пообдулъ и говоритъ:

— Раскрой ротъ.

Я говорю:

— Зачѣмъ? а самъ ротъ разявилъ. А онъ воткнулъ мнѣ тотъ сахарокъ въ губы и говоритъ:

— Соси,—говоритъ:—смѣлѣе: это магнитный сахаръ-менторъ: онъ тебя подкрѣпитъ.

Я уразумѣлъ, что хоть это и по-французски онъ говорилъ, но насчетъ магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь сахаръ сосу, а кто мнѣ его далъ, того уже не вижу. Отошелъ ли онъ куда впотьмахъ въ эту минуту, или такъ куда провалился, лихо его вѣдаетъ, но только я остался одинъ и совсѣмъ сдѣлался въ своемъ понятіи и думаю: чего же мнѣ его ждать? мнѣ теперь надо домой идти. Но опять дѣло: не знаю — на какой я такой улицѣ нахожусь и что это за домъ, у котораго я стою? И думаю: да уже домъ ли это? можетъ быть это все мнѣ только кажется, а все это навожденіе... Теперь ночь,—всѣ спятъ,

Digitized by Google

а зачѣмъ тутъ свѣтъ?.. Ну, а лучше, молъ, попробовать... зайду, посмотрю, что здѣсь такое: если тутъ настоящіе люди, такъ я у нихъ дорогу спрошу, какъ мнѣ домой идти, а если это только обольщеніе глазъ, а не живые люди... такъ что же опаснаго? я скажу: «наше мѣсто свято: чуръ меня» и все разсыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Вхожу я съ такою отважною рѣшимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: домъ стоитъ, не шатается, и вижу: двери отворены и впереди большія длинныя сѣни, а въ глубинѣ ихъ на стѣнкѣ фонарь со свѣчою свѣтитъ. Осмотрѣлся я и вижу налѣво еще двѣ двери, обѣ цыновкой обиты и надъ ними опять этакіе подсвѣчники съ зеркальными звѣздочками. Я и думаю: что же это такое за домъ: трактиръ какъ будто не трактиръ, а видно, что гостиное мѣсто, а какое—не разберу. Но только вдругъ вслушиваюсь, и слышу, что изъ-за этой цыновочной двери льется пѣсня... томная-претомная, сердечнѣйшая, и поетъ ее голосъ, точно колоколъ малиновый, такъ за душу и щипетъ, такъ и беретъ въ полонъ. Я и слушаю и никуда далѣе не иду, а въ это время дальняя дверка вдругъ растворяется и я вижу вышелъ изъ нея высокій цыганъ, въ шелковыхъ штанахъ, а казакинъ бархатный, и кого-то передъ собою скоро выпроводилъ въ особую дверь, подъ дальнимъ фонаремъ, которую я сперва́начала и не замѣтилъ. Я, признаться, хоть не хорошо разсмотрѣлъ, кого это онъ спровадилъ, но показалось мнѣ, что это онъ вывелъ моего магнетизера и говоритъ ему вслѣдъ:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этомъ полтинникѣ, а завтра приходи: если намъ *отъ него* польза будетъ, такъ мы тебѣ за его приведеніе къ намъ еще прибавимъ.

И съ этимъ дверь на защелку защелкнулъ и бѣгитъ ко мнѣ, будто ненарокомъ, отворяетъ передо мною дверь, что подъ зеркальцемъ, и говоритъ:

— Милости просимъ, господинъ купецъ; пожалуйте нашихъ пѣсенъ послушать! Голоса есть хорошіе.

И съ этимъ дверь передъ мною тихо настежь распахнулъ... Такъ, милостивые государи, меня и обдало не знаю чѣмъ, но только будто столь мнѣ сроднымъ, что я вдругъ

Digitized by Google

весь тамъ очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолокъ повихнутъ, пузомъ внизъ лѣзетъ, все темно, закоптѣло и дымъ отъ табаку такой густой, что люстра наверху виситъ, такъ только чуть ее знать, что она свѣтится. А внизу въ этомъ дымищѣ люди... очень много, страсть какъ много людей, и передъ ними этимъ голосомъ, который я слышалъ, молодая цыганка поетъ. Притомъ, какъ я взошелъ, она только послѣднюю штучку тонко-претонко, нѣжно дотянула и спустила на нѣтъ и голосокъ у нея замеръ... Замеръ ея голосокъ и съ нимъ въ одно мановеніе точно все умерло... Зато черезъ минуту всѣ какъ вскочатъ, словно бѣшеные, и ладошами плещутъ и кричатъ. А я только удивляюсь: откуда это здѣсь такъ много народу и какъ будто еще все его больше и больше изъ дыму выступаетъ? Ухъ, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь, вмѣсто людей? Но только вижу я разныхъ знакомыхъ господъ ремонтеровъ и заводчиковъ, и такъ просто богатыхъ купцовъ и помѣщиковъ узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходитъ этакая... даже нельзя ее описать какъ женщину, а точно будто какъ яркая змѣя, на хвостѣ движетъ и вся станомъ гнется, а изъ черныхъ глазъ такъ и жжетъ огнемъ. Любопытная фигура! А въ рукахъ она держитъ большой подносъ, на которомъ по краямъ стоятъ много стакановъ съ шампанскимъ виномъ, а посрединѣ куча денегъ страшная. Только одного серебра нѣтъ, а то и золото, и ассигнаціи, и синія синицы, и сѣрыя утицы, и красные косачи,—только однихъ бѣлыхъ лебедей нѣтъ. Кому она подастъ стаканъ, тотъ сейчасъ вино выпьетъ, и на подносъ, сколько чувствуетъ усердія, денегъ мечетъ, золото, или ассигнаціи; а она его тогда въ уста поцѣлуетъ и поклонится. И обошла она первый рядъ и второй—гости въ родѣ какъ полукругомъ сидѣли—и потомъ проходитъ и самый послѣдній рядъ, за которымъ я сзади за стуломъ на ногахъ стоялъ и было уже назадъ повернула, не хотѣла мнѣ подносить, но старый цыганъ, что сзади ея шелъ, вдругъ какъ крикнетъ:

— Грушка!—и глазами на меня кажетъ. Она взмахнула на него рѣсничищами... ей-Богу вотъ этакія рѣсницы, длинныя-предлинныя, черныя, и точно онѣ сами по себѣ живыя и какъ птицы какія шевелятся, а въ глазахъ я замѣтилъ у нея какъ старикъ на нее повелѣлъ, то во всей

Digitized by Google

въ ней точно гнѣвомъ дунуло. Разсердилась, значитъ, что велятъ ей меня потчивать, но, однако, свою должность исполняетъ: заходитъ ко мнѣ за задній рядъ, кланяется и говоритъ:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвѣчать не могу: такое она со мною сразу сдѣлала! Сразу, то-есть, какъ она передо мною надъ подносомъ нагнулась и я увидалъ какъ это у нея промежъ черныхъ волосъ на головѣ, будто серебро, проборъ вьется и за спину падаетъ, такъ я и осатанѣлъ, и весь умъ у меня отняло. Пью ея угощенье, а самъ черезъ стаканъ ей въ лицо смотрю и никакъ не разберу: смугла она, или бѣла она, а межъ тѣмъ вижу какъ у нея подъ тонкою кожею, точно въ сливѣ на солнцѣ, краска рдѣетъ и на нѣжномъ вискѣ жилка бьетъ... Вотъ она, думаю, и настоящая-то красота, что природы совершенство называется: магнетизеръ правду сказалъ: это совсѣмъ не то, что въ лошади, въ продажномъ звѣрѣ.

И вотъ я допилъ стаканъ до дна и стукъ имъ объ подносъ, а она стоитъ да дожидается, за что ласкать будетъ. Я поскорѣе спустилъ на тотъ конецъ руку въ карманъ, а въ карманѣ все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этимъ одарить такую язвинку, и передъ другими стыдно будетъ! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорятъ:

— Эхъ, Василій Ивановъ, зачѣмъ ты велишь Грушѣ этого мужика угощать? намъ это обидно.

А онъ отвѣчаетъ:

— У насъ, господа, всякому гостю честь и мѣсто, и моя дочь родной отцовъ цыганскій обычай знаетъ; а обижаться вамъ нечего, потому что вы еще пока не знаете, какъ иной простой человѣкъ красоту и талантъ оцѣнить можетъ. На это разные примѣры бываютъ.

А я, это слышучи, думаю:

— Ахъ, вы, волкъ васъ ѣшь! Неужели съ того, что вы меня богатѣе, то у васъ и чувствъ больше? Нѣтъ уже, что будетъ, то будетъ: послѣ князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу.

Да съ этимъ вразъ руку за пазуху, вынулъ изъ пачки сторублеваго лебедя, да и шаркнулъ его на подносъ. А цыганочка сейчасъ подносъ въ одну ручку переняла, а другою

Digitized by Google

мнѣ бѣлымъ платкомъ губы вытерла и своими устами такъ слегка, даже какъ и не поцѣловала, а только будто тронула устами, а вмѣсто того, точно будто ядомъ какимъ провела и прочь отошла.

Она отошла, а я было на томъ же мѣстѣ остался, но только тотъ старый цыганъ, этой Груши отецъ, и другой цыганъ, подхватили меня подъ руку и волокутъ впередъ и сажаютъ въ самый передній рядъ, рядомъ съ исправникомъ и съ другими господами.

Мнѣ было, признаться, на это и не охота: я не хотѣлъ продолжать и хотѣлъ вонъ идти; но они просятъ и не пущаютъ и зовутъ:

— Груша! Грунюша, останови гостя желаннаго!

И та выходитъ и... врагъ ее знаетъ, что она умѣла глазами дѣлать: взглянула, какъ заразу какую въ очи пустила, а сама говоритъ:

— Не обидь; погости у насъ на этомъ мѣстѣ.

— Ну, ужъ тебя ли, — говорю: — кому обидѣть можно, — и сѣлъ.

А она меня опять поцѣловала и опять то же самое осязаніе: какъ будто ядовитою кисточкою уста тронетъ и во всю кровь до самаго сердца болью прожжетъ.

И послѣ этого начались опять пѣсни и пляски, и опять другая цыганка съ шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но гдѣ противъ Груши! Половины той красоты нѣтъ, и за это я ей на подносъ зацѣпилъ изъ кармана четвертаковъ и сыпнулъ... Господа это взяли въ пересмѣхъ, но мнѣ все равно, потому я одного смотрю, гдѣ она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее одинъ голосъ безъ хора слышать, а она не поетъ. Сидитъ съ другими подпѣваетъ, но солу не дѣлаетъ и мнѣ ея голоса не слыхать, а только ротокъ съ бѣлыми зубками видно... Эхъ, ты, думаю: доля моя сиротская: на минуту зашелъ и сто рублей потерялъ, а вотъ ее-то одну и не услышу! Но на мое счастье не одному мнѣ хотѣлося ее послушать: и другіе господа важные посѣтители всѣ вкупѣ закричали послѣ одной перемѣны:

— Груша! Груша! «Челнокъ», Груша! «Челнокъ!»

Вотъ цыганы покашляли и молодой ея братъ взялъ въ руки гитару, а она запѣла. Знаете... ихъ пѣніе обыкновенно достигательное и за сердца трогаетъ, а я какъ услыхалъ этотъ самый ея голосъ, на который мнѣ еще изъ-за двери

Digitized by Google

манилось, расчувствовался. Ужасно мнѣ какъ понравилось! Начала она такъ какъ будто грубовато, мужественно, этакъ: «мо-о-ре во-оо-о-етъ, мо-ре сто-нетъ». Точно въ дѣйствительности слышно, какъ и море стонетъ, и въ немъ челночекъ поглощенный бьется. А потомъ вдругъ въ голосѣ совсѣмъ другая перемѣна, обращеніе къ звѣздѣ: «Золотая, дорогая, предвѣщательница дня, при тебѣ бѣда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У нихъ все съ этими съ обращеніями: то плачетъ, томитъ, просто душу изъ тѣла вынимаетъ, а потомъ вдругъ какъ хватитъ совсѣмъ въ другомъ родѣ и точно сразу опять сердце вставитъ... Такъ и тутъ она это «море»-то съ «челномъ» всколыхала, а другіе какъ завизжатъ всѣмъ хоромъ:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла,
Джа-ла-ла прингала!
Джа-ла-ла прингa-ла
Гай да чепурингаля!
Гей гопъ-гай, та гара!
Гей гопъ-гай-та гара!

и потомъ Грушенька опять пошла съ виномъ и съ подносомъ, а я ей опять изъ-за пазухи еще одного лебедя... На меня всѣ оглядываться стали, что я ихъ своими подарками ниже себя ставлю; такъ что имъ даже совѣстно послѣ меня класть, а я рѣшительно уже ничего не жалѣю, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказалъ. Что Груша разъ ни споетъ, то я ей за то лебедя, и уже не считаю сколько ихъ выпустилъ, а даю да и кончено, и за то другіе ее всѣ разомъ просятъ пѣть, она всѣ ихъ просьбы не поетъ, говоритъ «устала», а я одинъ кивну цыгану: не можно ли, молъ, ее понудить? тотъ сейчасъ на ее глазами поведетъ, она и поетъ. И много-съ она пѣла, пѣсня отъ пѣсни могучѣе, и покидалъ я уже ей много безъ счету лебедей, а въ концѣ, не знаю въ который часъ, но уже совсѣмъ на зарѣ точно и въ самомъ дѣлѣ она измаялась, и устала, и, точно съ намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся съ глазъ моихъ». Этими словами точно гонитъ, а другими словно допрашиваетъ: «иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать надъ собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневолѣ поцѣловала, какъ ужалила, и въ глазахъ точно пламя

Digitized by Google

темное, а тѣ, другіе, въ этотъ лукавый часъ на послѣднихъ какъ заорутъ:

Ты восчувствуй, милая,
Какъ люблю тебя, драгая!

и всѣ имъ подтягиваютъ, да на Грушу смотрятъ, и я смотрю, да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потомъ цыгане какъ хватятъ: «Ходи изба, ходи печь, хозяину негдѣ лечь» и вдругъ всѣ въ плясъ пошли... Пляшутъ и цыгане, пляшутъ и цыганки, и господа пляшутъ: всѣ вмѣстѣ вьются, точно и въ самомъ дѣлѣ вся изба пошла. Цыганки передъ господами носятся, и тѣ поспѣваютъ, имъ вслѣдъ гонятъ, молодые съ посвистомъ, а кои старше съ покрехтомъ... На мѣстахъ, гляжу, уже никого и не остается... Даже отъ которыхъ бы степенныхъ мужчинъ и въ жизнь того скоморошества не ожидалъ, и тѣ всѣ поднимаются. Посидитъ-посидитъ иной, кто посолиднѣе, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазомъ ведетъ, либо усомъ дергаетъ, а потомъ одинъ врагъ его плечомъ дернетъ, другой ногой мотнетъ и, смотришь, вдругъ вскочитъ и хоть не умѣетъ плясать, а пойдетъ такое ногами выводить, что ни къ чему годно! Исправникъ толстый-претолетый и двѣ дочери у него были замужемъ, а и тотъ съ зятьями своими тутъ же заодно пыхтитъ, какъ сомъ, и пятками мѣситъ, а гусаръ-ремонтеръ, ротмистръ богатый и собой молодецъ, плясунъ залихватскій, всѣхъ ярче дѣйствуетъ: руки въ боки, а каблуками навывертъ стучитъ, передъ всѣми идетъ — козырится, въ загребъ валяетъ, а съ Грушей встрѣнется—головой тряхнетъ, шапку къ ногамъ ея ронитъ и кричитъ «наступи, раздави, раскрасавица!» и она... Охъ, тоже плясунья была! Я видалъ какъ пляшутъ актерки въ театрахъ, да что все это, тьфу, все равно, что офицерскій конь безъ фантазіи на парадѣ для одного близиру манежится, не вѣсть чего ерихонится, а огня—жизни нѣтъ. Эта же краля, какъ пошла, такъ какъ фараонъ плыветъ—не колыхнется, а въ самой, въ змѣѣ, слышно, какъ и хрящъ хруститъ, и изъ кости въ кость мозжечокъ идетъ, а станетъ, повыгнется, плечомъ ведетъ и бровь съ носкомъ ножки на одну линію строитъ... Картина! Просто отъ этого видѣнья на ея танецъ всѣ словно свой весь умъ потеряли: рвутся къ ней безъ ума, безъ памяти: у кого слезы на глазахъ, а кто зубы скалитъ, но всѣ кричатъ:

Digitized by Google

— Ничего не жалѣемъ: танцуй!—и деньги ей такъ просто зря подъ ногу мечутъ, кто золото, кто ассигнаціи. И все тутъ гуще и гуще завѣялось, и я лишь одинъ сижу, да и то не знаю долго ли утерплю, потому что не могу глядѣть, какъ она на гусарову шапку наступаетъ... Она ступитъ, а меня чортъ въ жилу щелкъ; она опять ступитъ, а онъ меня опять щелкъ, да, наконецъ, думаю: что же мнѣ такъ себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю, да какъ вскочу, отпихнулъ гусара, да и пошелъ передъ Грушею въ присядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрѣлъ, что, думаю, всѣ вы кричите, что ничего не жалѣете, меня тѣмъ не удивите: а вотъ, что я ничего не жалѣю, такъ я то дѣломъ-правдою докажу, да самъ прыгну, и самъ изъ-за пазухи ей подъ ноги лебедя и кричу: «дави его! наступай!» Она было не того... даромъ, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядитъ, а все норовитъ за гусаромъ; да только старый цыганъ, спасибо, это замѣтилъ, да какъ на нее топнетъ... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плыветъ, глаза внизъ спустила, какъ змѣища-горынище, ажно гнѣвомъ землю жжетъ; а я передъ ней просто въ подобіи бѣса скачу, да все, что разъ прыгну, то подъ ножку ей мечу лебедя... Самъ ее такъ уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю, и небо сдѣлала? а самъ на нее съ дерзостью кричу: «ходи шибче», да все подъ ноги ей лебедей, да разъ руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а ихъ, гляжу, тамъ уже всего съ десятокъ остался... Тьфу ты, думаю, чортъ же васъ всѣхъ побирай! скомкалъ ихъ всѣхъ въ кучку, да сразу ихъ всѣ ей подъ ноги и выбросилъ, а самъ взялъ со стола бутылку шампанскаго вина, отбилъ ей горло и крикнулъ:

— Сторонись, душа, а то оболью, да всю сразу и выпилъ за ея здоровье, потому что послѣ этой пляски мнѣ пить страшно хотѣлось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

— Ну, и что же далѣе?—вопросили Ивана Северьяныча.

— Далѣе, дѣйствительно, все такъ воспослѣдовало, какъ *онъ* обѣщался.

— Кто обѣщался?

— А магнетизеръ, который это на меня навелъ: онъ

Digitized by Google

какъ обѣщался отъ меня пьянаго бѣса отставить, такъ его и свелъ, и я съ той поры никогда больше ни одной рюмки не пилъ. Очень онъ это крѣпко сдѣлалъ.

— Ну-съ, а какъ же вы съ княземъ-то своимъ за выпущенныхъ лебедей кончили?

— А я и самъ не знаю, какъ-то очень просто: какъ отъ этихъ цыгановъ доставился домой и не помню какъ легъ, но только слышу князь стучитъ и зоветъ, а я хочу съ коника встать, но никакъ края не найду и не могу сойти. Въ одну сторону поползу—не край, въ другую оборочусь и здѣсь тоже краю нѣтъ... Заблудилъ на коникѣ да и полно?.. Князь кричитъ: «Иванъ Северьянычъ!» А я откликаюсь «сейчасъ», а самъ лазаю во всѣ стороны и все не найду края, и, наконецъ, думаю: ну, если слѣзть нельзя, такъ я же спрыгну, и размахнулся, да какъ сигану какъ можно дальше и чувствую, что меня будто что по мордѣ ударило и вокругъ меня что-то звенитъ и сыпится, и сзади тоже звенитъ и опять сыпится, и голосъ князя говоритъ денщику: «давай огня скорѣй!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во снѣ я все это надъ собою вижу, и полагаю, что я все еще на коникѣ до края не достигъ; а на мѣсто того, какъ денщикъ принесъ огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой въ хозяйскую горку съ хрусталемъ запрыгнулъ и поколотилъ все...

— Какъ же вы это такъ заблудились?

— Очень просто: думалъ, что я, по всегдашнему своему обыкновенію, на коникѣ сплю, а я, вѣрно, придя отъ цыганъ, прямо на полъ легъ, да все и ползалъ, края искалъ, а потомъ сталъ прыгать... и допрыгалъ до горки. Блуждалъ, потому этотъ... магнетизеръ, онъ пьянаго бѣса отъ меня свелъ, а блуднаго при мнѣ поставилъ... Я тутъ же и вспомнилъ его слова, что онъ говорилъ: «какъ бы хуже не было, если питье бросить» и пошелъ его искать,—хотѣлъ просить, чтобы онъ лучше меня размагнетизировалъ на старое, но его не засталъ. Онъ тоже много на себя набралъ и самъ не вынесъ, и тутъ же напротивъ цыгановъ у шинкарки такъ напился, что и померъ.

— А вы такъ и остались замагнетизированы?

— Такъ и остался-съ.

— И долго же на васъ этотъ магнетизмъ дѣйствовалъ?

Google

— Отчего же долго ли? онъ, можетъ-быть, и посейчасъ дѣйствуетъ.

— А все-таки интересно знать, какъ же вы съ княземъ-то?.. Неужто такъ и объясненія у васъ никакого не было за лебедей?

— Нѣтъ-съ, объясненіе было, только не важное. Князь тоже пріѣхалъ проигравшись и на реванжъ у меня сталъ просить. Я говорю:

— Ну, уже это оставьте: у меня ничего денегъ нѣтъ.

Онъ думаетъ шутка, а я говорю:

— Нѣтъ исправди, у меня безъ васъ большой выходъ былъ.

Онъ спрашиваетъ:

— Куда же, молъ, ты могъ пять тысячъ на одномъ выходѣ дѣть?..

Я говорю:

— Я ихъ сразу цыганкѣ бросилъ...

Онъ не вѣритъ.

Я говорю:

— Ну, не вѣрьте: а я вамъ правду говорю.

Онъ было озлился и говоритъ:

— Запри-ка двери, я тебѣ задамъ, какъ казенныя деньги швырять,—а потомъ, это вдругъ отмѣнивъ, и говоритъ:— Не надо ничего: я и самъ такой же, какъ ты, безпутный.

И онъ въ комнатѣ легъ свою ночь досыпать, а я на сѣновалъ тоже опять спать пошелъ. Опомнился же я въ лазаретѣ и слышу говорятъ, что у меня бѣлая горячка была и хотѣлъ будто бы я вѣшаться, только меня, слава Богу, въ длинную рубашку спеленали. Потомъ выздоровѣлъ я и явился къ князю въ его деревню, потому что онъ этимъ временемъ въ отставку вышелъ, и говорю:

— Ваше сіятельство, надо мнѣ вамъ деньги отслужить.

Онъ отвѣчаетъ:

— Пошелъ къ чорту.

Я вижу, что онъ очень на меня обиженъ, подхожу къ нему и нагинаюсь.

— Что, говоритъ,—это значитъ?

— Да оттрепите же, прошу, меня, по крайней мѣрѣ, какъ слѣдуетъ!

А онъ отвѣчаетъ:

— А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а можетъ быть я тебя вовсе и виноватымъ не считаю.

A771067

Digitized by Google

— Помилуйте, говорю:—какъ же еще я не виноватъ, когда я этакую область денегъ расшвырялъ? Я самъ знаю, что меня, подлеца, за это повѣсить мало.

А онъ отвѣчаетъ:

— А что, братецъ, дѣлать, когда ты артистъ.

— Какъ, говорю,—это такъ?

— Такъ, отвѣчаетъ,—такъ, любезнѣйшій Иванъ Северьянычъ, вы, мой полупочтеннѣйшій,—артистъ.

— И понять, говорю,—не могу.

— Ты, говоритъ,—не думай что-нибудь худое, потому что и я самъ тоже артистъ.

— Ну, вотъ это, думаю, — понятно: видно не я одинъ до бѣлой горячки подвизался.

А онъ всталъ, ударилъ объ полъ трубку и говоритъ:

— Что тутъ за диво, что ты передъ ней бросилъ, что при себѣ имѣлъ, я, братецъ, за нее то отдалъ, чего у меня нѣтъ и не было.

Я во всѣ глаза на него вылупился.

— Батюшка, молъ, ваше сіятельство: помилосердуйте, что вы это говорите, мнѣ это даже слушать страшно.

— Ну, ты, отвѣчаетъ,—очень не пугайся: Богъ милостивъ и авось какъ-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу въ таборъ полсотни тысячъ отдалъ.

Я такъ и ахнулъ:

— Какъ, говорю, — полсотни тысячъ! за цыганку! да стòитъ ли она этого, аспидка.

— Ну, вотъ это, отвѣчаетъ, — вы, полупочтеннѣйшій, глупо и не по-артистически заговорили... Какъ стòитъ ли? Женщина всего на свѣтѣ стòитъ, потому что она такую язву нанесетъ, что за все царство отъ нея не вылѣчишься, а она одна въ одну минуту отъ нея можетъ исцѣлить.

А я все думаю, что все это правда, а только самъ все головою качаю и говорю:

— Этакая, молъ, сумма! цѣлыя пятьдесятъ тысячъ!

— Да, да, говоритъ,—и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше далъ... все, что хочешь, далъ бы.

— А вамъ бы, говорю,—плюнуть и больше ничего.

— Не могъ, говоритъ,—братецъ, не могъ плюнуть.

— Отчего же?

— Она меня красотою и талантомъ уязвила и мнѣ исцѣ-

Digitized by Google

ленья надо, а то я съ ума сойду. А ты мнѣ скажи: вѣдь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего отъ нея съ ума сойти?..

Я губы закусилъ и только уже молча головой трясу.

— Правда, молъ, правда!

— Мнѣ,—говоритъ князь:—знаешь, мнѣ вѣдь за женщину хоть умереть, такъ ничего не стоитъ. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочемъ?

— Что же, говорю,—тутъ непонятнаго, краса, природы совершенство...

— Какъ же ты это понимаешь?

— А такъ, отвѣчаю,—и понимаю, что краса природы совершенство и за это восхищенному человѣку погибнуть... даже радость!

— Молодецъ, отвѣчаетъ мой князь;—молодецъ вы, мой почти-полу-почтеннѣйшій и премного-мало-значущій Иванъ Северьяновичъ! именно-съ, именно гибнуть-то и радостно, и вотъ то-то мнѣ теперь и сладко, что я для нея всю мою жизнь перевернулъ: и въ отставку вышелъ, и имѣніе заложилъ, и съ этихъ поръ стану тутъ жить, человѣка не видя, а только все буду одной ей въ лицо смотрѣть.

Тутъ я еще ниже спустилъ голосъ и шепчу:

— Какъ, говорю,—будете ей въ лицо смотрѣть? Развѣ она здѣсь.

А онъ отвѣчаетъ:

— А то какъ же иначе? разумѣется, здѣсь.

— Можетъ ли, говорю,—это быть?

— А вотъ ты, говоритъ,—постой, я ее сейчасъ приведу. Ты артистъ,—отъ тебя я ее не скрою.

И съ этимъ оставилъ меня, а самъ вышелъ за дверь. Я стою, жду и думаю:

— Эхъ, нехорошо это, что ты такъ утверждаешь, что на одно на ея лицо будешь смотрѣть! Наскучитъ! но въ подробности объ этомъ не разсуждаю, потому что какъ вспомню, что она здѣсь, сейчасъ чувствую, что у меня даже въ бокахъ жарко становится и въ умѣ мѣшаюсь, думаю: неужели я ее сейчасъ увижу? А они вдругъ и входятъ: князь впереди идетъ и въ одной рукѣ гитару съ широкою алой лентой несетъ, а другою Грушеньку, за обѣ ручки сжавши, тащитъ, а она идетъ понуро, упирается и не смо-

Digitized by Google
211840B

тритъ, а только эти рѣсничищи черныя по щекамъ какъ будто птичьи крылья шевелятся.

Ввелъ ее князь, взялъ на руки и посадилъ какъ дитя съ ногами въ уголъ на широкій мягкій диванъ; одну бархатную подушку ей за спинку подсунулъ, другую — подъ правый локотокъ подложилъ, а ленту отъ гитары перекинулъ черезъ плечо, и персты руки на струны поклалъ. Потомъ сѣлъ самъ на полу у дивана и голову склонилъ къ ея алому сафьянному башмачку и мнѣ киваетъ: дескать, «садись и ты».

Я тихонечко опустился у порожка на полъ, тоже подобралъ подъ себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало такъ, что даже тощо дѣлается. Я сидѣлъ-сидѣлъ, индо колѣни разломило, а гляну на нее, она все въ томъ же положеніи, а на князя посмотрю: вижу, что онъ отъ томноты у себя весь усъ изгрызъ, а ничего ей не говоритъ.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей пѣть! А онъ обратно мнѣ пантомину даетъ въ такомъ смыслѣ, что, дескать, не послушаетъ.

И опять оба сидимъ на полу, да ждемъ, а она вдругъ начала, какъ будто бредитъ, вздыхать, да похлипывать и по рѣсницѣ слезка струитъ, а по струнамъ пальцы какъ осы ползаютъ и рокочутъ... И вдругъ она тихо-тихо, будто плачетъ, запѣла: «люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчетъ: что?

А я ему тоже шопотомъ по-французски отвѣчаю:

— Пти-комъ-пё, говорю, и сказать больше нечего, а она въ эту минуту вдругъ какъ вскрикнетъ: «а меня съ красоты продадутъ, продадутъ», да какъ швырнетъ гитару далеко съ колѣнъ, а съ головы сорвала косынку и пала ничкомъ на диванъ, лицо въ ладони уткнула и плачетъ, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и онъ заплакалъ, но взялъ гитару и точно не пѣлъ, а какъ будто службу служа, застоналъ: «Если бъ знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», да и ну рыдать. И поетъ, и рыдаетъ: «Успокой меня, неспокойнаго, осчастливь меня, несчастливаго». Какъ онъ такъ жестоко взволновался, она, вижу, внемлетъ симъ его слезамъ и пѣнію и все стала тишать, усмиряться и вдругъ тихо ручку изъ-подъ своего лица вывела и, какъ мать, нѣжно обвила ею его голову...

Digitized by Google

Ну, тутъ мнѣ стало понятно, что она его въ этотъ часъ пожалѣла и теперь сейчасъ успокоитъ и исцѣлитъ всю тоску души его пламенной, и я всталъ потихоньку незамѣтно и вышелъ.

— И вѣрно тутъ-то вы и въ монастырь пошли?—вопросилъ нѣкто разсказчика.

— Нѣтъ-съ: еще не тутъ, а позже,—отвѣчалъ Иванъ Северьянычъ и добавилъ, что ему еще надлежало прежде много въ свѣтѣ отъ этой женщины видѣть, пока надъ ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумѣется, приступили съ просьбою хотя вкратцѣ разсказать имъ исторію Груни, и Иванъ Северьянычъ это исполнилъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

— Видите,—началъ Иванъ Северьянычъ:—мой князь былъ человѣкъ души доброй, но перемѣнчивой. Чего онъ захочетъ, то ему сейчасъ во что бы то ни стало вынь да положи—иначе онъ съ ума сойдетъ, и въ тѣ поры ничего онъ на свѣтѣ за это достиженіе не пожалѣетъ, а потомъ, когда получитъ, не дорожитъ счастьемъ. Такъ это у него и съ этой цыганкою вышло и ея, Грушинъ, отецъ, и всѣ тѣ ихніе таборные цыганы отлично сразу въ немъ это поняли и запросили съ него за нее не вѣсть какую цѣну, больше какъ все его домашнее состояніе позволяло, потому что было у него хотя и хорошее имѣньице, но разоренное. Такихъ денегъ, какія таборъ за Грушу назначилъ, у князя тогда на-лицо не было, и онъ сдѣлалъ для того долгъ и уже служить больше не могъ.

Знавши всѣ эти его привычки, я много хорошаго отъ него не ожидалъ и для Груши, и такъ на мое и вышло. Все онъ къ ней ластился, безотходно на нее смотрѣлъ и дышалъ и вдругъ зѣвать сталъ, и все меня въ компанію призывать началъ.

— Садись, говоритъ,—послушай.

Я беру стулъ, сажусь гдѣ-нибудь поближе къ дверямъ и слушаю. Такъ и часто доводилось: онъ, бывало, ее попроситъ пѣть, а она скажетъ:

— Передъ кѣмъ я стану пѣть! ты, говоритъ,—холодный сталъ, а я хочу, чтобы отъ моей пѣсни чья-нибудь душа горѣла и мучилась.

Digitized by Google

Князь сейчасъ опять за мною и посылаетъ, и мы съ нимъ двое ее и слушаемъ; а потомъ Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я послѣ ея пѣнія не разъ у нея въ покояхъ чай пилъ, вмѣстѣ съ княземъ, но только, разумѣется, или за особымъ столомъ, или гдѣ-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядомъ съ собою меня сажала. Вотъ такъ прошло сколько времени, а князь все смутнѣе началъ становиться и одинъ разъ мнѣ и говоритъ:

— А знаешь что, Иванъ Северьяновъ, такъ и такъ, вѣдь, дѣла мои очень плохи.

Я говорю:

— Чѣмъ же они плохи? Слава Богу, живете какъ надо и все у васъ есть.

А онъ вдругъ обидѣлся.

— Какъ, говоритъ,—вы, мой полупочтеннѣйшій, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть?*

— Да все, молъ, что̀ нужно.

— Неправда, говоритъ,—я обѣднѣлъ, я теперь себѣ на бутылку вина къ обѣду долженъ разсчитывать. Развѣ это жизнь? Развѣ это жизнь?

— Вотъ, думаю,—что тебя огорчаетъ, и говорю:—ну, если когда вина недостача, еще не велика бѣда, потерпѣть можно, зато есть, что̀ слаще и вина, и меду.

Но онъ понялъ, что я намекаю на Грушу, и какъ будто меня устыдился и самъ ходитъ, рукою машетъ, а самъ говоритъ:

— Конечно... конечно... разумѣется... но только... Вотъ я теперь полгода живу здѣсь и человѣка у себя чужого не видалъ...

— А зачѣмъ, молъ, онъ вамъ, чужой-то человѣкъ, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнулъ.

— Ты, говоритъ, — братецъ, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другомъ.

— А-га! думаю:—вотъ ты что, братъ, запѣлъ? и говорю:— что же, молъ, теперь дѣлать?

— Давай, говоритъ, — станемъ лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мнѣ опять ремонтеры и заводчики ѣздили.

Пустое это и не господское дѣло лошадьми торговать,

Digitized by Google

но, думаю, чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, абы не плакало, и говорю: «извольте».

И начали мы съ нимъ заводить ворокъ. Но чуть за это принялись, князь такъ и унесся въ эту страсть: гдѣ какія деньжонки добудетъ, сейчасъ покупать коней и все беретъ, хватаетъ зря; меня не слушаетъ... Накупили обельму, а продажи нѣтъ... Онъ сейчасъ же этого не стерпѣлъ и коней бросилъ, да давай что̀ попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завелъ и все отъ всего убытки и долги, а болѣе всего разстройство въ характерѣ... Постоянно онъ дома не сидитъ, а летаетъ то туда, то сюда, да чего-то ищетъ, а Груша одна и въ такомъ положеніи... въ тягости. Скучаетъ. «Мало, говоритъ, его вижу», а перемогаетъ себя и великатится: чуть замѣтитъ, что онъ день-другой дома заскучаетъ, сейчасъ сама скажетъ.

— Ты бы, говоритъ, — изумрудъ мой яхонтовый, куда-нибудь поѣхалъ, прогулялся, что тебѣ со мною сидѣть: я проста, неученая.

Этихъ словъ онъ, бывало, сейчасъ застыдится и руки у нея цѣлуетъ и дня два-три крѣпится, а зато потомъ, какъ выкатитъ, такъ уже и завьется, а ее мнѣ заказываетъ:

— Береги, говоритъ, — ее, полупочтенный Иванъ Северьяновъ, ты артистъ, ты не такой, какъ я, свистунъ, а ты настоящій, высокой степени артистъ, и оттого ты съ нею какъ-то умѣешь такъ говорить, что вамъ обоимъ весело, а меня отъ этихъ «изумрудовъ яхонтовыхъ» въ сонъ клонитъ.

Я говорю:

— Почему же это такъ? вѣдь, это слово любовное.

— Любовное, отвѣчаетъ,—да глупое и надоѣдное.

Я ничего не отвѣтилъ, а только сталъ отъ этого времени къ ней запросто вхожъ: когда князя нѣтъ, я всякій день два раза на день ходилъ къ ней во флигель чай пить и какъ могъ ее развлекалъ.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой другъ, Иванъ Северьяновичъ, возговоритъ: — ревность меня, мой голубчикъ, тягостно мучитъ.

Ну, я ее, разумѣется, уговариваю:

Digitized by Google

— Чего, говорю, — очень мучиться: гдѣ онъ ни побываетъ, все къ тебѣ воротится.

А она всплачетъ и руками себя въ грудь бьетъ, и говоритъ:

— Нѣтъ, скажи же ты мнѣ... не потай отъ меня, мой сердечный другъ, гдѣ онъ бываетъ?

— У господъ, говорю,—у сосѣдей, или въ городѣ.

— А нѣтъ ли, говоритъ,—тамъ гдѣ-нибудь моей съ нимъ разлучницы? Скажи мнѣ: можетъ, онъ допрежъ меня кого любилъ и къ ней назадъ воротился, либо не задумалъ ли онъ, лиходѣй мой, жениться?—А у самой при этомъ глаза такъ и загорятся, даже смотрѣть ужасно.

Я ее утѣшаю, а самъ думаю:

«Кто его знаетъ, что̀ онъ дѣлаетъ», потому что мы его мало въ то время и видѣли.

Вотъ какъ вспало ей это на мысль, что онъ жениться хочетъ, она и ну меня просить:

— Съѣзди, такой-сякой, голубчикъ, Иванъ Северьяновичъ, въ городъ; съѣзди, доподлинно узнай о немъ все какъ слѣдуетъ и все мнѣ безъ потайки выскажи.

Пристаетъ она съ этимъ ко мнѣ все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поѣду. Хотя ежели что̀ дурное объ измѣнѣ узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дѣло въ ясность».

Выбралъ такой предлогъ, что будто бы надо самому ѣхать лѣкарствъ для лошадей у травщиковъ набрать и поѣхалъ, но поѣхалъ не спроста, а съ хитрымъ подходомъ.

Грушѣ было неизвѣстно и людямъ строго-на̀строго наказано было отъ нея скрывать, что у князя, до этого случая съ Грушею, была въ городѣ другая любовь,—изъ благородныхъ, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Извѣстная она была во всемъ городѣ большая на фортепьянахъ игрица и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая и имѣла съ моимъ княземъ дочку, но располнѣла и онъ ее, говорили, будто за это и бросилъ. Однако, имѣя въ ту пору еще большой капиталъ, онъ купилъ этой барынѣ съ дочкою домъ и онѣ въ томъ домѣ доходцами и жили. Князь къ этой къ Евгеньѣ Семеновнѣ, послѣ того какъ ее наградилъ, никогда не заѣзжалъ, а люди наши, по старой памяти, за ея добродѣтель помнили и всякій пріѣздъ все, бывало, къ

Digitized by Google

ней захаживали, потому что ее любили и она до всѣхъ до нашихъ была ужасно какая ласковая, и княземъ интересовалась.

Вотъ я пріѣхалъ въ городъ прямо къ ней, къ этой доброй барынѣ, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у васъ остановился.

Она отвѣчаетъ:

— Ну, что же; очень рада. Только отчего же, говоритъ, ты къ князю не ѣдешь на его квартиру?

— А развѣ, говорю,—онъ здѣсь, въ городѣ?

— Здѣсь, отвѣчаетъ. — Онъ уже другая недѣля здѣсь и дѣло какое-то заводитъ.

— Какое, молъ, еще дѣло?

— Фабрику, говоритъ,—суконную въ аренду беретъ.

— Господи! молъ, еще что такое онъ задумалъ?

— А что, говоритъ,—развѣ это худо?

— Ничего, говорю,—только что-то мнѣ это удивительно.

Она улыбается.

— Нѣтъ; а ты, говоритъ, — вотъ чему подивись, что князь мнѣ письмо прислалъ, чтобы я нынче его приняла, что онъ хочетъ на дочь взглянуть.

— И что же, говорю,—вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрѣшили?

Она пожала плечьми и отвѣчаетъ:

— Что же, пусть пріѣдетъ, на дочь посмотритъ, и съ этимъ вздохнула и задумалась, сидитъ опустя головку, а сама еще такая молодая, бѣлая, да вальяжная, а къ тому еще и обращеніе совсѣмъ не то, что у Груши... та, вѣдь, больше ничего, какъ начнетъ свое «изумрудный, да яхонтовый», а эта совсѣмъ другое... Я ее и взревновалъ.

«Охъ,—думаю себѣ,—какъ бы онъ на дитя-то какъ станетъ смотрѣть, то чтобы на самоё на тебя своимъ несытымъ сердцемъ не глянулъ! Отъ сего тогда моей Грушенькѣ много добра не воспослѣдуетъ». И въ такомъ размышленіи сижу я у Евгеньи Семеновны въ дѣтской, гдѣ она велѣла нянькѣ меня чаемъ поить, а у дверей вдругъ слышу звонокъ и горничная прибѣгаетъ очень радостная и говоритъ нянюшкѣ:

— Князинька къ намъ пріѣхалъ!

Я, было, сейчасъ же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была ста-

Digitized by Google

рушка изъ московскихъ: страсть любила все высказать и не захотѣла черезъ это слушателя лишиться, а говоритъ:

— Не уходи, Иванъ Голованычъ, а пойдемъ вотъ сюда въ гардеробную за шкапу сядемъ, она его сюда ни за что не поведетъ, а мы съ тобою еще разговорцу проведемъ.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надѣялся отъ нея что-нибудь для Груши полезное свѣдать, и какъ отъ Евгеньи Семеновны мнѣ былъ лодиколонный пузыречикъ рому къ чаю высланъ, а я самъ уже тогда ничего не пилъ, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушкѣ, въ чаекъ еще вотъ этого разговорцу изъ пузыречка, авось она, по благодати своей, мнѣ тогда что-нибудь и совретъ, чего бы безъ того и не высказала.

Удалились мы изъ дѣтской и сидимъ за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридоръ, съ дверью въ концѣ, а та дверь какъ разъ въ ту комнату выходила, гдѣ Евгенья Семеновна князя приняла и даже къ тому къ самому дивану, на которомъ они сѣли. Однимъ словомъ, только меня отъ нихъ раздѣлила эта запертая дверь, съ той стороны матеріей завѣшанная, а то все равно будто я съ ними въ одной комнатѣ сижу, такъ мнѣ все слышно.

Князь какъ вошелъ и говоритъ:

— Здравствуй, старый другъ, испытанный!

А она ему отвѣчаетъ:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А онъ ей:

— Объ этомъ, говоритъ,—послѣ поговоримъ, а прежде дай поздороваться и позволь въ головку тебя поцѣловать,—и мнѣ слышно, какъ онъ ее въ головку чмокнулъ, и спрашиваетъ про дочь. Евгенья Семеновна отвѣчаетъ, что она, молъ, дома.

— Здорова?

— Здорова, говоритъ.

— И выросла, небось?

Евгенья Семеновна разсмѣялась и отвѣчаетъ:

— Разумѣется, говоритъ,—выросла.

Князь спрашиваетъ:

— Надѣюсь, что ты мнѣ ее покажешь?

— Отчего же, отвѣчаетъ,—съ удовольствіемъ,—и встала съ мѣста, вошла въ дѣтскую и зоветъ эту самую няню, Татьяну Яковлевну, съ которою я угощаюсь.

Digitized by Google

— Выведите, говоритъ,—нянюшка, Людочку къ князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на столъ и говоритъ:

— О, пусто бы вамъ совсѣмъ было, только-что сядешь, въ самый аппетитъ съ человѣкомъ поговорить, непремѣнно и тутъ отрываютъ и ничего въ свое удовольствіе сдѣлать не дадутъ!—и поскорѣе меня барыниными юбками, которыя на стѣнѣ висѣли, закрыла и говоритъ:—посиди,—а сама пошла съ дѣвочкой, а я одинъ за шкапами остался и вдругъ слышу князь дѣвочку разъ и два поцѣловалъ и потетешкалъ на колѣнахъ и говоритъ:

— Хочешь, мой анфанъ, въ каретѣ покататься?

Та ничего не отвѣчаетъ; онъ говоритъ Евгеньѣ Семеновнѣ.

— Же ву при, говоритъ,—пожалуйста, пусть она съ нянею въ моей каретѣ поѣздитъ, покатается.

Та, было, ему что-то по-французскому, дескать, зачѣмъ и пуркуа, но онъ ей тоже въ родѣ того, что, дескать, «непремѣнно надобно», и этакъ они раза три словами перебросились и потомъ Евгенья Семеновна нехотя говоритъ нянюшкѣ:

— Одѣньте ее и поѣзжайте.

Тѣ и поѣхали, а эти двоичкой себѣ остались, да я у нихъ подъ сокрытьемъ на послухахъ, потому что мнѣ изъ-за шкаповъ и выйти нельзя, да и самъ себѣ я думалъ: вотъ же когда мой часъ насталъ и я теперь настоящее изслѣдую, что̀ у кого противъ Груши есть въ мысляхъ вреднаго?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пустившись на этакое рѣшеніе, чтобы подслушивать, я этимъ не удовольнился, а захотѣлъ и глазомъ, что можно, увидѣть и всего этого достигъ: сталъ тихонечко ногами на табуретку и сейчасъ вверху дверей въ пазу щелочку присмотрѣлъ и жаднымъ окомъ приникъ къ ней. Вижу, князь сидитъ на диванѣ, а барыня стоитъ у окна и, вѣрно, смотритъ, какъ ея дитя въ карету сажаютъ.

Карета отъѣхала и она оборачивается и говоритъ:

— Ну, князь, я все сдѣлала, какъ вы хотѣли: скажите же теперь, что у васъ за дѣло такое ко мнѣ?

А онъ отвѣчаетъ:

Digitized by Google

— Ну, что тамъ дѣло!.. дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не убѣжитъ, а ты прежде подойди-ка сюда ко мнѣ: сядемъ рядомъ, да поговоримъ ладомъ, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоитъ, руки назадъ, объ окно опирается и молчитъ, а сама бровь супитъ. Князь проситъ:

— Что же, говоритъ, ты: я прошу, — мнѣ говорить съ тобой надо.

Та послушалась, подходитъ; онъ сейчасъ, это видя, опять шутитъ:

— «Ну, ну, молъ, посиди, посиди по-старому», и обнять ее хотѣлъ, но она его отодвинула и говоритъ:

— Дѣло, князь, говорите, дѣло: чѣмъ я могу вамъ служить?

— Что же это, — спрашиваетъ князь:— стало-быть, безъ разговора все на-чистоту выкладать?

— Конечно, говоритъ,—объясняйте прямо, въ чемъ дѣло? мы, вѣдь, съ вами коротко знакомы,—церемониться нечего.

— Мнѣ деньги нужны,—говоритъ князь.

Та молчитъ и смотритъ.

— И немного денегъ,—молвилъ князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысячъ двадцать.

Та опять не отвѣчаетъ, а князь и ну расписывать, что я, говоритъ, суконную фабрику покупаю, но у меня денегъ ни гроша нѣтъ, а если куплю ее, то я буду милліонеръ; я, говоритъ, все передѣлаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркія сукна дѣлать да азіатамъ въ Нижній продавать. Изъ самой гадости, говоритъ, вытку, да ярко выкрашу и все пойдетъ, и большія деньги наживу, а теперь мнѣ только двадцать тысячъ на задатокъ за фабрику нужно. Евгенья Семеновна говоритъ:

— Гдѣ же ихъ достать?

А князь отвѣчаетъ:

— Я и самъ не знаю, но надо достать, а потомъ расчетъ у меня самый вѣрный: у меня есть человѣкъ—Иванъ Голованъ, изъ полковыхъ конэсеровъ, очень не уменъ, а золотой мужикъ,—честный, и рачитель, и долго у азіатовъ въ плѣну былъ, и всѣ ихъ вкусы отлично знаетъ, а теперь у Макарія стоитъ ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцовъ взять, и задатки будутъ... тогда... я, первое, сейчасъ эти двадцать тысячъ отдамъ...

И онъ замолкъ, а барыня помолчала, воздохнула и начинаетъ:

Digitized by Google

— Расчетъ, говоритъ,—вашъ, князь, вѣренъ.

— Неправда ли?

— Вѣренъ, говоритъ,—вѣренъ: вы такъ сдѣлаете: вы дадите за фабрику задатокъ, васъ послѣ этого станутъ считать фабрикантомъ; въ обществѣ заговорятъ, что ваши дѣла поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голованъ наберетъ у Макарія заказовъ и задатковъ, и я верну долгъ и разбогатѣю.

— Нѣтъ, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всѣмъ этимъ на фу-фу предводителя, и пока онъ будетъ почитать васъ богачомъ, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ея приданое, въ самомъ дѣлѣ разбогатѣете.

— Ты такъ думаешь?—говоритъ князь.

А барыня отвѣчаетъ:

— А вы развѣ иначе думаете?

— А ну, если ты, говоритъ, — все понимаешь, такъ дай Богъ твоими устами да намъ медъ пить.

— *Намъ?*

— Конечно, говоритъ,—тогда всѣмъ намъ будетъ хорошо: ты для меня теперь домъ заложишь, а я дочери за двадцать тысячъ десять тысячъ процента дамъ.

Барыня отвѣчаетъ:

— Домъ вашъ: вы ей его подарили, вы и берите его, если онъ вамъ нуженъ.

Онъ, было, началъ, что: «нѣтъ, дескать, домъ не мой, а ты ея мать, я у тебя прошу... разумѣется, только въ такомъ случаѣ, если ты мнѣ вѣришь...»

А она отвѣчаетъ:

— Ахъ, полноте, говоритъ,—князь: то ли я вамъ, говоритъ, вѣрила! Я вамъ жизнь и честь свою довѣряла.

— Ахъ, да, говоритъ,—ты про это... Ну, спасибо тебѣ, спасибо, прекрасно... Такъ завтра, стало-быть, можно прислать тебѣ подписать закладную?

— Присылайте, говоритъ,—я подпишу.

— А тебѣ не страшно?

— Нѣтъ, говоритъ,—я уже то потеряла, послѣ чего мнѣ нечего бояться.

Digitized by Google

— И не жаль? говори: не жаль? вѣрно, еще ты любишь меня немножечко? что? или просто сожалѣешь? а?

Она на эти слова только засмѣялась и говоритъ:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вамъ моченой морошки съ сахаромъ подать? У меня она нынче очень вкусная.

Онъ, должно-быть, обидѣлся: не того, видно, совсѣмъ ожидалъ—встаетъ и улыбается.

— Нѣтъ, говоритъ,—кушай сама свою морошку, а мнѣ теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай,—и начинаетъ ей руки цѣловать, а тѣмъ временемъ какъ разъ и карета назадъ возвратилась.

Евгенья Семеновна и подаетъ ему на прощанье руку, а сама говоритъ:

— А какъ же вы съ вашей черноокой цыганкой сдѣлаетесь?

А онъ себя вдругъ рукой по лбу и вскрикнулъ:

— Ахъ, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь, а я всегда о твоемъ умѣ вспоминаю и спасибо тебѣ, что ты мнѣ теперь про этотъ яхонтъ напомнила!

— А вы, говоритъ,—будто про нее такъ и позабыли?

— Ей-Богу, говоритъ,—позабылъ. И изъ ума вонъ, а ее, дуру, вѣдь, дѣйствительно, надо устроить.

— Устраивайте,—отвѣчаетъ Евгенья Семеновна:—только хорошенечко: она, вѣдь, не русская прохладная кровь съ парнымъ молокомъ, она не успокоится смиреніемъ и ничего не проститъ ради прошлаго.

— Ничего, отвѣчаетъ,—какъ-нибудь успокоится.

— Она любитъ васъ, князь? Говорятъ, даже очень любитъ?

— Страсть надоѣла; но, слава Богу, на мое счастье, они съ Голованомъ большіе друзья.

— Что же вамъ изъ этого? — спрашиваетъ Евгенья Семеновна.

— Ничего; домъ имъ куплю и Ивана въ купцы запишу, перевѣнчаются и станутъ жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эхъ, вы, князенька, князенька, безтолковый князенька: гдѣ ваша совѣсть?

Digitized by Google

А князь отвѣчаетъ:

— Оставь, пожалуйста, мою совѣсть! Ей-Богу, мнѣ теперь не до нея: мнѣ когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иванъ Голованъ, говоритъ, въ городѣ и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велѣлъ какъ можно скорѣе меня къ нему прислать, а самъ сейчасъ отъ нея и уѣхалъ.

Вслѣдъ за этимъ пошло у насъ все живою рукою, какъ въ сказкѣ. Надавалъ князь мнѣ довѣренностей и свидѣтельствъ, что у него фабрика есть, и научилъ говорить, какія сукна вырабатываетъ, и услалъ меня прямо изъ города къ Макарью, такъ что я Груши и повидать не могъ, а только все за нее на князя обижался, что какъ онъ это могъ сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мнѣ счастіе такъ повалило: набралъ я отъ азіатовъ и заказовъ, и денегъ, и образцовъ, и всѣ деньги князю выслалъ, и самъ пріѣхалъ назадъ и своего мѣста узнать не могу... Просто все какъ будто какимъ-нибудь волшебствомъ здѣсь перемѣнилось: все подновлено, словно изба, къ празднику убранная, а флигеля, гдѣ Груша жила, и слѣда нѣтъ: срытъ и на его мѣстѣ новая постройка поставлена. Я такъ и ахнулъ, и кинулся: гдѣ же Груша? а про нее никто и не вѣдаетъ; и люди-то въ прислугѣ все новые, наемные, и прегордые, такъ что и доступу мнѣ прежняго къ князю нѣтъ. Допрежъ сего у насъ съ нимъ все было по-военному, въ простотѣ, а теперь стало все на политикѣ и что мнѣ надо князю сказать, то не иначе, какъ черезъ камердинера.

Я этого такъ терпѣть не люблю, что ни одной бы минуты здѣсь не остался и сейчасъ бы ушелъ, но только мнѣ очень было жаль Грушу и никакъ я не могу узнать: гдѣ же это она дѣлась? Кого изъ старыхъ людей ни вспрошу— всѣ молчатъ: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тутъ была и «всего, говоритъ, денъ десять какъ съ княземъ въ коляскѣ куда-то отъѣхала и съ тѣхъ поръ назадъ не вернулась». Я къ кучерамъ, кои возили ихъ: сталъ спрашивать, и тѣ ничего не говорятъ. Сказали только, что князь, будто, своихъ лошадей на станціи смѣнилъ, назадъ отослалъ, а самъ съ Грушею куда-то на наемныхъ поѣхалъ. Куда ни метнусь, нѣтъ никакого слѣда, да и полно: погу-

Digitized by Google

билъ онъ ее, что ли, злодѣй, ножемъ, или пистолетомъ застрѣлилъ и гдѣ-нибудь въ лѣсу, во рву бросилъ, да сухою листвою призасыпалъ, или въ водѣ утопилъ... Отъ страстнаго человѣка, вѣдь, все это легко можетъ статься; а она ему помѣха была, чтобы жениться, потому что, вѣдь, Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодѣя, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было тò не снесть и не покориться, какъ Евгенья Семеновна сдѣлала, русская христіанка, которая жизнь свою передъ нимъ какъ лампаду истеплила. Въ этой цыганское пламище-то, я думаю, дымнымъ костромъ вспыхнуло, какъ онъ ей насчетъ свадьбы сказалъ, и она тутъ, небось, невѣдомо чтò зачертила, вотъ онъ ее и покончилъ.

Такъ я все чѣмъ больше эту думу въ головѣ содержу, тѣмъ больше увѣряюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотрѣть ни на какіе сборы къ его вѣнчанью съ предводительскою дочкою. А какъ свадьбы день пришелъ и всѣмъ людямъ роздали цвѣтные платки и кому какое идетъ по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надѣлъ, я взялъ все въ конюшнѣ въ своемъ чуланчикѣ покинулъ и ушелъ съ утра въ лѣсъ и ходилъ, самъ не знаю чего, до самаго вечера, все думалъ: не попаду ли гдѣ на ея тѣло убитое? Вечеръ пришелъ, я и вышелъ, сѣлъ на крутомъ берегу надъ рѣчкою, а за рѣкою весь домъ огнями горитъ, свѣтится и праздникъ идетъ; гости гуляютъ и музыка гремитъ, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый домъ, а въ воду, гдѣ этотъ свѣтъ весь отразило и струями рябитъ, какъ будто столбы ходятъ, точно водяные чертоги открыты. И стало мнѣ таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и въ плѣну не было, началъ я съ невидимой силой говорить и, какъ въ сказкѣ про сестрицу Аленушку сказываютъ, которую братъ звалъ, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобнымъ голосомъ:

— Сестрица моя, моя, говорю, Грунюшка! откликнись ты мнѣ, отзовись мнѣ; откликнися мнѣ; покажися мнѣ на минуточку! И что же вы изволите думать: простоналъ я этакъ три раза и стало мнѣ жутко и зачало все казаться, что ко мнѣ кто-то бѣжитъ; а вотъ прибѣжалъ, вокругъ меня вѣется, въ уши мнѣ шепчетъ и черезъ плеча въ лицо засматриваетъ, и вдругъ на меня изъ темноты ночной

Digitized by Google

какъ что-то шаркнетъ!.. И прямо на мнѣ повисло, и колотится...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Я отъ страха даже мало на землю не упалъ, но чувствъ совсѣмъ не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно какъ подстрѣленный журавль, бьется и вздыхаетъ, а ничего не молвитъ.

Я сотворилъ въ умѣ молитву, и что же-съ?—вижу передъ своимъ лицомъ какъ разъ лицо Груши...

— Родная моя, говорю, — голубушка! живая ли ты, или съ того свѣта ко мнѣ явилася? Ничего, говорю, не потаись, говори правду: я тебя, бѣдной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко изъ глубины груди вздохнула и говоритъ:

— Я жива.

— Ну, и слава, молъ, Богу.

— Только я, говоритъ,—сюда умереть вырвалась.

— Что ты, говорю, — Богъ съ тобой, Грунюшка: зачѣмъ тебѣ умирать. Пойдемъ жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебѣ, сиротиночкѣ, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи замѣсто милой сестры.

А она отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, Иванъ Северьянычъ, нѣтъ, мой ласковый, милъ-сердечный другъ, прими ты отъ меня, сироты, на томъ твоемъ словѣ вѣчный поклонъ, а мнѣ, горькой цыганкѣ, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалѣешь?

А она отвѣчаетъ:

— Про ее, про лиходѣя моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни въ чемъ неповинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпѣть не можетъ, и я ее и себя погублю.

— Что ты, молъ, перекрестись: вѣдь, ты крещеная, а что̀ душѣ твоей будетъ?

— Нѣ-ѣ-ѣ-тъ, отвѣчаетъ, — я и души не пожалѣю, пускай въ адъ идетъ. Здѣсь хуже адъ!

Вижу, вся женщина въ разстройствѣ и въ изступленіи

ума: я ее взялъ за руки и держу, а самъ вглядываюсь и дивлюсь, какъ страшно она перемѣнилась и гдѣ вся ея красота дѣлась? тѣла даже на ней какъ нѣтъ, а только одни глаза среди темнаго лица, какъ въ ночи у волка, горятъ, и еще будто противъ прежняго вдвое больше стали, да нѣдро разнесло, потому что тягость ея тогда къ концу приходила, а личико въ кулачокъ сжало, и по щекамъ черныя космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надѣто, а платьице темное ситцевенькое, какъ есть все въ клочечкахъ, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, говорю,—мнѣ: откуда же ты это сюда взялась; гдѣ ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдругъ улыбнулася и говоритъ:

— Что?.. чѣмъ я нехороша?.. Хороша! — Это меня такъ убралъ милъ-сердечный другъ за любовь къ нему за вѣрную: за то, что того, котораго больше его любила, для него позабыла, и вся ему предалась, безъ ума и безъ разума, а онъ меня за то въ крѣпкое мѣсто упряталъ и сторожей настановилъ, чтобы строго мою красоту стеречь...

И съ этимъ, вдругъ-съ, какъ захохочетъ и молвитъ съ гнѣвностью:

— Ахъ ты, глупая твоя голова, княженецкая: развѣ цыганка—барышня, что ее запоры удержатъ? Да я захочу, я сейчасъ брошуся и твоей молодой женѣ горло переѣмъ.

Я вижу, что она сама вся трясется отъ ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхомъ ада, а сладкимъ вспоминаніемъ отъ этихъ мыслей отведу, и говорю:

— А, вѣдь, какъ, молъ, онъ любилъ-то тебя! Какъ любилъ! Какъ ноги-то твои цѣловалъ... Бывало, на колѣняхъ передъ диваномъ стоитъ, какъ ты поешь, да алую туфлю твою и сверху, и снизу въ подошву обцѣлуетъ...

Она это стала слушать и вѣчищами своими черными водитъ по сухимъ щекамъ, и, въ воду глядя, начала гулкимъ тихимъ голосомъ:

— Любилъ, говоритъ, — любилъ, злодѣй, любилъ, ничего не жалѣлъ, пока не былъ самъ мнѣ по-сердцу, а полюбила его—онъ покинулъ. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станетъ... Глупый онъ, глупый! Не грѣть солнцу зимой противъ лѣтняго, не видать ему вѣкъ любви противъ того, какъ я лю-

Digitized by Google

била; такъ ты и скажи ему: молъ, Груша, умирая, такъ тебѣ ворожила и на рокъ положила.

Я тутъ и радъ, что она разговорилась, и присталъ, спрашиваю:

— Да что это такое у васъ произошло и черезъ что все это сталося?

А она всплескиваетъ руками и говоритъ:

— Ахъ, ни черезо-что ничего не было, а все черезъ одно измѣнство... Нравиться ему я перестала, вотъ и вся причина; и сама, знаете, все это говоритъ, а сама начинаетъ слезами хлепать. Онъ, говоритъ, платьевъ мнѣ, по своему вкусу, такихъ нашилъ, какихъ тягостной не требуется: узкихъ да съ таліями; я ихъ надѣну, выстроюсь, а онъ сердится, говоритъ: «скинь; не идетъ тебѣ»; не надѣну ихъ, въ роспашнѣ покажусь, еще того вдвое обидится... говоритъ: «на кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мнѣ его, что я ему опротивѣла...

И съ этимъ совсѣмъ зарыдала и сама впередъ смотритъ, а сама шепчетъ:

— Я, говоритъ, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совѣсть его хотѣла узнать, думала: — ничѣмъ ему не досажу и догляжусь его жалости, а онъ меня и пожалѣлъ...

И разсказала-съ она мнѣ насчетъ своей послѣдней съ княземъ разлуки такую пустяковину, что я даже не понялъ, да и посейчасъ не могу понять: на чемъ коварный человѣкъ можетъ съ женщиною вѣковѣчно разстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Разсказала Груша мнѣ, что какъ ты, говоритъ,— уѣхалъ да пропалъ, то-есть, это когда я къ Макарью отправился, князя еще долго домой не было; а до меня, говоритъ, слухи дошли, что онъ женится... Я отъ тѣхъ слуховъ страшно плакала и съ лица спала... Сердце болѣло и дитя подкатывало... думала: оно у меня умретъ въ утробѣ. А тутъ, слышу, вдругъ и говорятъ: «онъ ѣдетъ!» Все во мнѣ затрепетало!.. Кинулась я къ себѣ во флигель, чтобы какъ можно лучше къ нему одѣться, изумрудныя серьги надѣла, и тащу со стѣны изъ-подъ простыни самое любимое его голубое моревое платье съ кружевомъ, лифъ безъ горлышка... Спѣшу, одѣваю, а сзади спинка не сходится... я эту

Digitized by Google

спинку и не застегнула, а такъ, поскорѣе, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и къ нему на крыльцо выскочила... вся дрожу, и себя не помню какъ крикнула:

— Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый! — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота съ нею сдѣлалась.

— А прочудилась я, говоритъ,—у себя въ горницѣ... на диванѣ лежу и все вспоминаю: во снѣ, или наяву я его обнимала; но только была, говоритъ, со мною ужасная слабость и долго она его не видала... Все посылала за нимъ, а онъ не ишелъ.

Наконецъ, онъ приходитъ, а она и говоритъ:

— Что же ты меня совсѣмъ бросилъ—позабылъ?

А онъ говоритъ:

— У меня есть дѣла.

Она отвѣчаетъ:

— Какія, говоритъ,—такія дѣла? Отчего же ихъ прежде не было? Изумрудъ ты мой брильянтовой!—да и протягиваетъ опять руки, чтобы его обнять, а онъ наморщился и какъ дернетъ ее изо всей силы крестовымъ шнуркомъ за шею...

— На счастье, говоритъ, — мое, шелковый шнурочекъ у меня на шеѣ не крѣпокъ былъ, перезніялъ и перервался, потому что я давно на немъ ладанку носила, а то бы онъ мнѣ горло передушилъ; да я полагаю такъ, что онъ того именно и хотѣлъ, потому что даже весь побѣлѣлъ и шипитъ:

— Зачѣмъ ты такіе грязные шнурки носишь?

А я говорю:

— Что тебѣ до моего шнурка; онъ чистый былъ, а это на мнѣ съ тоски почернѣлъ отъ тяжелаго пота.

А онъ:

— Тьфу, тьфу, тьфу, заплевалъ, заплевалъ, и ушелъ, а передъ вечеромъ входитъ сердитый и говоритъ:

— Поѣдемъ въ коляскѣ кататься!—и притворился, будто ласковый и въ голову меня поцѣловалъ, а я, ничего не опасаясь, сѣла съ нимъ и поѣхала. Ѣхали мы долго и два раза лошадей перемѣняли, а куда ѣдемъ—никакъ не доспрошусь у него, но вижу настало мѣсто лѣсное и болотное, непригожее, дикое. И пріѣхали среди лѣса на какую-то пчельню, а за пчельнею—дворъ, и тутъ встрѣчаютъ насъ три молодыя здоровыя дѣвки-однодворки въ мареновыхъ

Digitized by Google

красныхъ юбкахъ и зовутъ меня «барыней». Какъ я изъ коляски выступила, онѣ меня подъ руки выхватили и прямо понесли въ комнату, совсѣмъ убранную.

Меня что-то сразу отъ всего этого, и особливо отъ этихъ однодворокъ, замутило и сердце мое сжалось.

— Что это,—спрашиваю его,—какая здѣсь станція?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это ты здѣсь теперь будешь жить.

Я стала плакать, руки его цѣловать, чтобы не бросалъ меня тутъ, а онъ и не пожалѣлъ: толкнулъ меня прочь и уѣхалъ...

Тутъ Грушенька умолкла и личико внизъ спустила, а потомъ вздыхаетъ и молвитъ:

— Уйти хотѣла; сто разъ порывалась—нельзя: тѣ дѣвки-однодворки стерегутъ и глазъ не спущаютъ... Томилась я, да, наконецъ, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотѣла. Онѣ меня гулять въ лѣсъ берутъ, да все за мной смотрятъ, а я смотрю по деревьямъ, по верхамъ вѣтвей да по кожурѣ примѣчаю—куда сторона на полдень, и вздумала, какъ мнѣ отъ этихъ дѣвокъ уйти, и вчера то исполнила. Вчера, послѣ обѣда, вышла я съ ними на полянку, да и говорю:

— Давайте, говорю, — ласковыя, въ жмурки по полянкѣ бѣгать.

Онѣ согласились.

— А на мѣсто глазъ, говорю, — станемъ другъ дружкѣ руки назадъ вязать, чтобы задомъ ловить.

Онѣ и на то согласны.

Такъ и стали. Я первой руки за спину крѣпко-накрѣпко завязала, а съ другою за кустъ забѣжала, да и эту тамъ спутала, а на ея крикъ третья бѣжитъ, я и третью у тѣхъ въ глазахъ силкомъ скрутила; онѣ кричатъ, а я, хоть тягостная, ударилась быстрѣй коня рѣзваго: все по лѣсу, да по лѣсу и бѣжала цѣлую ночь, и на утро упала у старыхъ бортей въ густой засѣкѣ. Тутъ подошелъ ко мнѣ старый старичокъ, говоритъ—неразборчиво шамкаетъ, а самъ весь въ воску и ото всего отъ него медомъ пахнетъ, и въ желтыхъ бровяхъ пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видѣть хочу, а онъ говоритъ:

— Кличь его, молодка, разъ подъ вѣтеръ, а разъ супротивъ вѣтра: онъ затоскуетъ и пойдетъ тебя искать,—вы и

Digitized by Google

встрѣтитесь. Далъ онъ мнѣ воды испить и медку на огурчикѣ подкрѣпиться. Я воды испила и огурчикъ съѣла и опять пошла, и все тебя звала, какъ онъ велѣлъ, то по вѣтру, то противъ вѣтра—вотъ и встрѣтились. Спасибо!—и обняла меня и поцѣловала, и говоритъ:—ты мнѣ все равно, что милый братъ.

Я говорю:

— И ты мнѣ все равно, что сестра милая, а у самого отъ чувства слезы пошли.

А она плачетъ и говоритъ:

— Знаю я, Иванъ Северьянычъ, все знаю и разумѣю; одинъ ты и любилъ меня, милъ-сердечный другъ мой, ласковый. Докажи же мнѣ теперь твою послѣднюю любовь, сдѣлай, что̀ я попрошу тебя въ этотъ страшный часъ.

— Говори,—отвѣчаю:—что тебѣ хочется?

— Нѣтъ, ты,—говоритъ:—прежде поклянись чѣмъ страшнѣе въ свѣтѣ есть, что сдѣлаешь о чемъ просить стану.

Я ей своимъ спасеньемъ души поклялся, а она говоритъ:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нѣтъ, ты,—говоритъ:—страшнѣй поклянись.

— Ну, уже я, молъ, страшнѣе этого ничего не могу придумать.

— Ну, такъ я же,—говоритъ:—за тебя придумала, а ты за мной поспѣшай, говори, и не раздумывай.

Я сдуру пообѣщался, а она говоритъ:

— Ты мою душу прокляни такъ, какъ свою клялъ, если меня не послушаешь.

— Хорошо,—говорю:—и взялъ да ея душу проклялъ.

— Ну, такъ послушай же,—говоритъ:—теперь же стань поскорѣе душѣ моей за спасителя; моихъ, — говоритъ: — больше силъ нѣтъ такъ жить да мучиться, видючи его измѣну и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его*, и *ее* порѣшу, а если ихъ пожалѣю, себя рѣшу, то навѣкъ убью свою душеньку... Пожалѣй меня, родной мой, мой миленый братъ: ударь меня разъ ножомъ противъ сердца.

Я отъ нея въ сторону, да крещу ее, а самъ пячуся, а она обвила ручками мои колѣни, а сама плачетъ, сама въ ноги кланяется и увѣщаетъ:

— Ты,—говоритъ:—поживешь; ты Богу отмолишь и за

Digitized by Google

мою душу, и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... Н... н... н... у...

Иванъ Северьянычъ страшно наморщилъ брови и, покусавъ усы, словно выдохнулъ изъ глубины расходившейся груди:

— Ножъ у меня изъ кармана достала... розняла... изъ ручки лезвее выправила... и въ руки мнѣ суетъ... А сама... стала такое несть, что терпѣть нельзя...

— Не убьешь,—говоритъ:—меня, я всѣмъ вамъ въ отместку стану самою стыдной женщиной.

Я весь задрожалъ и велѣлъ ей молиться, и колоть ее не сталъ, а взялъ, да такъ съ крутизны въ рѣку и спихнулъ...

Всѣ мы, выслушавъ это послѣднее признаніе Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его разсказа и хранили довольно долгое молчаніе, но, наконецъ, кто-то откашлянулся и молвилъ:

— Она утонула?

— Залилась,—отвѣчалъ Иванъ Северьяновичъ.

— А вы же какъ потомъ?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумѣется-съ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Я бѣжалъ оттоль, съ того мѣста, самъ себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался ужасно какой большой и длинный, и безстыжій, обнагощенный, а тѣло все черное и голова малая, какъ луновочка, а самъ весь обростенькій, въ волосахъ, и я догадался, что это если не Каинъ, то самъ губитель-бѣсъ, и все я отъ него убѣгалъ и звалъ къ себѣ ангела-хранителя. Опомнился же я гдѣ-то на большой дорогѣ, подъ ракиточкой. И такой это день былъ осенній, сухой, солнце свѣтитъ, а холодно, и вѣтеръ, и пыль несетъ, и желтый листъ крутитъ; а я не знаю, какой часъ, и что это за мѣсто, и куда та дорога ведетъ, и ничего у меня на душѣ нѣтъ, ни чувства, ни опредѣленія, что мнѣ дѣлать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее изъ ада выручить. А какъ это сдѣлать,— не знаю и объ этомъ тоскую, но только вдругъ меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка съ ракиты

Digitized by Google

пала и далеконько такъ покатилась, покатилася и вдругъ Груша идетъ, только маленькая, не больше какъ будто ей всего шесть, или семь лѣтъ, и за плечами у нея малыя крылышки; а чуть я ее увидалъ, она уже сейчасъ отъ меня какъ выстрѣлъ отлетѣла и только пыль да сухой листъ вслѣдъ за ней воскурились.

Думаю я: это непремѣнно ея душа за мной слѣдуетъ, вѣрно, она меня манитъ и путь мнѣ кажетъ. И пошелъ. Весь день я шелъ, самъ не знаю куда, и невмоготу усталъ, и вдругъ нагоняютъ меня люди, старичокъ со старушкою на телѣгѣ парою, и говорятъ:

— Садись, бѣдный человѣкъ, мы тебя подвеземъ.

Я сѣлъ. Они ѣдутъ и убиваются:

— Горе,—говорятъ:—у насъ: сына въ солдаты берутъ, а капиталу не имѣемъ, нанять не на что.

Я старичковъ пожалѣлъ и говорю:

— Я бы за васъ такъ, безъ платы, пошелъ, да у меня бумагъ нѣтъ.

А они говорятъ:

— Это пустяки: то уже наше дѣло; а ты только назовись, какъ нашъ сынъ, Петромъ Сердюковымъ.

— Что же,—отвѣчаю:—мнѣ все равно: я своему ангелу Ивану Предтечѣ буду молитвить, а называться я могу всячески, какъ вамъ угодно. Тѣмъ и покончили, и отвезли они меня въ другой городъ и сдали меня тамъ вмѣсто сына въ рекруты, и дали мнѣ на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обѣщались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что отъ нихъ взялъ, двадцать пять рублей, сейчасъ положилъ въ бѣдный монастырь вкладъ за Грушину душу, а самъ сталъ начальство просить, чтобы на Кавказъ меня опредѣлить, гдѣ я могу скорѣе за вѣру умереть. Такъ и сдѣлалось, и я пробылъ на Кавказѣ болѣе пятнадцати лѣтъ и никому не открывалъ ни настоящаго своего имени, ни званія, а все назывался Петръ Сердюковъ и только на Ивановъ день Богу за себя молилъ, черезъ Предтечу ангела. И позабылъ уже я самъ про все мое прежнее бытіе и званіе, и дослуживаю такимъ манеромъ послѣдній годъ, какъ вдругъ на самый на Ивановъ день были мы въ погонѣ за татарами, а тѣ напоскудили и ушли за рѣку Койсу. Тѣхъ Койсъ въ томъ мѣстѣ нѣсколько: которая течетъ по Андіи, такъ и зовется андійская, которая по Аваріи—зовется ава-

Digitized by Google

рійская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и всѣ онѣ сливаются и отъ сливу ихъ зачинается Сулакъ-рѣка. Но всѣ онѣ, и по себѣ сами, быстры и холодны, особливо андійская, за которую татарва ушли. Много мы ихъ тутъ безъ счету этихъ татаровъ побили, но кои переправились за Койсу—тѣ сѣли на томъ берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они въ насъ палятъ. Но палятъ съ такою сноровкою, что даромъ огня не тратятъ, а берегутъ зелье на вѣрный вредъ, потому что знаютъ, что у насъ снаряду не въ примѣръ больше ихняго, и такъ они намъ вредно чинятъ, что стоимъ мы всѣ у нихъ въ виду, они, шельмы, ни разу въ насъ и не пукнутъ. Полковникъ у насъ былъ отважной души и любилъ изъ себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй Богъ» говорилъ и своимъ примѣромъ отвагу давалъ. Такъ онъ тутъ сѣлъ на бережку, а ноги разулъ и по колѣни въ эту холоднищую воду опустилъ, а самъ хвалится:

— Помилуй Богъ, — говоритъ: — какъ вода тепла: все равно, что твое парное молочко въ доеночкѣ. Кто, благодѣтели, охотники на ту сторону переплыть и канатъ перетащить, чтобы мостъ навесть?

Сидитъ полковникъ и такимъ манеромъ съ нами растабарываетъ, а татары съ того бока два ствола ружей въ щель выставили, а не стрѣляютъ. Но только-что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, какъ сверкнетъ пламя, и оба тѣ солдатика въ Койсу такъ и нырнули. Потянули мы канатъ, пустили другую пару, а сами тѣ камни, гдѣ татары спрятавшись, какъ роемъ, пулями осыпаемъ, но ничего имъ повредить не можемъ, потому что пули наши въ камни бьютъ, а они, анаѳемы, какъ плюнутъ въ пловцовъ, такъ вода кровью замутилась, и опять тѣ два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, какъ татары и этихъ утопили. Тутъ уже за третьею парою и мало стало охотниковъ, потому что видимо всѣмъ, что это не война, а просто убійство, а наказать злодѣевъ надобно. Полковникъ и говоритъ:

— Слушайте, мои благодѣтели! Нѣтъ ли изъ васъ кого такого, который на душѣ смертный грѣхъ за собой знаетъ? Помилуй Богъ, какъ бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконіе смыть!

Digitized by Google

Я и подумалъ:

«Чего же мнѣ лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови Господи часъ мой!» и вышелъ, раздѣлся, «Отчу» прочиталъ, на всѣ стороны начальству и товарищамъ въ землю ударилъ и говорю въ себѣ: «ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» да съ тѣмъ взялъ въ ротъ тонкую бечеву, на которой другимъ концомъ былъ канатъ привязанъ, да, разбѣжавшись съ берегу, и юркнулъ въ воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже подъ мышками закололо и грудь мретъ, судорога ноги тянетъ, а я плыву... Поверхъ наши пули летятъ, а вокругъ меня татарскія въ воду шлепаютъ, а меня не касаются и я не знаю: раненъ я или не раненъ, но только достигъ берега... Тутъ татарамъ меня уже бить нельзя, потому что я какъ разъ подъ ущельемъ сталъ, и чтобы имъ стрѣлять въ меня, надо имъ изъ щели высунуться, а наши ихъ съ того берега пулями, какъ пескомъ, осыпаютъ. Вотъ я стою подъ камнями и тяну канатъ, и перетянулъ его, и мостокъ справили, и вдругъ наши сюда уже идутъ, а я все стою и, какъ самъ изъ себя изъятъ, ничего не понимаю, потому что думаю: видѣлъ ли кто-нибудь тò, чтò я видѣлъ? А я видѣлъ, когда плылъ, что надо мною Груша летѣла и была она какъ отроковица, примѣрно, въ шестнадцать лѣтъ и у нея крылья уже огромныя, свѣтлыя, черезъ всю рѣку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о томъ ни слова не говоритъ: ну, думаю, надо мнѣ самому это разсказать. Какъ меня полковникъ сталъ обнимать и самъ цѣлуетъ, а самъ хвалитъ:

— Ой, помилуй Богъ,—говоритъ:—какой ты, Петръ Сердюковъ, молодецъ!

А я отвѣчаю:

— Я, ваше высокоблагородіе, не молодецъ, а большой грѣшникъ и меня ни земля, ни вода принимать не хочетъ.

Онъ вопрошаетъ:

— Въ чемъ твой грѣхъ?

А я отвѣчаю:

— Я, говорю, на своемъ вѣку много неповинныхъ душъ погубилъ, да и разсказалъ ему ночью подъ палаткою все, чтò вамъ теперь сказывалъ.

Онъ слушалъ-слушалъ и задумался, и говоритъ:

Digitized by Google

— Помилуй Богъ, сколько ты одинъ перенесъ, а, главное, братецъ, какъ ты хочешь, а тебя надо въ офицеры произвесть. Я объ этомъ представленіе пошлю.

Я говорю:

— Какъ угодно, а только пошлите и туда узнать: не вѣрно ли я показываю, что я цыганку убилъ?

— Хорошо,—говоритъ:—и объ этомъ пошлю.

И послали, но только ходила-ходила бумага и назадъ пришла съ невѣрностью. Объяснено, что никогда, говорятъ, у насъ такого происшествія ни съ какою цыганкою не было, а Иванъ-де Северьяновъ хотя и былъ, и у князя служилъ, только онъ черезъ заочный выкупъ на волю вышелъ и опосля того у казенныхъ крестьянъ Сердюковыхъ въ домѣ померъ.

— Ну, что̀ тутъ мнѣ было больше дѣлать: чѣмъ свою вину доказывать?

А полковникъ говоритъ:

— Не смѣй, братецъ, больше на себя этого врать: это ты, какъ черезъ Койсу плылъ, такъ ты отъ холодной воды, да отъ страху въ умѣ немножко помѣшался, и я, говоритъ, очень за тебя радъ, что это все неправда, что ты наговорилъ на себя. Теперь офицеромъ будешь: это, братъ, помилуй Богъ, какъ хорошо.

Тутъ я даже и самъ мыслями растерялся: точно ли я спихнулъ Грушу въ воду, или это мнѣ тогда все отъ страшно̀й по ней тоски сильное воображеніе было?

И сдѣлали-съ меня за храбрость офицеромъ, но только какъ я все на своей истинѣ стоялъ, чтобы о̀ткрыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы отъ этого мнѣ больше безпокойства не имѣть, пустили меня съ Георгіемъ въ отставку.

— Поздравляемъ, говорятъ, — тебя, ты теперь благородный и можешь въ приказные идти; помилуй Богъ, какъ спокойно, и письмо мнѣ полковникъ къ одному большому лицу въ Петербургъ далъ: ступай, говоритъ, онъ твою карьеру и благополучіе совершитъ. Я съ этимъ письмомъ и добрался до Питера, но не посчастливило мнѣ насчетъ карьеры.

— Чѣмъ же?

— Долго очень безъ мѣста ходилъ, а потомъ на ѳиту попалъ, и оттого стало еще хуже.

— Какъ на *ѳиту?* что̀ это значитъ?

Digitized by Google

— Тотъ покровитель, къ которому я насчетъ карьеры былъ присланъ, въ адресный столъ справщикомъ опредѣлилъ, а тамъ у всякаго справщика своя буква есть, по какой кто справкѣ завѣдуетъ. Иныя буквы есть очень хорошія, какъ напримѣръ, буки, или покой, или како: много на нихъ фамиліевъ начинается и справщику есть доходъ, а меня поставили на ѳиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется и то еще изъ тѣхъ, кои по всѣмъ видамъ ей принадлежатъ, все отъ нея отлынивають и лукавятъ: кто чуть хочетъ благородиться, сейчасъ себя самовластно вмѣсто ѳиты черезъ фертъ ставитъ. Ищешь-ищешь его подъ ѳитою—только пропащая работа, а онъ подъ фертомъ себя проименовалъ. Никакой пользы нѣтъ, а сиди на службѣ; ну, я и вижу, что дѣло плохо, и сталъ опять наниматься, по старому обыкновенію, въ кучера, но никто не беретъ, говорятъ: ты благородный офицеръ, и военный орденъ имѣешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повѣситься, но я, благодаря Бога, и съ отчаянности до этого себя не допустилъ, а чтобы съ голоду не пропасть, взялъ да въ артисты пошелъ.

— Какимъ же вы были артистомъ?

— Роли представлялъ.

— На какомъ театрѣ?

— Въ балаганѣ на Адмиралтейской площади. Тамъ благородствомъ не гнушаются и всѣхъ принимаютъ: есть и изъ офицеровъ, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатскихъ очень много.

— И понравилась вамъ эта жизнь?

— Нѣтъ-съ.

— Чѣмъ же?

— Во-первыхъ, разучка вся и репетиціи идутъ на Страстной недѣлѣ или передъ масляницей, когда въ церкви поютъ: «покаянія отверзи ми двери», а во-вторыхъ, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображалъ.

— Чѣмъ же это особенно трудно?

— Какъ же-съ: въ двухъ перемѣнахъ танцовать надо, и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшитъ лохматой шкурой сѣдого козла вверхъ шерстью; и хвостъ долгій на проволокѣ, но онъ постоянно

Digitized by Google

промежъ ногъ путается, а рога на головѣ за что попало цѣпляются, а годы уже стали не прежніе, не молодые и легкости нѣтъ; а потомъ еще во все продолженіе представленія расписано меня бить. Ужасно какъ это докучаетъ. Палки этакія, положимъ, пустыя, изъ холстины сдѣланы, а въ срединѣ хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпѣть, что все по тебѣ хлопъ да хлопъ, а иные къ тому еще съ холоду, или для смѣху изловчаются и бьютъ довольно больно. Особенно изъ сенатскихъ приказныхъ, которые въ этомъ опытные и дружные: все за своихъ стоятъ, а которые попадутся военные, они тѣмъ ужасно докучаютъ, и все это продолжительно начнутъ бить передъ всей публикой съ полдня, какъ только полицейскій флагъ поднимается, и бьютъ до самой до ночи, и все, всякій, чтобы публику утѣшить, норовитъ громче хлопнуть. Ничего пріятнаго нѣтъ. А вдобавокъ ко всему со мною и здѣсь непріятное послѣдствіе вышло, послѣ котораго я долженъ былъ свою роль оставить.

— Что же это такое съ вами случилось?

— Принца одного я за вихоръ подралъ.

— Какъ принца?

— То-есть не настоящаго-съ, а театральнаго: онъ изъ сенатскихъ былъ, коллежскій секретарь, но у насъ принца представлялъ.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-съ его еще и не этакъ. Насмѣшникъ злой былъ и выдумщикъ и все надъ всѣми штуки выдумывалъ.

— И надъ вами?

— И надо мною-съ: много шутокъ строилъ; костюмъ мнѣ портилъ; въ грѣльнѣ, гдѣ мы, бывало, надъ угольями грѣлися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвостъ мнѣ къ рогамъ прицѣпитъ, или еще что глупое сдѣлаетъ на смѣхъ, а я не осмотрюсь, да такъ къ публикѣ выбѣгу, а хозяинъ сердится; но я за себя все ему спускалъ, а онъ вдругъ сталъ одну фею обижать. Молоденькая такая дѣвочка, изъ бѣдныхъ дворяночекъ, богиню Фортуну она у насъ изображала и этого принца отъ моихъ рукъ спасать должна была. И роль ея такая, что она вся въ одной блестящей тюли выходитъ и съ крыльями, а морозы большіе, и у нея, у бѣдной, ручонки совсѣмъ посинѣли, зашлись, а онъ ее допекаетъ, лѣзетъ къ ней, и когда мы втроемъ въ апоѳеозѣ

Digitized by Google

въ подполъ проваливаемся, за тѣло ее щипетъ. Мнѣ ее очень жаль стало: я его и оттрепалъ.

— И чѣмъ же это кончилось?

— Ничего; въ провалѣ свидѣтелей не было, кромѣ самой этой феи, а только наши сенатскіе всѣ взбунтовались и не захотѣли меня въ трупѣ имѣть; а какъ они первые тамъ представители, то хозяинъ для ихъ удовольствія меня согналъ.

— И куда же вы тогда дѣлись?

— Совсѣмъ безъ крова и безъ пищи, было, остался, но эта благодарная фея меня питала, но только мнѣ совѣстно стало, что ей, бѣдной, самой такъ трудно достается, и я все думалъ-думалъ, какъ этого положенія избавиться? На ниту не захотѣлъ ворочаться, да и къ тому на ней уже другой бѣдный человѣкъ сидѣлъ, мучился, такъ я взялъ и пошелъ въ монастырь.

— Отъ этого только?

— Да, вѣдь, что же дѣлать-съ? дѣться было некуда. А тутъ хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-съ; очень полюбилъ,—здѣсь покойно, все равно какъ въ полку, много сходственнаго, все тебѣ готовое и одѣтъ, и обутъ, и накормленъ, и начальство смотритъ, и повиновенія спрашиваетъ.

— А васъ это повиновеніе иногда не тяготитъ?

— Для чего же-съ? что больше повиноваться, то человѣку спокойнѣе жить, а особенно въ моемъ послушаніи и обижаться нечѣмъ: къ службамъ я въ церковь не хожу иначе, какъ развѣ самъ пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажутъ: «запрягай, отецъ Измаилъ» (меня теперь Измаиломъ зовутъ), —я запрягу; а скажутъ: «отецъ Измаилъ, отпрягай»—я откладываю.

— Позвольте,—говоримъ,—такъ это что же такое, выходитъ вы и въ монастырѣ остались... при лошадяхъ?

— Постоянно-съ въ кучерахъ. Въ монастырѣ этого моего званія офицерскаго не опасаются, потому что я хотя и въ маломъ еще постригѣ, а все же монахъ и со всѣми сравненъ.

— А скоро же вы примете старшій постригъ?

— Я его не приму-съ.

— Это почему?

— Такъ... достойнымъ себя не почитаю.

Digitized by Google

— Это все за старые грѣхи или заблужденія?

— Д-д-а-съ; да и вообще зачѣмъ? я своимъ послушаніемъ очень доволенъ и живу въ спокойствіи.

— А вы разсказывали кому-нибудь прежде всю свою исторію, которую теперь намъ разсказали?

— Какъ же-съ; не разъ говорилъ; да что же, когда справокъ нѣтъ... не вѣрятъ, такъ и въ монастырь свѣтскую ложь занесъ, и здѣсь изъ благородныхъ числюсь. Да уже все равно доживать: старъ становлюсь.

Исторія очарованнаго странника, очевидно, приходила къ концу, оставалось полюбопытствовать только объ одномъ: какъ ему повелось въ монастырѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Такъ какъ нашъ странникъ доплылъ въ своемъ разсказѣ до послѣдней житейской пристани,—до монастыря, къ которому онъ, по глубокой вѣрѣ его, былъ отъ рожденія предназначенъ, и такъ какъ ему здѣсь, казалось, все столь благопріятствовало, то приходилось думать, что тутъ Иванъ Северьяновичъ болѣе уже ни на какія напасти не натыкался; однакоже, вышло совсѣмъ иное. Одинъ изъ нашихъ сопутниковъ вспомнилъ, что иноки, по всѣмъ о нихъ сказаніямъ, постоянно очень много страдаютъ отъ бѣса, и вопросилъ:

— А скажите, пожалуйста, бѣсъ васъ въ монастырѣ не искушалъ? вѣдь, онъ, говорятъ, постоянно монаховъ искушаетъ?

Иванъ Северьяновичъ бросилъ изъ-подъ бровей спокойный взглядъ на говорящаго и отвѣчалъ:

— Какъ же не искушать? Разумѣется, если самъ Павелъ апостолъ отъ него не ушелъ и въ посланіи пишетъ, что «ангелъ сатанинъ былъ данъ ему въ плоть», то могъ ли я, грѣшный и слабый человѣкъ, не претерпѣть его мучительства.

— Что же вы отъ него терпѣли?

— Многое-съ.

— Въ какомъ же родѣ?

— Все разныя пакости, а сначала, пока я его не пересилилъ, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого бѣса, тоже пересилили?

— А то какъ же иначе-съ? вѣдь, это уже въ монастырѣ

Digitized by Google

такое призваніе, но я бы этого, по совѣсти скажу, самъ не сумѣлъ, а меня тому одинъ совершенный старецъ научилъ, потому что онъ былъ опытный и могъ отъ всякаго искушенія пользовать. Какъ я ему открылся, что мнѣ все Груша столь живо является, что вотъ словно ею одною вокругъ меня весь воздухъ дышитъ, то онъ сейчасъ кинулъ въ умѣ и говоритъ:

— У Якова апостола сказано: «противустаньте дьяволу и побѣжитъ отъ васъ», и ты, говоритъ, противустань. И тутъ наставилъ меня такъ дѣлать, что ты, говоритъ, какъ если почувствуешь сердцеразжиженіе, и ее вспомнишь, то и разумѣй, что это значитъ къ тебѣ приступаетъ ангелъ сатанинъ, и ты тогда сейчасъ простирайся противу его на подвигъ: перво-наперво стань на колѣни. Колѣни у человѣка, говоритъ, первый инструментъ: какъ на нихъ падешь, душа сейчасъ такъ и порхнетъ вверхъ, а ты тутъ, въ семъ возвышеніи, и бей поклоновъ земныхъ елико мощно, до изнеможенія, и изнуряй себя постомъ, чтобы заморить, и дьяволъ, какъ увидитъ твое протягновеніе на подвигъ, ни за что этого не стерпитъ и сейчасъ отбѣжитъ, потому что онъ опасается, какъ бы такого человѣка своими кознями еще прямѣе ко Христу не привести, и помыслитъ: «лучше его оставить и не искушать, авось-де онъ скорѣе забудется». Я сталъ такъ дѣлать и, дѣйствительно, все прошло.

— Долго же вы себя этакъ мучили, пока отъ васъ ангелъ сатаны отступалъ?

— Долго-съ; и все однимъ изморомъ его, врага этакого, бралъ, потому что онъ другого ничего не боится: вначалѣ я и до тысячи поклоновъ ударялъ и дня по четыре ничего не вкушалъ и воды не пилъ, а потомъ *онъ* понялъ, что ему со мною спорить не ровно и оробѣлъ, и слабъ сталъ: чуть увидитъ, что я горшочекъ пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, онъ уже понимаетъ, что я не шучу и опять простираюсь на подвигъ, и убѣжитъ. Ужасно, вѣдь, какъ онъ боится, чтобы человѣка къ отрадѣ упованія не привести.

— Однакоже, положимъ... *онъ*-то... Это такъ: вы его преодолѣли, но, вѣдь, сколько же и сами вы отъ него перетерпѣли?

— Ничего-съ; что же такое, я, вѣдь, угнеталъ гнетущаго, а себѣ никакого стѣсненія не дѣлалъ.

— И теперь вы уже совсѣмъ отъ него избавились?

Digitized by Google

— Совершенно-съ.

— И онъ вамъ вовсе не является?

— Въ соблазнительномъ женскомъ образѣ никогда-съ больше не приходитъ, а если порою еще иногда покажется гдѣ-нибудь въ уголкѣ въ кельѣ, но уже въ самомъ жалостномъ видѣ: визжитъ, какъ будто поросеночекъ издыхаетъ. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только разъ перекрещу и положу поклонъ, онъ и перестанетъ хрюкать.

— Ну, и слава Богу, что вы со всѣмъ этимъ такъ справились.

— Да-съ; я соблазны большого бѣса осилилъ, но доложу вамъ,—хоть это противъ правила,—а мнѣ мелкихъ бѣсенятъ пакости больше этого надокучили.

— А бѣсенята развѣ къ вамъ тоже приставали?

— Какъ же-съ; положимъ, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лѣзутъ...

— Что же такое они вамъ дѣлаютъ?

— Да, вѣдь, ребятишки, и притомъ ихъ тамъ, въ аду, очень много, а дѣла имъ при готовыхъ харчахъ никакого нѣтъ, вотъ они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чѣмъ человѣкъ хочетъ быть въ своемъ званіи солиднѣе, тѣмъ они ему больше досаждаютъ.

— Что же такое они, напримѣръ... чѣмъ могутъ досаждать?

— Подставятъ, напримѣръ, вамъ что-нибудь такое, или подсунутъ, а опрокинешь, или расшибешь и кого-нибудь тѣмъ смутишь и разгнѣваешь, а имъ это первое удовольствіе, весело: въ ладоши хлопаютъ и бѣжатъ къ своему старшому: дескать, и мы «смутили, дай намъ теперь за то грошикъ». Вѣдь, вотъ изъ чего бьются... Дѣти.

— Чѣмъ же именно имъ, напримѣръ, удавалось васъ смутить?

— Да вотъ, напримѣръ, у насъ такой случай былъ, что одинъ жидъ въ лѣсу около монастыря удавился и стали всѣ послушники говорить, что это Іуда, и что онъ ночами по обители ходитъ и вздыхаетъ и многіе были о томъ свидѣтели. А я объ немъ и не сокрушался, потому что думалъ: развѣ мало у насъ, что ли, жидовъ осталось; но только разъ ночью сплю въ конюшнѣ и вдругъ слышу кто-то подошелъ и морду въ дверь черезъ поперечную перекладину всунулъ и вздыхаетъ. Я сотворилъ молитву,—нѣтъ, все-таки

Digitized by Google

стоитъ. Я перекрестилъ: все стоитъ и опять вздохнулъ. Ну, что, молъ, я тебѣ сдѣлаю: молиться мнѣ за тебя нельзя, потому что ты жидъ, да хоть бы и не жидъ, такъ я благодати не имѣю за самоубійцъ молить, а пошелъ ты отъ меня прочь въ лѣсъ, или въ пустыню. Положилъ на него этакое заклятіе, онъ и отошелъ, а я опять заснулъ, но на другую ночь онъ, мерзавецъ, опять приходитъ и опять вздыхаетъ... мѣшаетъ спать, да и все тутъ. Какъ ни терпѣлъ, просто силъ нѣтъ! тьфу ты, невѣжа, думаю, мало ему въ лѣсу, или на паперти мѣста, чтобы еще непремѣнно сюда въ конюшню ко мнѣ ломиться? Ну, нечего дѣлать, видно, надо противъ тебя хорошее средство изобрѣтать: взялъ и на другой день на двери чистымъ углемъ большой крестъ написалъ, и какъ пришла ночь, я и легъ спокойно, думаю себѣ: ужъ теперь не придетъ, да только-что съ этимъ заснулъ, а онъ и вотъ онъ, опять стоитъ и опять вздыхаетъ! Тьфу ты, каторжный, ничего съ нимъ не подѣлаешь! Всю какъ есть эту ночь онъ меня этакъ пугалъ, а утромъ, чуть ударили въ первый колоколъ къ заутренѣ, я поскорѣе вскочилъ и бѣгу, чтобъ пожаловаться настоятелю, а меня встрѣчаетъ звонарь, братъ Діомидъ, и говоритъ:

— Чего ты такой пужаный?

Я говорю:

— Такъ и такъ, такое мнѣ во всю ночь было безпокойство и я иду къ настоятелю.

А братъ Діомидъ отвѣчаетъ:

— Брось, говоритъ,—и не ходи, настоятель вчера себѣ въ носъ піявку ставилъ и теперь *пресердитый* и ничего тебѣ въ этомъ дѣлѣ не поможетъ, а я тебѣ, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать.

Я говорю:

— А мнѣ совершенно все равно: только, сдѣлай милость, помоги,—я тебѣ за это старыя теплыя рукавицы подарю, тебѣ въ нихъ зимою звонить будетъ очень способно.

— Ладно,—отвѣчаетъ.

И я ему рукавицы далъ, а онъ мнѣ съ колокольни старую церковную дверь принесъ, на коей Петръ апостолъ написанъ и въ рукѣ у него ключи отъ царства небеснаго.

— Вотъ это-то, говоритъ,—и самое важное есть *ключи*: ты этою дверью только заставься, такъ уже черезъ нее никто не пройдетъ.

Digitized by Google

Я ему мало въ ноги отъ радости не поклонился и думаю: чѣмъ мнѣ этою дверью заставляться, да потомъ ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мнѣ всегда была огражденіемъ, и взялъ и учинилъ ее на самыхъ надежныхъ плотныхъ петляхъ, а для безопаски еще къ ней самый тяжелый блокъ приспастилъ изъ булыжнаго камня и все это исправилъ въ тишинѣ въ одинъ день до вечера и, какъ пришла ночная пора, легъ въ свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу—опять дышитъ! просто ушамъ своимъ не вѣрю, что это можно, анъ нѣтъ: дышитъ да и только! да еще мало этого, что дышитъ, а преть дверь... При старой двери у меня изнутри замокъ былъ, а въ этой, какъ я болѣе на святость ея располагался, замка не приладилъ, потому что и времени не было, то онъ ее такъ и пихаетъ, и все разъ отъ разу смѣлѣе, и, наконецъ, вижу, какъ будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блокѣ и его какъ свистнетъ со всей силы назадъ... А онъ отскочилъ, видно, почесался, да мало обождавши, еще смѣлѣе и опять морда, а блокъ ее еще жёстче щелкъ... Больно, должно-быть, ему показалось, и онъ усмирѣлъ и больше не лѣзетъ: я и опять заснулъ, но только прошло мало времени, а онъ, гляжу, подлецъ, опять за свое взялся, да еще съ новымъ искусствомъ. Уже нѣтъ того, чтобы бодать и прямо лѣзть, а полегонечку рогами дверь отодвинулъ и какъ я былъ съ головою полушубкомъ закрытъ, такъ онъ вдругъ дерзко полушубокъ съ меня долой сорвалъ, да какъ лизнетъ меня въ ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпѣлъ: спустилъ руку подъ кровать и схватилъ топоръ, да какъ тресну его, слышу—замычалъ и такъ и бякнулъ на мѣстѣ. Ну, думаю, такъ тебѣ и надо, а вмѣсто того, утромъ, гляжу никакого жида нѣтъ, а это они, подлецы, эти бѣсенята, мнѣ вмѣсто его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Такъ и прорубилъ топоромъ-съ! Смущеніе ужасное было въ монастырѣ.

— И вы, чай, непріятности какія-нибудь за это имѣли?

— Получилъ-съ; отецъ игуменъ сказали, что это все оттого мнѣ представилось, что я въ церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись съ лошадьми, всегда напереди у рѣшетки для возжиганія свѣчъ стоялъ, а они

Digitized by Google

тутъ, эти пакостные бѣсенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самаго на Мокраго Спаса, на всенощной, во время благословенія хлѣбовъ, какъ надо по чину, отецъ игуменъ и іеромонахъ стоятъ посреди храма, а одна богомолочка старенькая подаетъ мнѣ свѣчечку и говоритъ:

— Поставь, батюшка, празднику.

Я подошелъ къ аналою, гдѣ положена икона «Спасъ на Водахъ», и сталъ эту свѣчечку лѣпить, да другую уронилъ. Нагнулся, эту поднялъ, сталъ прилѣпливать,—двѣ уронилъ. Сталъ ихъ вправлять, анъ, гляжу—четыре уронилъ. Я только головой качнулъ, ну, думаю, это опять непремѣнно мнѣ пострѣлята досаждаютъ и изъ рукъ рвутъ... Нагнулся и поспѣшно съ упавшими свѣчами поднимаюсь, да какъ затылкомъ махну подъ низъ объ подсвѣчникъ... а свѣчи такъ и посыпались; ну, тутъ я разсердился да взялъ и всѣ остальныя свѣчи рукой посбивалъ.—Что же, думаю, если этакая наглость пошла, такъ лучше же я самъ поскорѣе все это опрокину.

— И что же съ вами за это было?

— Подъ судъ меня за это хотѣли было отдать, да схимникъ, слѣпенькій старецъ Сысой, въ земляномъ затворѣ у насъ живетъ, такъ онъ за меня заступился.

— За что, говоритъ,—вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили.

Отецъ игуменъ его послушались и благословили меня безъ суда въ пустой погребъ опустить.

— Надолго же васъ въ погребъ посадили?

— А отецъ игуменъ не благословили насколько именно времени, а такъ сказали только, что «посадить», я все лѣто до самыхъ до заморозковъ тутъ и сидѣлъ.

— Вѣдь это, надо полагать, скука и мученіе въ погребѣ, не хуже тѣмъ въ степи?

— Ну, нѣтъ-съ: какъ же можно сравнить? здѣсь и церковный звонъ слышно, и товарищи навѣщали. Придутъ, сверху надъ ямой станутъ и поговоримъ, а отецъ казначей жёрновъ мнѣ на веревкѣ велѣли спустить, чтобы я соль для поварни мололъ. Какое же сравненіе со степью или съ другимъ мѣстомъ.

— А потомъ когда же васъ вынули? вѣрно, при морозахъ, потому что холодно стало?

Digitized by Google

— Нѣтъ-съ, это не потому, совсѣмъ не для холода, а для другой причины, такъ какъ я сталъ пророчествовать.

— Пророчествовать?

— Да-съ; я въ погребу, наконецъ, въ раздумье впалъ, что какой у меня самоничтожный духъ и сколько я черезъ него претерпѣваю, а ничего не усовершаюсь, и послалъ я одного послушника къ оному учительному старцу спросить: можно ли мнѣ у Бога просить, чтобы другой болѣе соотвѣтственный духъ получить? А старецъ наказалъ мнѣ сказать, что «пусть, говоритъ, помолится, какъ должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидаетъ».

Я такъ и сдѣлалъ: три ночи все на этомъ инструментѣ на колѣняхъ стоялъ въ своей ямѣ, а духомъ на небо молился и сталъ ожидать себѣ иного въ душѣ совершенія. А у насъ другой инокъ Геронтій былъ, этотъ былъ очень начитанный и разныя книги и газеты держалъ и далъ онъ мнѣ одинъ разъ читать житіе преподобнаго Тихона Задонскаго, и когда, случалось, мимо моей ямы идетъ, всегда, бывало, возьметъ, да мнѣ изъ-подъ ряски газету кинетъ.

— Читай,—говоритъ:—и усматривай полезное: во рву это тебѣ будетъ развлеченіе.

Я, въ ожиданіи невозможнаго исполненія моей молитвы, сталъ покамѣстъ этимъ чтеніемъ заниматься: какъ всю соль, что мнѣ на урокъ назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начиталъ я сначала у преподобнаго Тихона, какъ посѣтили его въ келіи Пресвятая Владычица и святые апостолы Петръ и Павелъ. Писано, что угодникъ Божій Тихонъ сталъ тогда просить Богородицу о продленіи мира на землѣ, а апостолъ Павелъ ему громко отвѣтилъ знаменіе, когда не станетъ мира, такими словами: «егда, говоритъ,—всѣ рекутъ миръ и утвержденіе, тогда нападаетъ на нихъ внезапу всегубительство». И сталъ я надъ этими апостольскими словами долго думать и все вначалѣ никакъ этого не могъ понять: къ чему было святому отъ апостола въ такихъ словахъ откровеніе? Наконецъ того начитываю въ газетахъ, что постоянно и у насъ, и въ чужихъ краяхъ неумолчными усты вездѣ утверждается повсемѣстный миръ. И тутъ-то исполнилось мое прошеніе и сталъ я вдругъ понимать, что сближается реченное: «егда рекутъ миръ, нападаетъ внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народъ свой русскій и началъ молиться и всѣхъ дру-

гихъ, кто ко мнѣ къ ямѣ придетъ, сталъ со слезами увѣщевать: молитесь, молъ, о покореніи подъ нозѣ Царя нашего всякаго врага и супостата, ибо близь есть намъ всегубительство. И даны были мнѣ слезы, дивно обильныя!.. все я о родинѣ плакалъ. Отцу игумену и доложили, что, говорятъ,—нашъ Измаилъ въ погребѣ сталъ очень плакать и войну пророчествовать. Отецъ игуменъ и благословили меня за это въ пустую избу на огородъ перевесть и поставить мнѣ образъ, «*Благое Молчаніе*» пишется, Спасъ съ крылами тихими, въ видѣ ангела, но въ Саваоѳовыхъ чинахъ за мѣсто вѣнца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мнѣ было, чтобы я передъ этимъ образомъ всякій день поклоны клалъ, пока во мнѣ провѣщающій духъ умолкнетъ. Такъ меня съ этимъ образомъ и заперли, и я такъ до весны взаперти тамъ и пребывалъ въ этой избѣ, и все «*Благому Молчанію*» молился, но чуть человѣка увижу, опять во мнѣ духъ поднимается и я говорю. На ту пору игуменъ лѣкаря ко мнѣ прислали посмотрѣть: въ разсудкѣ я не поврежденъ ли? Лѣкарь со мною долго въ избѣ сидѣлъ, вотъ этакъ же, подобно вамъ, всю мою повѣсть слушалъ и плюнулъ:

— Экій,—говоритъ:—ты, братецъ, барабанъ: били тебя, били, и все никакъ еще не добьютъ.

Я говорю:

— Что же дѣлать? вѣрно, такъ нужно.

А онъ, все выслушавши, игумену сказалъ:

— Я,—говоритъ:—его не могу разобрать, что онъ такое: такъ просто, добрякъ, или помѣшался, или взаправду предсказатель. Это,—говоритъ,—по вашей части, а я въ этомъ не свѣдущъ, мнѣніе же мое такое: прогоните,—говоритъ:—его куда-нибудь подальше пробѣгаться, можетъ-быть, онъ засидѣлся на мѣстѣ.

Вотъ меня и отпустили, и я теперь на богомоленіе въ Соловки къ Зосиму и Савватію благословился и пробираюсь. Вездѣ былъ, а ихъ не видалъ и хочу имъ передъ смертью поклониться.

— Отчего же «передъ смертью»? Развѣ вы больны?

— Нѣтъ-съ, не боленъ; а все по тому же случаю, что скоро надо будетъ воевать.

— Позвольте: какъ же это вы опять про войну говорите?

— Да-съ.

Digitized by Google

— Стало-быть, вамъ «*Благое Молчаніе*» не помогло?

— Не могу знать-съ: усиливаюсь, молчу, а духъ одолѣваетъ.

— Что же онъ?

— Все свое внушаетъ: «ополчайся».

— Развѣ вы и сами собираетесь идти воевать?

— А какъ же-съ? Непремѣнно-съ: мнѣ за народъ очень помереть хочется.

— Какъ же вы: въ клобукѣ и въ рясѣ пойдете воевать?

— Нѣтъ-съ; я тогда клобучокъ сниму, а амуничку надѣну.

Проговоривъ это, очарованный странникъ какъ бы вновь ощутилъ на себѣ наитіе вѣщательнаго духа и впалъ въ тихую сосредоточенность, которой никто изъ собесѣдниковъ не позволилъ себѣ прервать ни однимъ новымъ вопросомъ. Да и о чемъ было его еще больше разспрашивать? повѣствованія своего минувшаго онъ исповѣдалъ со всею откровенностью своей простой души, а провѣщанія его остаются до времени въ рукѣ Сокрывающаго судьбы свои отъ умныхъ и разумныхъ, и только иногда открывающаго ихъ младенцамъ.

Digitized by Google

ШЕРАМУРЪ.

(Чрева-ради юродивый.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

По нѣкоторымъ, достаточно важнымъ причинамъ выставленная кличка должна замѣнять собственное имя моего героя—если только онъ годится куда-нибудь въ герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно въ самомъ началѣ разсказа, то я сказалъ бы, что Шерамуръ есть *герой брюха*, въ самомъ тѣсномъ смыслѣ, какой только можно соединить съ этимъ выраженіемъ. Но все равно: я долженъ это сказать, потому что свойство матеріи лишаетъ меня возможности быть очень разборчивымъ въ выраженіяхъ,—иначе я ничего не выражу. Герой мой—личность узкая и однообразная, а эпопея его—бѣдная и утомительная, но, тѣмъ не менѣе, я рискую ее разсказывать.

Итакъ, Шерамуръ—*герой брюха;* его девизъ—*жрать*, его идеалъ—*кормить другихъ;* въ этомъ настроеніи онъ имѣлъ похожденія, достойныя нѣкотораго вниманія. Я опишу кое-что изъ нихъ въ короткихъ отрывкахъ: это единственная форма, въ которой можно передать что-нибудь о лицѣ, не имѣвшемъ никакой послѣдовательности и не укладывающемся ни въ какую форму.

Начинаю съ того самаго случая, какъ онъ показался первому человѣку, который обнаружилъ въ немъ нѣчто достойное наблюденія.

Лѣтомъ 187* года, въ Парижъ прибылъ изъ Петербурга литературный Nemo. Онъ поселился въ небольшой комнаткѣ,

противъ рѣшетки Люксембургскаго сада, и жилъ тутъ тихо и смирно нѣсколько дней, какъ вдругъ однажды входитъ къ нему консьержъ и говоритъ, что пришелъ «нѣкто» и требуетъ, чтобы monsieur вышелъ къ нему—на лѣстницу.

Nemo имѣлъ основаніе не любить таинственности, и съ неудовольствіемъ спросилъ:

— Кто это такой и что ему нужно?

— Я думаю, это нѣкто изъ вашихъ,—отвѣчалъ французъ.

— Это мужчина или женщина?

— Во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что *это* скорѣе мужчина.

— Такъ попросите его сюда.

— Да, но мнѣ кажется, что ему неудобно войти.

— Развѣ онъ пьянъ?

— Нѣтъ; онъ... раздѣтъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

На узенькой, спиральной лѣстницѣ, съ крошечнымъ окномъ въ безвоздушный каналъ, образовываемый тремя сходящимися острымъ угломъ стѣнами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось въ глаза Nemo, были полудѣтскія плечи и курчавая голова съ длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати или четырнадцати-лѣтній мальчикъ, но чуть онъ оборотился, видъ измѣняется: передъ вами, прежде всего, два яркіе, черные глаза, которые горятъ дикимъ, какъ бы голоднымъ огнемъ, и черная борода замѣчательной величины и расположенія. Она заросла по всему лицу, почти подъ самые глаза, и внизъ закрываетъ грудь до пояса. Такую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вѣроятно ради особенности его мадьярскаго происхожденія и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «отъ неистовой страсти».

Nemo подошелъ къ незнакомцу и спросилъ:

— Съ кѣмъ я имѣю честь...

— Никакой нѣтъ чести, — отвѣчалъ незнакомецъ не натуральнымъ, а искусственнымъ баскомъ, какъ во время оно считали обязанностью хорошаго тона говорить кадеты вы-

пускного класса. Nemo понималъ нѣкоторый толкъ въ людяхъ и самъ перемѣнилъ манеру.

— Что же вамъ надо?—спросилъ онъ гостя.

— Имѣю дѣло.

— Такъ войдите въ комнату.

— У васъ нѣтъ никого?

— Никого.

— Могу.

И незнакомецъ пошелъ за хозяиномъ важно и неспѣшно, переставляя свои коротенькія ножки, а когда взошелъ, то сѣлъ и, не снимая шляпы, сейчасъ же спросилъ:

— Нѣтъ ли у васъ работы?

— Работы!

— Да, нѣтъ ли у васъ какой работы?

— Да какая же у меня работа?

— Развѣ я знаю какая?

— Вы мастеровой?

— Нѣтъ, не мастеровой, а мнѣ говорили, что вы романы пишете.

— Это правда.

— Такъ я—переписывать.

— Но теперь я ничего не пишу.

— Вотъ какъ! Значитъ — сыты. Онъ всталъ и, немного насупясь, добавилъ:

— А деньги есть у васъ?

Хозяинъ невольно посторонился и спросилъ:

— Что это значитъ?

— Значитъ, что я три дня не жралъ.

— Сколько же вамъ нужно?

— Мнѣ нужно много, но я у васъ хочу взять два франка.

— Извольте.

Туристъ опустилъ руку въ портмонэ и подалъ своему гостю пятифранковую монету.

— Здѣсь больше,—сказалъ тотъ.

— Это все равно.

— Да, разумѣется,—вы сдачи получите.

Съ этимъ онъ завернулся и вышелъ тѣмъ же ровнымъ шагомъ, съ тою же неизмѣнною важностью. Во время разговора можно было видѣть, что у него не крѣпко держатся рейтузы и подъ блузою нѣтъ рубашки.

Digitized by Google

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Nemo разсказалъ исторію землякамъ: тѣ сразу узнали.

— Это,—говорятъ:—Шерамуръ.

— Кто онъ?

— Неизвѣстно.

— Во всякомъ случаѣ онъ русскій.

— О, да! русскій: у него какая-то таинственная исторія.

— Политическая?

— Кто его разберетъ! но, кажется, политическая.

— По какому дѣлу онъ сюда сбѣжалъ?

— Право не знаю, да и знаетъ ли онъ самъ объ этомъ,— сомнѣваюсь.

— Онъ не сумасшедшій?

— Развѣ съ точки зрѣнія доктора Крупова.

— И не плутъ?

— Нѣтъ, онъ по-своему даже очень честенъ: да вотъ вы сами въ этомъ убѣдитесь.

— Какимъ образомъ?

— Онъ занялъ у васъ денегъ?

— А вы почему такъ думаете?

— Если онъ приходилъ, значитъ или долгъ принесъ, или умираетъ съ голоду и въ долгъ проситъ.

— Я ему очень мало далъ.

— Все равно: онъ принесетъ.

— Я этого вовсе не требую.

— Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.

— Онъ не обидится?

— Нимало; онъ человѣкъ натуральный; только не ведите въ хорошее мѣсто: этого онъ терпѣть не можетъ, а куда-нибудь погрязнѣе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На другое утро спитъ Nemo и слышитъ:

— Проснитесь!

Тотъ открылъ глаза и увидалъ передъ собою Шерамура. Онъ былъ по-вчерашнему въ блузѣ безъ рубашки и въ бандитской шляпѣ. Только яркій, голодный блескъ черныхъ глазъ его немножко смягчился и въ нихъ даже какъ будто мелькало что-то похожее на нѣкоторый признакъ улыбки. Онъ протянулъ къ хозяину руку и проговорилъ:

Digitized by Google

— Получайте.

— Что это?

— Три франка сдачи.

— Присядьте,—я сейчасъ встану и мы пойдемъ вмѣстѣ завтракать.

Шерамуръ сѣлъ и, положивъ деньги на стулъ, проговорилъ:

— Могу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Они пили и ѣли именно такъ, какъ хотѣлъ того Шерамуръ, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному изъ закоулковъ Латинскаго квартала и пріютились въ грязненькомъ кабачкѣ дородной богатырскаго сложенія нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина въ Парижѣ, которую Шерамуръ зналъ по имени и при встрѣчахъ съ которою онъ кивалъ ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имѣла историческую репутацію высокой пробы. Если она не лгала, то она въ самомъ цвѣтѣ своей юности была предметомъ вниманія Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался Наполеономъ III, Grillade его презирала и жила, содержа грязненькую съѣстную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти,—это оставалось на совѣсти Танты, но Шерамуръ ей вѣрилъ: ему нравилось, что она презираетъ «такого барина». За это онъ ее уважалъ и доказывалъ ей свое уваженіе, передъ ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притомъ же она и ея темный закоулокъ составляли для Шерамура очень пріятное воспоминаніе. Здѣсь, въ этой трущобѣ, къ нему разъ спускалось небо на землю; здѣсь онъ испыталъ самое высокое удовольствіе, къ которому стремилась его душа: тутъ онъ, вѣчно голодный и холодный нищій, одинъ разъ давалъ пиръ,—такой пиръ, который можно было бы назвать «пиромъ Лазаря». Шерамуръ самыми удивительными путями получилъ по матери наслѣдство въ триста или четыреста франковъ и сдѣлалъ на нихъ «пиръ Лазаря».

Онъ отдалъ всѣ эти деньги Тантѣ и велѣлъ ей «считать», пока онъ проѣстъ.

Съ того же дня онъ ежедневно водилъ сюда по нѣсколько

Digitized by Google

voyou и всѣхъ питалъ до тѣхъ поръ, пока Танта подала ему счетъ, въ которомъ значилось, что *все съѣдено*.

Теперь онъ сюда же привелъ своего консоматера. Имъ подали скверныхъ котлетъ, сквернаго пюре и рагу изъ обрѣзковъ, да литръ кислаго вина. Шерамуръ ѣлъ все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого вниманія, пока отвалился и сказалъ:

— Буде!

Съ этого у Nemo и Шерамура завязалось знакомство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade, и съ каждымъ днемъ выводило наружу все новыя странности этого Каинова сына.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Nemo могъ опредѣлить, что Шерамуръ былъ чрезвычайно гордъ, потому что онъ былъ очень застѣнчивъ, но понятія о самой гордости у него были удивительныя. Такъ, напримѣръ, кормъ онъ принималъ отъ всякаго безъ малѣйшаго стѣсненія и безъ всякой благодарности. Кормить — это, по его мнѣнію, для каждаго было не только долгъ, но и удовольствіе. Въ томъ, что его кормятъ, онъ не только не усматривалъ никакого одолженія, но даже находилъ, что это мало. И дѣйствительно,—самъ онъ при тѣхъ же средствахъ сдѣлалъ бы гораздо больше. При тѣхъ же средствахъ онъ накормилъ бы нѣсколько человѣкъ. Жратва была пунктъ его помѣшательства: онъ о ней думалъ сытый и голодный, во всякое время,—во дни и въ нощи.

Приходитъ онъ, напримѣръ, и видитъ банку съ одеколономъ. Тотчасъ намѣчаетъ ее своимъ сверкающимъ взглядомъ и, показывая на нее пальцемъ, съ презрѣніемъ спрашиваетъ:

— Это что?

— Одеколонъ.

— Зачѣмъ нуженъ?

— Обтираюсь имъ.

— Гмъ! Обтираетесь. Развѣ прѣлое мѣсто есть?

— Нѣтъ; прѣлаго мѣста нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же такая низость!

— Кому же это вредно?

— Еще и спрашиваете: лучше бы сами пожрали, да другого накормили.

Digitized by Google

— Пойдемте,—накормлю.

— Что же одного-то кормить... сказали бы, такъ я бы еще человѣкъ пять позвалъ.

Другой разъ онъ застаетъ на комодѣ бѣлье, принесенное прачкою, и опять тычетъ пальцемъ:

— Чьи рубашки?

— Разумѣется, мои.

— Сколько тутъ?

— Кажется, четыре.

— Зачѣмъ столько?

— А по вашему сколько рубашекъ можно имѣть человѣку?

— Одну.

— И будто у васъ всего одна?

— Нѣтъ; у меня ни одной.

— Безъ шутокъ ни одной?

— Какія шутки, мы не такіе друзья, чтобы шутить шутки.

Съ этимъ онъ разстегнулъ блузу и показалъ нагое тѣло.

— Вотъ вамъ и шутки.

— Возьмите у меня рубашку.

— Могу.

Онъ взялъ поданную ему рубашку, пошелъ за занавѣсъ, а оттуда кричитъ:

— Ножъ!

— Вы не зарѣжетесь?

— Это не ваше дѣло.

— Какъ не мое дѣло! Я не хочу, чтобы вы здѣсь у меня напачкали кровью.

— Эка важность!

— Нѣтъ, не рѣжьтесь у меня.

— Не зарѣжусь,—я нынче пожравши.

— На-те вамъ ножъ.

Послышался какой-то трескъ и что-то шлепнуло.

— Что это вы сдѣлали?

Онъ вмѣсто отвѣта выбросилъ отрѣзанныя отъ обоихъ рукавовъ манжеты и появился самъ въ блузѣ, изъ-подъ обшлаговъ которой торчали обрѣзки безпощадно оборванныхъ рукавовъ рубашки.

Этакъ ему казалось лучше, но тоже не надолго,—завтра онъ явился опять безъ рубашки и на вопросъ: гдѣ она?—отвѣчалъ:

Digitized by Google

— Скинулъ.

— Для какой надобности?

— У другого ничего не было.

Таковъ онъ былъ въ безконечномъ числѣ разныхъ проявленій, которыя каждаго въ состояніи были убѣдить въ его полнѣйшей неспособности ни къ какому дѣлу, а еще болѣе возбудить самое сильное недоразумѣніе насчетъ того: какое онъ могъ сдѣлать политическое преступленіе? А между тѣмъ это-то и было самое интересное. Но Шерамуръ на этотъ счетъ былъ столь кратокъ, что сказанія его казались невѣроятны. По его словамъ, вся его исторія была въ томъ, что онъ однажды «на дворъ просился».

Какъ и что? Это всякаго могло удивить, но онъ очень мало склоненъ былъ это пояснять.

— Бунтъ, — говоритъ: — былъ. Мы всѣ технологжцы въ институтъ пришли,—вороты заперты, не пущаютъ. Мы стали проситься на дворъ пустить,—пихать начали. Меня взяли.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ,—я ушелъ.

— Зачѣмъ?

— Да что же ждать—неизвѣстно бы куда засудили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомнительно, есть ли чего добиваться.

До сихъ поръ говорю съ чужихъ словъ—теперь перехожу къ личнымъ наблюденіямъ, которыя были счастливѣе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я о немъ въ мою послѣднюю поѣздку за границу наслышался еще по дорогѣ, — преимущественно въ Вѣнѣ и въ Прагѣ, гдѣ его знали, и онъ меня чрезвычайно заинтересовалъ. Много странныхъ разновидностей этихъ Каиновыхъ дѣтей встрѣчалъ я на своемъ вѣку, но такого экземпляра не видывалъ. И мнѣ захотѣлось съ нимъ познакомиться,—что было и кстати, такъ какъ я ѣхалъ съ литературною работою, для которой мнѣ былъ нуженъ переписчикъ. Шерамуръ же, говорятъ, исполнялъ эти занятія очень изрядно.

Его адреса никто не зналъ, но я взялъ адресъ Tante Grillade и онъ мнѣ помогъ. По письму, оставленному въ этомъ кабачкѣ, Шерамуръ ко мнѣ явился, совершенно такимъ, какимъ я его описалъ выше: маленькій, коренастый,

Digitized by Google

съ крошечнымъ носикомъ и огромной бородой Черномора.

Здѣсь, кстати замѣчу, что кличка Шерамуръ была не что иное, какъ испорченное на французскій ладъ Черноморъ, а происхожденіе этой клички имѣетъ свою причину, о которой будетъ упомянуто въ своемъ мѣстѣ.

Я не торопилъ Шерамура сближеніемъ, а просто далъ ему работу, и въ первый визитъ онъ со мною не говорилъ почти ни слова, а только кивалъ въ знакъ согласія, но, принеся черезъ три дня назадъ переписанную тетрадь, разговорился.

— Все ли вы,—спрашиваю:—разобрали въ моей рукописи—не трудно ли было?

— Ничего нѣтъ труднаго, а только одно трудно понять: зачѣмъ вы это пишете?

— Печатать буду.

— Очень нужно.

— Вамъ это не нравится?

— Не не нравится, а зачѣмъ всякую юрунду. (Онъ именно говорилъ юрунду).

— Добрые люди купятъ, прочтутъ, посмѣются и бросятъ.

— Ну, да; только и всего. Стòитъ того дѣло. Могли бы что-нибудь лучше написать.

— Да что лучше-то?—Не умѣю.

— Ну, да; не умѣете! Нѣтъ, вы, я вижу, не совсѣмъ глупый!

— Да не знаю,—говорю:—что же такое надо писать?

— Полезное что-нибудь.

— Напримѣръ?

— Я вѣдь не писатель,—что меня спрашивать. Если бы я былъ писатель,—я бы написалъ.

— Статью?

— Не знаю, можетъ-быть и статью.

— О чемъ?

— О томъ, чтобы всѣмъ было чтò жрать,—вотъ о чемъ.

— Какъ же это надо написать?

— Не знаю,—пишутъ.

— Гдѣ?

— Я не знаю; а пишутъ.

— Да все, говорю,—мало куда годится.

— Оттого, что не дописываютъ?

— А отчего не дописываютъ?

Digitized by Google

— А чортъ ихъ знаетъ.

— Ума мало, или смѣлости недостаетъ?

— Да я не знаю.

— Вы революціонеръ?

— Ну, вотъ еще! Жрать всѣмъ надо, вотъ революція. Въ революцію хорошо,—кто большого роста.

— Это почему?

— Потому что маленькаго никто не послушаетъ.

— А вотъ Наполеоны-то, — вѣдь они оба были небольшого роста, а ихъ слушались.

— Такъ это у французовъ; они на ростъ не глядятъ; а у насъ надо, чтобъ дылда былъ и ругаться умѣлъ.

— А вы развѣ этого не можете?

— Нѣтъ, не могу.

— А жрать?

Онъ улыбнулся, но только удивительно странно, сначала однимъ, а потомъ другимъ глазомъ, точно онъ не смѣлъ сразу обоими улыбнуться, и отвѣчалъ:

— Могу.

— Ну, идемте.

И онъ ходилъ со мною разъ и два и, наконецъ, за обычай взялъ со мною питаться и освоился до того, что разъ сказалъ:

— А я еще и другую штуку могу.

— Какую?

— Подвыть.

— Какъ же это?

— Здѣсь нельзя—страшно.

Я объ этомъ и позабылъ, но потомъ мы съ нимъ какъ-то пошли за городъ къ Нельи. Это былъ хорошій вечеръ; мы все бродили, бродили, сѣли на бережку ручья и незамѣтно осмеркли.

Онъ такъ же незамѣтно отъ меня отлучился, и гдѣ-то исчезъ. Я задумался и совсѣмъ про него позабылъ, но вдругъ вдрогнулъ и вскочилъ въ ужасномъ испугѣ, и было чего: въ самомъ недалекомъ отъ меня разстояніи громко и протяжно провылъ голодный волкъ... И прежде чѣмъ я могъ оправиться—онъ завылъ снова.

Надо было опомниться, что я всего въ двухъ шагахъ отъ Парижа, котораго грохотъ слышенъ и котораго огни

Digitized by Google

отражаются заревомъ, чтобы понять, какъ трудно было появиться здѣсь волку.

И пока я это сообразилъ, предо мною предсталъ Шерамуръ.

— Каково?—говоритъ.

— Это вы выли?

— Я. Разобрали, въ чемъ дѣло.

— Какое же дѣло?

— Слушайте.

И онъ опять сѣлъ на корточки, сложилъ у рта ладошки и завылъ: уаа-уаа-уаа.

— Разобрали?

— Нѣтъ; но вы, дѣйствительно, воете какъ настоящій волкъ.

— Еще бы! Мы, бывало, всѣ этакъ хоромъ воемъ.

— Кто, гдѣ?

— Техноложцы-то, въ Петербургѣ, когда топить нечѣмъ и жрать нечего. Завоемъ, — хозяйка испужается и дастъ дровъ и поплеванникъ—чтобы замолчали. Вѣдь это слова.

Онъ опять опустился на корточки и еще разъ завылъ, но гораздо протяжнѣе, и въ этотъ разъ въ этомъ воѣ я разобралъ слова:

Холодно, странничекъ, холодно;
Голодно, родименькій, голодно!

И мнѣ стало жутко и больно, а онъ сталъ разсказывать: какъ имъ бывало холодно и какъ голодно и какъ они, вымоливъ полѣно дровъ и «поплеванникъ», потомъ разогрѣвались, прыгая вокругъ пустой комнаты и напѣвая:

А лягушки по дорожкѣ
Скачутъ, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква-ква,
Ква-ква-ква-ква.

На него, кажется, дѣйствовала ночь, звѣзды и свобода открытаго пространства. Онъ былъ въ духѣ и въ какомъ-то порывѣ на откровенность. Я этимъ воспользовался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— Неужто вамъ, говорю, — когда вы такъ бѣдствовали, никто не помогалъ?

— А кто мнѣ станетъ помогать? со мною все бѣдняки жили;—всѣ втроемъ рѣдко жрали.

Digitized by Google

— Не всѣ же технологи или по-вашему «технолоджы» такъ бѣдны.

— Да, у кого есть отцы, — не бѣдны, разумѣется — имъ помогали.

— А вашъ отецъ?

— У меня отца не было,—только родитель.

— Какая же тутъ разница?

— Отецъ жалѣетъ, а родитель—родитъ и броситъ.

— Кто же былъ вашъ *родитель?*

— Мизантропъ.

— Чѣмъ онъ занимался?

— Дворянинъ,—развлекалъ свою ипохондрію.

— Ну, а мать, развѣ и она о васъ не заботилась?

— Чѣмъ ей заботиться? — она изъ крѣпостныхъ дѣвокъ была.

— Такъ вы, значитъ, изъ податного званія?

— Нѣтъ; изъ благороднаго, — мизантропъ ее за чиновника выдалъ.

— Вы все путаете.

— Ничего не путаю: родитель былъ одинъ, а отцомъ другой числился; мужъ материнъ въ казначействѣ служилъ.

— Да вы чью фамилію-то носите?

— Материнаго мужа.

— Ваша матушка вѣрно была очень красива.

— Ну вотъ... Разумѣется не такая, какъ я. А у него все равно были всякія: и красивыя, и некрасивыя, и всѣхъ замужъ выдавалъ.

— И приданое давалъ.

— Матери пятьсотъ рублей далъ, за чиновника, а которыхъ за своихъ—тѣмъ не давалъ.

— Значитъ, онъ вашу матушку больше другихъ любилъ.

— Время такое пришло: эманцыпація. Крѣпостные не захотѣли безъ награжденія. А онъ разсудилъ, что если съ награжденіемъ, такъ ужъ все равно за благороднаго. Чиновникъ и взялся.

— Выходитъ, вы все-таки счастливѣе другихъ.

— Не вижу, тѣ надѣлы получили, а я нѣтъ.

— А чиновникъ васъ не обижалъ, воспитывалъ?

— Мы у него не жили, онъ съ матерью очень дрался; она назадъ убѣжала.

— Къ мизантропу?

Digitized by Google

— Да; меня швырнула ему, а сама утопиться хотѣла. Онъ новаго суда побоялся и взялъ насъ.

— Тутъ вамъ хорошо было?

— Ничего не было хорошаго: меня къ акушеркѣ на воспитаніе въ городъ отдали.

— Это добрая была женщина?

— Шельма; сама все съ землемѣромъ кофей пила, а мнѣ жрать не давала. И землемѣръ очень билъ.

— Зачѣмъ?

— Такъ; напьется и бьетъ по головешкѣ. Я оттого и рости пересталъ, — до двѣнадцати лѣтъ совсѣмъ не росъ. Въ училище отдали: тамъ началъ жрать и сталъ подниматься. А пуще въ пасалтырѣ морили.

— Что это такое за «пасалтырь»?

— Чуланъ, — землемѣръ такъ называлъ. «Бросить, скажетъ, его въ пасалтырь» — меня и бросятъ, да и позабудутъ безъ корму. А тамъ еще тѣсно, все стѣна передъ носомъ. Я отъ этого пасалтыря и зрѣніе испортилъ, что все въ стѣнку смотрѣлъ. Въ училище привели — за два шага доски не видѣлъ.

— Вы въ какомъ были училищѣ?

— Въ гимназіи.

— Окончили курсъ?

— Нѣтъ; у меня отъ битья память глупая.

— А потомъ?

— Въ технологію.

— Что же тутъ больше учились или больше читали?

— Больше всего опять жрать было нечего, а иногда и читали.

— А что читали?

— Много,—не помню.

— Стихи или прозу?

— И стихи, и прозу.

— И ничего не помните?

— Одни стихи помню, потому что много списывалъ ихъ.

— Какіе?

— Начало божественное, а потомъ политическое:

«И вы подобно такъ падете,
«Какъ съ древъ увядшій листъ падетъ,
«И вы подобно такъ умрете,
«Какъ вашъ послѣдній рабъ умретъ».

Digitized by Google

— Это, говорю,—«Властителямъ и Судіямъ».

— Вотъ, вотъ, оно самое.

— Зачѣмъ же вы его списывали?

— Всѣмъ нравилось.

— Да вѣдь это Державинское стихотвореніе: оно есть печатное.

— Ну, разсказывайте-ка.

— Не вѣрите?

— Разумѣется.

— Ну, такъ знайте же, что это переложеніе псалма и оно было въ хрестоматіи, по которой мы, бывало, грамматическій разборъ дѣлали.

— Ну, а мы не дѣлали.

— Бѣдняжки.

— Ничего не бѣдняжки.

— А когда вы окончили свою технологію?

— Я ее не кончалъ.

— Почему?

— Политическая исторія помѣшала.

— А какая же это была исторія?

— Наши студенты на дворъ просились.

— Для какой надобности?

— Какъ для какой надобности? Безъ двора развѣ можно? дворъ заперли, и некуда дѣться: мы проситься. Бударь говоритъ нельзя на дворъ,—отъ начальства не велѣно, а мы его отпихнули и пошелъ бунтъ.

— Вѣрно прежде была какая-нибудь распря.

— Я тогда не ходилъ, у меня за ухомъ юрунда какая-то вспухла и ее въ тотъ день только распороли.

— Какъ же вы этимъ не оправдались?

— А какъ это оправдаться, стали насъ показывать,— бударь на меня говоритъ: «вотъ и этотъ черномордый тоже на дворъ просился». Меня отставили, а ему велѣли изложить. Онъ говоритъ: «я не пущалъ, а онъ, какъ Спиноза, промежъ ногъ проюркнулъ».—Меня за это арестовали.

— За Спинозу?

— Да.

— Долго же вы были подъ арестомъ?

— Нѣтъ; я скоро въ деревню уѣхалъ, — меня графиня выпросила.

Онъ, къ крайнему моему удивленію, назвалъ одно изъ

Google

самыхъ великосвѣтскихъ именъ. Я впервые ему не повѣрилъ.

— Почему она васъ знала?

— Ничего не знала, а у насъ былъ директоръ Ермаковъ, котораго всѣ знали, и онъ былъ со всѣми знакомъ и съ этой съ графинею. Она прежде жила какъ всѣ,—экозесъ танцовала, а потомъ съ однимъ англичаниномъ познакомилась и ей захотѣлось людей исправлять. Ермаковъ за насъ заступался, разсказывалъ всѣмъ, что насъ «исправить можно». А она услыхала и говоритъ: «Ахъ, дайте мнѣ одного,—самаго несчастнаго». Меня и послали. Я и идти не хотѣлъ а директоръ говоритъ: «идите,—она добрая».

— И что же: вправду такъ вышло?

— Ничего не правда. Пустили къ ней скоро — у нея внизу особый залъ былъ. Тамъ люди какіе-то, — все молились. Потомъ меня спросила: читалъ ли Евангеліе? Я говорю: нѣтъ. «Прочитайте, говоритъ, и придите». Я прочиталъ.

— Все прочитали?

— Все.

— Что же,—понравилось вамъ?

— Разумѣется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошаго. Почеркать бы надо по мѣстамъ...

— Вы такъ и графинѣ отозвались?

— Не помню, — да вѣдь еще раньше генералъ Дубельтъ говорилъ... Я читалъ объ этомъ, а съ графиней... не помню... Все равно она была дура. Она мнѣ долбила все про спасеніе, только мнѣ спать захотѣлось, а ничего не понялъ.

— Что же такое было непонятное?

— «Надо придти ко Христу». Очень радъ,—только какъ это сдѣлать? Или будто я спасенъ... Почему я это знаю! Или про кровь тамъ и все этакое: ничего по настоящему нельзя понять. Я сказалъ, что я этого не понимаю, и мнѣ это не нужно. Она стала сердиться: «оставимъ, говоритъ, до деревни, — вы тамъ поймете». Дорогою хотѣла меня съ собой посадить и читать, а потомъ во второй классъ послала; двѣ дѣвки, я да буфетчикъ. Мы и поссорились.

— Какое же вамъ до нихъ дѣло было?

— Подлости говорятъ и безстыдство: я это ненавижу; а потомъ съ мужикомъ скандалъ вышелъ, — все и пропало.

Digitized by Google

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Вотъ въ чемъ заключается этотъ эпизодъ, — нелѣпый, курьезный и отрывочный, какъ всѣ эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

— Мы поѣхали, — началъ онъ.—Графиня сама сѣла въ первый классъ и дѣтей, и старую гувернантку - англичанку тоже тамъ посадили, а двѣ дѣвки и я, да буфетчикъ во второмъ сѣли. Буфетчикъ мнѣ подалъ билетъ и говоритъ:

— Графиня вамъ тутъ велѣла.

Я говорю:

— Мнѣ все равно.—А какъ они стали разныя глупости говорить, я и ушелъ въ третій классъ къ мужикамъ.

— Какія же такія нестерпимыя глупости они говорили?

— Всякія глупости, все важныхъ изъ себя передо мною представляли: одна говоритъ, что ее американскій князь соблазнить и увезть хотѣлъ, да она отказалась, потому что на пароходѣ ѣздить не можетъ, будто бы у нея отъ колтыханья морская свинка дѣлается. Противно слушать, а на первой станціи при насъ большая исторія вышла: мужика возлѣ нашего вагона бить стали. Я говорю: за что? А кондукторъ говоритъ: «вѣрно заслуживаетъ». — Я самого мужика спросилъ: за что? а онъ говоритъ: «ничего!» Я подскочилъ къ графинѣ, говорю: видите, безправіе! А она закричала: «ахъ, ахъ!» и окно закрыла. Буфетчикъ говоритъ: «развѣ можно безпокоить». Я говорю: если она христіанка, она могла за бѣднаго заступиться. А онъ: «съ какой стати этакъ можете? — вы энгелистъ». А я говорю: а ты дуракъ. И повздорили. Они и начали про студентовъ намеки. «Теперь, говоритъ, всѣ взялись за этотъ энгелизмъ. Коимъ и не стоило званія своего пачкать, и тѣ нынче счеты считаютъ. У насъ тоже теперь новый правитель—только вступилъ, сейчасъ счеты сталъ перемарывать. «Зачѣмъ, говоритъ, пельсики пять съ полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисѣева?—Это воровство». Ахъ ты, дрянь юная! Мы при твоемъ отцѣ не такіе счеты писали и ничего, потому что то былъ настоящій баринъ: самъ пользовался и другимъ не мѣшалъ; а ты вонъ что!»

«Дѣвки такъ и ахаютъ:

«— Ишь подлецъ! ишь каналья!

«А тотъ говоритъ:

Digitized by Google

«— Ну, такъ я ему сейчасъ и ввернулъ, чего онъ и не думалъ. — Мало ли что, говорю, у Юлисѣева, мы бокалейщика Юлисѣева довольно знаемъ, что эта одна лаферма, а продаетъ кто попало, — со всякаго званія особъ. «Къ чему мнѣ это знать?» говоритъ. — А къ тому-съ, что тамъ все продается для обыкновенной публики, а у насъ домъ,—мы домового поставщика имѣемъ — у него беремъ. «Впередъ, говоритъ, у Юлисѣева братъ». — Очень хорошо, говорю, только если ихъ сіятельство въ какомъ-нибудь фруктѣ отравятъ, такъ я не буду отвѣчать.

«Дѣвки визжатъ: ловко, ловко! Ожегся?

«— Страфилъ! и весь энгелизмъ спустилъ: «бери, говоритъ, негодяй, у своего поставщика, а то ты и вправду за три цѣлковыхъ кого угодно отравишь».

«А дѣвки радостно подхватываютъ: очень просто, что такъ! — очень просто! И сами что-то ѣдятъ, а буфетчикъ мнѣ очистки предлагаетъ: «у васъ, говоритъ, желудокъ крѣпкаго характера,—а у меня съ фистулой. Кушайте. А если не хотите, мы на балъ дешевымъ студентамъ за окно выбросимъ». А потомъ вдругъ всѣ: хи-хи, да ха-ха-ха и: «точно такъ какъ наше къ вашему». Я этого уже слушать не могъ и пересѣлъ къ мужикамъ.

— Что же васъ въ этихъ словахъ особенно возмутило?

— Ну какъ же: цинизмъ: «наше къ вашему».—Развѣ я не понимаю?

— Да я-то, говорю, не понимаю: что тутъ такого особенно циничнаго.

— Ну, оставьте, пожалуйста,—очень это понятно.

— Извольте; оставляю, но все-таки, гдѣ вы видите цинизмъ—не понимаю.

— Ну, а я понимаю: я даже въ Петербургъ хотѣлъ вернуться и сошелъ, но только денегъ не было. Начальникъ станціи велѣлъ съ другимъ поѣздомъ въ Москву отвезть, а въ Петербургъ, говоритъ, безъ билета нельзя. А поѣздъ подходитъ — опять того знакомаго мужика, котораго били, ведутъ и опять наколачиваютъ. Я его узналъ, говорю: за что тебя опять? А онъ говоритъ: «не твое дѣло». Я пріѣхалъ въ Москву,—въ ихъ домъ и все спалъ, а потомъ всталъ, а на дворѣ уже никого нѣтъ,—говорятъ: уѣхали.

— Васъ бросили?

— Не взбудили. Я проспалъ — пошелъ на станцію за

Digitized by Google

книгами — книги свои взять и — вижу опять поѣздъ подъѣхалъ и опять того знакомаго мужика бьютъ. Я думаю: вотъ, чортъ возьми!—и захотѣлъ узнать: за что! А онъ, какъ его отбили, съ платформы соскочилъ и прямо за вороты,— снялъ шапку и на всѣ сорокъ сороковъ раскрещивается. Я говорю: ты бы, дуракъ, чѣмъ башкой по пустякамъ кивать,—шелъ бы къ мировому.—«А мнѣ чего, говоритъ, безъ мирового недостаетъ?» — Шея-то, небось, болитъ? — «Такъ что же такое: у насъ шея завсегда можетъ болѣть, мы мужики: а донесъ Господь,—я Ему и благодарствую».—А что били тебя—это ничего?—«А какая важность, господа лише дрались, да мы терпѣли,—и перетерпѣли: теперь они и сами обосѣли—стали смирные».—Вотъ отъ этого, говорю, въ тебѣ и нѣтъ человѣческой гордости, а ты сталъ скотина. — «Черезъ что такое, отвѣчаетъ, скотина, когда я своихъ родителевъ знаю».—Экое, говорю, животное: никакихъ чувствъ въ тебѣ нѣтъ. А онъ началъ сердиться: «Что ты, говоритъ, ко мнѣ вяжешься: какое еще чувство, если мнѣ такъ надобѣ».—Отчего же это такъ надобѣ, чтобы тебя на всякой станціи били?—«Анъ совсѣмъ, говоритъ, не на всякой». — Я, говорю, видѣлъ.—«А мнѣ, говоритъ, это еще лучше тебя извѣстно: всего четыре раза за путину похлопали, только на большихъ станціяхъ, гдѣ билетъ провѣряютъ. Какое же тутъ чувство? потолкаютъ и вонъ, а я на другой поѣздокъ сяду, да вотъ, Богъ далъ, ничего не платя, и доѣхалъ».— Понимаете, какой отличный народъ! Я его практическому смыслу подивился и какъ у меня полтора рубля было, я ему помочь хотѣлъ. Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поѣдешь?—«Дальше мнѣ теперь все равно, что рукой подать— всего въ тульскую губернію: мы съ Москвой-то сусѣди». — А все же вѣдь и тутъ опять чугунка.—«Простое дѣло, что чугунка».—Такъ опять деньги надо. Онъ посмотрѣлъ и говоритъ: — «Это не твое расположеніе». —Да у тебя есть деньги или нѣтъ?—«Съ чего такъ нѣтъ: мы мужики, а не то что, — мы работаемъ, а не крадемъ, чтобы у насъ не было. У насъ, что надобѣ есть». — А то лучше, говорю, признайся: я тебѣ дамъ. — «Намъ чужого не надо: у насъ вотъ онѣ свои, кровныя». Вытащилъ кошель и хвалится:— «Видишь, говоритъ, что есть названье отъ Бога родитель,— вотъ я родитель: я побой претерпѣлъ, а на билетъ ничего не извелъ—безъ билета доѣхалъ. Все, что заработалъ—вотъ

Digitized by Google

все оно цѣло, — дѣткамъ везу; а еще захочу, такъ и въ церкву дамъ за свое здоровье. Понимаешь?» — Глупо, говорю, въ церковь давать.—«Ну, этого говорить ты не смѣй, а то вотъ что»...—И кулакъ мнѣ къ носу.—Что за народъ! что за народъ!—воскликнулъ Шерамуръ и даже впотьмахъ весь расцвѣтился. — Я, говоритъ, не вытерпѣлъ: молодецъ, говорю; пойдемъ, я тебя угощу въ трактирѣ. А онъ сейчасъ кошель скорѣй прятать и сталъ уходить. Я за нимъ, а онъ отъ меня еще шибче, да на углу хлопъ, упалъ и растянулся. — Чего ты, говорю, дуракъ, бѣжишь? — «А ты чего, говоритъ, меня гонишь: я вѣдь твоего не прошу».—Чего же ты меня боишься? — «Ты деньги увидалъ и скрасть хочешь», и съ этимъ какъ дернетъ во всю мочь: «каррраулъ!» Насъ обоихъ и забрали.

— Куда?

— Въ часть.

— Выпустили?

— Да; на другой день приставъ пріѣхалъ, разспросилъ обо мнѣ и послалъ къ графинѣ: дѣйствительно ли я съ нею? Оттуда дворникъ ихъ знакомаго художника прислалъ, тотъ поручился, меня и отпустили. А у мужика тамъ въ части рубль пропалъ. Онъ послѣ сказалъ мнѣ: «это твоя вина,—я за тебя заключался,—ты долженъ мнѣ воротить»,— я отдалъ...

— Вы, значитъ, на него не сердились?

— Нѣтъ, да вѣдь онъ уменъ, онъ мнѣ сказалъ: «я бы, говоритъ, отъ тебя и не бѣжалъ, да боялся, что у тебя вумственныя книжки есть. А то, сдѣлай милость, буду на угощеніи благодаренъ». Чай съ нимъ вмѣстѣ пили. Отличный мужикъ. «А если еще остача есть, говоритъ, купи моимъ дѣткамъ пряничнаго конька да рыбинку. Я свезу,— скажу: дядька прислалъ,—дѣтьки малыя рады будутъ». Хорошій мужикъ. Мы поцѣловались.

— Значитъ, онъ васъ до грошика обобралъ?

— Я самъ отдалъ.

— А зачѣмъ?

— Отдалъ, да и все.

— А сами куда и съ чѣмъ пошли?

Шерамуръ только рукой махнулъ.

— Тутъ, говоритъ,—у меня началась самая тяжкая пора, я едва разсудокъ не потерялъ.

Digitized by Google

— Отчего же собственно?

— Отъ ужаснаго божества... бѣда, что такое было.

— Вѣрно опять графиня?

— Да; и другіе,— если бы англичанка моего этого спасенія вѣрою не подкургузила, такъ я погибъ бы отъ святости.

— Валяйте, валяйте, говорю, — развѣ можно на такомъ интересномъ мѣстѣ останавливаться: сказывайте, что такое было?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ московскомъ домѣ графини, гдѣ она провела сутки и уѣхала далѣе, повидимому, совсѣмъ позабывъ о Шерамурѣ и не сдѣлавъ на его счетъ никакихъ распоряженій, онъ нашелъ того профессора живописи, который за него поручился.

Это былъ единственный человѣкъ, къ которому нашъ герой могъ обратиться въ своемъ положеніи. Онъ такъ и сдѣлалъ. Считая имена недостойными человѣческаго вниманія пустяками, Шерамуръ не зналъ: какъ звали художника, но, по его словамъ, это былъ человѣкъ пожилой и больной. Онъ жилъ со своимъ семействомъ, занимая одинъ изъ флигелей въ домѣ графа, который считалъ себя покровителемъ какого-то московскаго художественнаго учрежденія. Остальной домъ былъ пустъ и оберегался однимъ старымъ лакеемъ. Лакей этотъ питалъ какія-то особенныя чувства къ профессору и свелъ къ нему Шерамура. Тотъ выслушалъ чудака и говоритъ:

— По-моему, вамъ не стоитъ за графиней ѣхать.

— Я, — говоритъ Шерамуръ: — спросилъ, отчего? А онъ не отвѣчаетъ. Большущее что-то пишетъ, и все помазикаетъ кистями и отскочитъ: высматриваетъ.

— Я, — говоритъ: — не совѣтую... И опять мазикаетъ. Графиня, я думаю... вами тяготится.

— Сама,—говорю:—пригласила.

— Это ничего. И опять помазикалъ, отскочилъ и смотритъ въ кулакъ на картину и говоритъ: это ей все равно; они люди особенные, у нихъ это ничего-съ.

И еще помазикалъ, помазикалъ, а потомъ положилъ свои снасти, закурилъ трубочку и сѣлъ противъ картины.

— Вы,— спрашиваетъ: — «Эмиля» Руссо читали?

Digitized by Google

— Не читалъ, а слышалъ: опытъ какой-то дѣлали — воспитать человѣка.

— Вотъ, вотъ, вотъ!—вотъ и вы на этотъ опытъ взяты: вы лучше удирайте.

— А что она мнѣ сдѣлаетъ?

— Да нехорошо, — говоритъ: — съ ними возиться. Вѣдь ей дѣлать нечего — вотъ ея забота. Ея отецъ, бывало, для собственной потѣхи все лѣчилъ собственныхъ людей, а эта отъ нечего дѣлать для своей потѣхи всѣхъ ко спасенію зоветъ. Только жаль — собственныхъ людей у нихъ теперь нѣтъ, все искать надо, чтобы одной передъ другой похвастать: какая кого въ свою вѣру поймала. Всякая дрянь нынче ихъ этою глупою потѣхою пользуется: «я, дескать, увѣровалъ — дайте поѣсть», а вы студентъ, — вамъ это стыдно.

Я говорю:

— Мнѣ это все равно, — я религіи не признаю; а если можете пять рублей мнѣ занять, такъ я поѣду, потому что она мнѣ сулила дать школу.

Онъ говоритъ:

— Нате вамъ пять рублей, а школы она вамъ не дастъ, а если дастъ, такъ васъ оттуда скоро выгонитъ.

А когда я хотѣлъ разспросить, отчего не дастъ? — онъ вдругъ закашлялся и говоритъ:

— Ну васъ совсѣмъ! — Если вы такой безтолковый, — ступайте куда хотите: у меня чахотка; а вы... ничего не понимаете.

Шерамуръ взялъ пять рублей и отправился къ мѣсту своего призванія, гдѣ его осѣтили траги-комическія случайности, которыя имѣли на него роковое вліяніе и довели его до эмиграціи.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Во-первыхъ, его не ждали и, какъ художникъ отгадалъ, — не желали видѣть въ имѣніи, куда онъ явился не то педагогомъ, не то Эмилемъ. Встрѣченъ онъ былъ сухо, какъ человѣкъ никому не нужный; даже помѣщенія ему не дали и благодѣтельницы своей графини онъ не видалъ. Въ этомъ, по его словамъ, былъ виноватъ тотъ же врагъ студентовъ, буфетчикъ, способный за три цѣлковыхъ отравить кого угодно. Онъ сбылъ Шерамура сначала въ чуланъ при

Digitized by Google

конторѣ, а потомъ въ каморку при прачечной. У его выломаннаго порога была ямина, а подъ окномъ зольная куча, на которую выбрасывали изъ кухни всякую нечисть, и тутъ, какъ говорилъ Шерамуръ, постоянно «ходили пѣшкомъ три вороны и чьи-то птичьи кишки таскали». Въ самой же храминѣ здѣсь была такая жара и духота, что Шерамуръ, къ великому своему удивленію и благополучію,—тяжко заболѣлъ: у него сдѣлался карбункулъ, который онъ называлъ: злой чирій. Ему не дали умереть и прислали къ нему фельдшера, — молодого еврея, который здѣсь тоже былъ и врачомъ, и религіознымъ Эмилемъ: графиня его второй годъ воспитывала къ христіанству. Главный трудъ обращенія его уже былъ оконченъ и по осени онъ назначался на короткое время на выставку въ религіозные салоны Петербурга, а оттуда къ отсылкѣ за границу для крещенія по наилучшему образцу какой-то изъ неизвѣстныхъ сектъ. Еврей былъ такой же горькій человѣкъ, какъ Шерамуръ,— онъ былъ вырванъ изъ солдатчины, благодаря тому, что рѣшился оказать склонность къ христіанству. Онъ уже второй годъ жилъ здѣсь неизвѣстно по какому праву и, чувствуя свое рискованное положеніе, пѣлъ стишки и читалъ «трактатцы», — но онъ былъ, разумѣется, гораздо находчивѣе Шерамура, и сдѣлалъ ему важную услугу, — спасъ ему жизнь.

Шерамуръ лежалъ безъ всякаго присмотра — его дверь часто некому было затворить и вороны заходили къ нему пѣшкомъ даже въ самую комнату, но фельдшеръ нашелъ, что случай этотъ достоинъ иного вниманія. Онъ доложилъ о больномъ графинѣ и удостовѣрилъ ее, что болѣзнь опасна, но не заразительна. Онъ зналъ, что это былъ для нея бенефисный случай: она сейчасъ же пришла съ книжечками и флакономъ разведенной водою мадеры, и читала Шерамуру о спасеніи вѣрою. Онъ ничего не понялъ; а она ушла, оставивъ ему трактатцы, но флаконъ унесла. Еврей ему сдѣлалъ выговоръ: «что вамъ такого, говоритъ, понимать,— спроситъ: «погибъ?»—говорите: «погибъ»,—а если «спасенъ», такъ «спасенъ».

— А что это значитъ?—добивался Шерамуръ.

— Ничего не значитъ, — одинъ разговоръ, а зато вамъ будутъ хорошую пищу присылать и мадеры, — а вы еще слабы. Онъ взялъ оставленные трактатцы, посмотрѣлъ и

Digitized by Google

говоритъ: вотъ по этой погибъ, а по этой спасенъ. Я скажу, что вы читали и пошли на спасенье.

Пріемъ оказался хорошъ. Въ тотъ день Шерамуру, наперекоръ всѣмъ проискамъ буфетчика, прислали супу и котлетъ, а послѣ обѣда пришла графиня и принесла новыхъ трактатцевъ и флаконъ. Еврей сказалъ, что больной слабъ, и графиня его не утруждала: она спросила его только: «видите, что вы погибли»... Онъ отвѣчалъ: «погибъ». Она стала на колѣни и долго молилась. Шерамуръ изъ всей молитвы запомнилъ только: «еще молимъ тебя, Господи, и еще молимъ тебя». Она спросила: «имѣетъ ли онъ сколько-нибудь Христа?» Онъ поморщился, но сказалъ: «немножко имѣю». Она еще помолилась, а потомъ ушла, но флаконъ оставила. Съ тѣхъ поръ его стали отлично кормить и графиня къ нему приходила съ трактатцами и флакономъ, а также приводила раза два англичанку и обѣ возлѣ него молились. Онъ велъ себя какъ училъ еврей: но все путалъ, говорилъ, то «погибъ», то имѣетъ Христа.

Еврей замѣтилъ по своимъ примѣтамъ, что это долго стоитъ на лизисѣ,—вскрылъ Шерамуру нарывъ и сказалъ: «Ну, теперь скажите: спасенъ». Шерамуръ такъ и сдѣлалъ. Онъ былъ «спасенъ», графиня утѣшалась; она пріобрѣла Христу перваго нигилиста, и велѣла Шерамуру по выздоровленіи приходить къ ней, чтобы пѣть съ вѣрными и учить дѣтей писать и закону Божію. И какъ съ этихъ поръ лично ей онъ уже былъ не интересенъ, то она его бросила, а буфетчикъ опять сталъ ему посылать вмѣсто «куричьяго супу»—«свинячьи котлеты» и вмѣсто «кокайскаго вина»—«подмадерный хересъ». Продолжали навѣщать Шерамура только фельдшеръ да англичанка, которая въ эту пору и явилась изобрѣтательницею его нынѣшней клички. Графиня при первомъ взглядѣ на него назвала его «Черноморъ»,—что ему и очень шло, графинины горничныя сдѣлали изъ этого «черномордый»,—но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала въ «Шерамуръ». Однако, впрочемъ, и это тоже имѣло свою стать, хотя въ смыслѣ ироніи.

Впрочемъ, началось это безъ ироніи. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшійся, Шерамуръ при воспоминаніи объ этой дамѣ морщилъ брови.

— Съ губкою,—говоритъ:—все приходила и съ теплой водичкой,—чирій размывать. Я сяду на край кровати, а

Digitized by Google

она стоитъ,—на затылкѣ мнѣ мочитъ, а лицо мое себѣ въ грудь прижметъ — ужасно непріятно; она полная и какъ зажметъ лицо, совсѣмъ дышать нельзя, а она еще такіе вопросы предлагаетъ, что видно, какая дура.

— Какіе же вопросы, Шерамуръ?

— «Пріятно ли?» Разумѣется, говорю, отъ теплой воды хорошо, а дышать трудно. Или: «ты ни о чемъ не думаешь?» Говорю: о чемъ мнѣ думать? — «А ти, говоритъ, думай, ти думай!» Послѣ было выдумала еще мнѣ лицо губкой обтирать, но это я сразу отбилъ—говорю: ужъ это, пожалуйста, не надо: у меня здѣсь не болитъ.

— Да она вѣрно въ васъ влюбилась?

— Ну, вотъ еще! Просто дура.

— А чѣмъ же у васъ съ нею все кончилось?

— Еще что скажете!

— А что?

— Да никогда ничего и не начиналось; а просто какъ я выздоровѣлъ и сунулся въ это божество,—сейчасъ пошли отовсюду непріятности.

— Вы не умѣли пѣть или не умѣли преподавать?

— Я не пѣлъ, а тамъ чай съ молокомъ давали, такъ я просто ходилъ сидѣть, чтобъ чаю дали.

— Вамъ не нравилось, какъ графиня говоритъ?

— Глупости.

— Однако, хуже поповъ, или лучше, толковѣе?

— У поповъ труднѣе.

— Чѣмъ?

— У нихъ, какъ тотъ мужикъ говорилъ, «вумственнѣе»,— они подите-ка какіе вопросы закатываютъ.

— Я,—говорю:—не знаю, о чемъ вы говорите.

— Ко мнѣ разъ попъ пришелъ, когда я ребятъ учу; «ну, говоритъ, отвѣчай, что хранилось въ ковчегѣ завѣта!» Мальчикъ говоритъ: «расцвѣтшій жезлъ Аваронов, чашка съ манной кашей и скрыжи».—А что на скрыжахъ?—«Заповѣди», и все отвѣчалъ. А попъ вдругъ говорилъ, говорилъ о чемъ-то и спрашиваетъ: «А почему сіе важно въ-пятыхъ?» Мальчонко не знаетъ и я не знаю: почему сіе важно въ-пятыхъ. Онъ говоритъ: «Дѣтки! вотъ каковъ вашъ наставникъ, — самъ не знаетъ: почему сіе важно въ-пятыхъ?» Всѣ и стали смѣяться.

— Ученики ваши?

Digitized by Google

— Ребятишки отцамъ разсказали: «учитель, мол, интересній, а не знаетъ: почему сіе важно въ-нятыхъ? Батюшка спросилъ, а онъ и ничего». А отцы и рады: «какой это, подхватили, учитель, это — дуракъ. Мы дѣтей къ нему не пустимъ, а въ графинюшкѣ пустимъ: если покосецъ дастъ покосить — пусть тогда ребятки къ ней ходятъ, поютъ, пишто, худого нѣтъ». Я такъ и остался.

— Ни при чемъ?

— Да, такъ ходилъ, думалъ до осени, но тутъ... подвернулось...

— Новая исторія?

— Да, изъ-за пустого лакомства.

Понятно, нетерпѣніе знать: какъ и какая сладость сей жизни соблазнила Шерамура? Почему сіе было важно въ-нятыхъ?

Дѣло это содержалось въ англичанкѣ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Пожилая дама, о которой заходитъ рѣчь, была особа, описанія которыхъ не терпитъ англійская литература, но которыхъ зато съ любовью разработываетъ французская. Смѣлѣйшіе изъ англійскихъ писателей едва касаются одной стороны — ихъ ипокритства, но Тэнъ обнаружилъ и другія свойства этихъ тартюфокъ. Ихъ вкусъ мало разборчивъ, ихъ выборъ падаетъ на то, что менѣе афишируетъ. Въ большинствѣ случаевъ это бываетъ собственный кучеръ или собственный лакей. Внѣшняя фешіонабельность и гадкая связь идутъ ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нѣтъ собственнаго кучера и лакея, тогда хорошъ и католическій монахъ. Эти лица пользуются очень хорошею репутаціею во многихъ отношеніяхъ, особенно со стороны скромности. Вообще англійскій культъ дорожитъ въ такихъ обстоятельствахъ скромностью субъекта и такимъ его положеніемъ, которое исключало бы всякое подозрѣніе. Шерамуръ былъ въ этомъ родѣ. Но тутъ дѣло было нѣсколько лучше: по тонкимъ навыкамъ старой эксцентрички, Шерамуръ ей даже нравился. Она была свободна отъ русскихъ предразсудковъ и не смотрѣла на него презрительными глазами, какими глядѣла «мизантропка», опрокидывающая свою ипохондрію, или ея камеристки, этотъ безвкуснѣйшій родъ женщинъ въ цѣлой вселенной. Крѣпкій, кругленькій,

Digitized by Google

точно выточенный торсъ маленькаго Шерамура, его античныя ручки, огневые черные глаза и неимовѣрно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистою бородою, производили на нее впечатлѣніе сколько томное, столько же и безпокоящее. Онъ представлялся ей маленькимъ гномомъ, который покинулъ темныя нѣдра горъ, чтобы извѣдать привязанность, — и это ничего, что онъ малъ, но онъ крѣпокъ какъ молодой осленокъ, о которомъ въ Библіи такъ хорошо разсказано, какъ упруги его ноги и силенъ его хребетъ, — какъ бодро онъ несется и какъ неутомимо прыгаетъ. Она знала въ этомъ толкъ. Притомъ онъ былъ franc novice,—это возбуждало ея опытное любопытство, и, наконецъ, онъ молчаливъ и совершенно неподозрителенъ.

И вотъ, мало-по-малу, пріучивъ его къ себѣ во время его болѣзни, англичанка не оставляла его своимъ вниманіемъ и тогда, когда онъ очутился безъ дѣла и безъ призора за то, что не зналъ: «почему сіе важно въ-пятыхъ?»

Она была терпѣливѣе графини и не покидала Шерамура, а какъ это дѣлалось на основаніи какого-то текста, то графиня не находила этого нимало страннымъ. Напротивъ: это было именно какъ слѣдуетъ,—потому что *они* не такъ, какъ мы — примемся, да и бросимъ, а *они* до конца держатся правила: fais ce que tu dois.

И та, дѣйствительно, держалась этого правила: она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки «стишковъ» и «трактатцевъ», и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку, или давая ему каштаны или фисташки, которые онъ любилъ и ѣлъ презабавно, какъ обезьяна.

Все это шло въ своемъ порядкѣ, пока не пришло къ развязкѣ, самой неожиданной, но вполнѣ соотвѣтственной дарованіямъ и такту Шерамура. Но это замѣчательнѣйшее изъ его приключеній нельзя излагать въ моихъ сокращеніяхъ, оно должно быть передано въ дословной формѣ его собственнаго разсказа, насколько онъ сохранился въ моей памяти.

— Она,—говоритъ Шерамуръ:—разъ взяла меня за бороду,—и зубами заскрипѣла. Я говорю: чего это вы?

— Приходи ко мнѣ въ окно, когда всѣ уснутъ.

Я говорю:

Digitized by Google

— Зачѣмъ?

— Я,—говоритъ:—тебѣ сладости дамъ.

— Какой?

Она говоритъ:

— Кисъ-ме-квикъ.

Я говорю:

— Это пряникъ?

Она говоритъ:

— Увидишь.

Я и полѣзъ. Изъ саду не высоко: она руку спустила и меня вздернула.

— Иди,—говоритъ:—за ширмы, чтобы тѣнь не видали.

А тамъ, за ширмой, серебряный подносъ и двѣ бутылочки: одна губастая, а одна такая.

Она спрашиваетъ:

— Чего хочешь: коньякъ или шартрезъ?

— Мнѣ,—говорю:—все равно.

— Пей, что больше любишь.

— Да мнѣ все равно, — а вотъ зачѣмъ вы такъ разодѣты?

— А что такое?

— То,—говорю:—что мнѣ совѣстно—вѣдь вы не статуя, чтобъ много видно.

— А она,—вмѣшиваюсь,—какъ была разодѣта?

— Какъ! скверно, совсѣмъ вполъодѣта, рукава съ фибрами и декольте до самыхъ поръ, вездѣ тѣло видно.

— Хорошее тѣло?

— Ну, вотъ я будто знаю? Мерзость... по всѣмъ мѣстамъ вездѣ духами набрыськано и пудрой приляпано... какъ лишаи... Зачѣмъ,—говорю:—такъ набрыськались, что дышать непріятно?

— Ты,—говоритъ:—глупый мальчикъ, не понимаешь: я тебя сейчасъ самого набрыськаю,—и стала черезъ рожокъ дуть.

Я говорю:

— Оставьте, а то уйду.

Она дуть перестала, а замѣсто того мокрую губку съ одеколономъ мнѣ прямо въ лицо.

— Это,—говорю:—еще что за подлость!

— Ничего,—говоритъ:—надо... личико чисто дѣлать.

— А, — говорю: — если такъ, то прощайте! Выскочилъ

Digitized by Google

изъ-за ширмы, а она за мною, стали бѣгать, что-то повалили; она испугалась, а я за окно и спрыгнулъ.

— Только всего и было съ англичанкой?

— Ну, понятно. А буфетчикъ изъ этого вывелъ, что я будто духи красть лазилъ.

— Какъ духи красть? Отчего онъ это могъ вывесть?

— Оттого, что когда поймалъ, отъ меня пахло. Понимаете?

— Ничего не понимаю: кто васъ поймалъ?

— Буфетчикъ.

— Гдѣ?

— Подъ самымъ окномъ: какъ я выпалъ, онъ и поймалъ.

— Ну-съ!

— Началъ кричать: «энгелиста поймалъ!» ну, тутъ, разумѣется, люди въ контору... стали графу писать: «пойманъ нигилистъ».

— Какъ же вы себя держали?

— Никакъ не держалъ,—сидѣлъ въ конторѣ.

— Сказали, однако, что-нибудь въ свое оправданіе?

— Что говорить,—отъ нигилиста какія оправданія.

— Ну, а далѣе?

— Убѣжалъ за границу.

— Изъ-за этого?

— Нѣтъ; попъ подбавилъ: когда графиня его позвала сочинять, что нигилисты въ домъ врываются и чтобы скорѣе становой пріѣзжалъ, попъ что-то приписалъ, будто я не признаю: «почему сіе важно въ-пятыхъ?» Фельдшеръ это узналъ и говоритъ мнѣ: что это такое — «почему сіе важно въ-пятыхъ?»

Я говорю: не знаю.

— Можетъ-быть это чего вышняго касается? Вамъ теперь лучше бѣжать.

Я и побѣжалъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Какъ онъ бѣжалъ?—Это тоже интересно.

— Пѣшкомъ,—говоритъ:—до самой Москвы перъ, даже на подметкахъ мозоли стали. Пошелъ къ живописцу, чтобы сказать, что пять рублей не принесъ, а ухожу, а онъ совсѣмъ умираетъ, — съ кровати не вставалъ; — выслушалъ, что было, и хотѣлъ смѣяться, но помануль и изъ-подъ по-

Digitized by Google

душки двадцать рублей далъ. Я спросилъ:—на что? А онъ нагнулъ къ уху и безъ голосу шепнулъ:

— Ступайте!

Съ этимъ я ушелъ.

— Куда же?

— Въ Женевку.

— Тамъ были рады вамъ?

— Ругать стали. Говорятъ: «у англичанки вѣрно деньги были,—а вы—этого не умѣли. Дуракъ вы».

— Неужто даже не пріютили?

— Ничего не пріючали: я имъ не годился, — говорятъ: вы очень форменный,—намъ надо потаенные.

— Тогда вы сюда?

— Да: здѣсь вѣжливо.

Онъ сказалъ это съ такимъ облегченнымъ сердцемъ, что даже мнѣ легко стало. Я чувствовалъ, что здѣсь—*періодъ*; что здѣсь замысловатая исторія Шерамура распадается и можно отдохнуть.

Я его спросилъ только: увѣренъ ли онъ, что ему въ Россіи угрожала какая-нибудь опасность? Но онъ пожалъ плечами, потянулъ носомъ, вздохнулъ и коротко отвѣчалъ:

— Все же уйти—безопаснѣе.

Мы встали съ края оврага, въ которомъ Шерамуръ началъ волчьимъ вытьемъ, а кончилъ божествомъ. Пора было вернуться въ Парижъ,—дать Шерамуру жрать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Если бы я не имѣлъ передъ собою примѣра «старца Погодина», какъ онъ скорбѣлъ и плакалъ о нѣкоемъ блуждавшемъ на чужбинѣ соотчичѣ, то я едва ли бы рѣшился сознаться въ неодобрительномъ поступкѣ: мнѣ было жаль Шерамура и я даже положилъ себѣ имъ заняться и довести его до какого-нибудь предѣла. Словомъ: я велъ себя совсѣмъ какъ Погодинъ. Разбирая рапсодіи Шерамура, я готовъ былъ иногда подозрѣвать его въ сумасшествіи, но онъ не былъ сумасшедшій; другой разъ мнѣ казалось, что онъ лѣнивый негодяй и дармоѣдъ, но и это не такъ: онъ всегда ищетъ работы, и что вы ему поручите, — онъ сдѣлаетъ. Не плутъ онъ уже ни въ какомъ случаѣ, — онъ даже несомнѣнно честенъ. Онъ такъ какой-то заморухъ: точно цыпленокъ, который еще въ яйцѣ за-

Digitized by Google

чичкался. Такихъ самыя сердобольныя хозяйки, какъ только замѣтятъ, — обыкновенно «притюкиваютъ» по головешкѣ и выбросятъ,—и это очень милостиво; но Шерамуръ былъ не куриный выводокъ, а человѣкъ. Родись онъ въ селѣ, его бы считали «ледащинькимъ», но приставили бы къ соотвѣтственному дѣлу—стадо пасти или гусей сгонять, и онъ все-таки пропитался бы и даже не былъ бы въ тягость; но среди культурнаго общества, — онъ никуда не годился.

Однако, все-таки его лучше увезть въ Россію, гдѣ хоть сытнѣе и много дармоѣдовъ не умираетъ съ голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготитъ ли надъ нимъ какое обвиненіе и нельзя ли ему помочь оправдаться?

Но какъ за это взяться? Къ счастію, однако, явился такой случай. Но прежде, чѣмъ дойти до него, надо сказать два слова о томъ: какъ Шерамуръ жилъ въ Парижѣ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ перваго дня своего прибытія въ Парижъ онъ былъ такъ же обезпеченъ, какъ нынче. *Никогда* у него не было ни опредѣленнаго жительства, ни постоянныхъ занятій. Онъ иногда что-то заработывалъ, нося что-то въ гарѣ, иногда каталъ какія-то бревна. Что̀ ему за это платили,—не знаю, но знаю, что имѣть столько денегъ, чтобы пообѣдать за 80 сантимовъ и выспаться въ ночлежномъ домѣ,—это было его высшее благополучіе. Въ большинствѣ же случаевъ у него не было никакой работы, тѣмъ болѣе, что, перекатывая бревна, онъ сломалъ ногу, а отъ носки тяжестей протиралъ свои очень хорошенькія, дамскія плечи, плѣнившія англичанку. Очевидно, въ работѣ у него ни на что недоставало сноровки. Отдыхалъ же онъ днемъ и ночью на бульварахъ. Это трудно, но можно въ Парижѣ, а по привычкѣ Шерамуру даже не казалось трудно.

— Я,—говорилъ онъ:—ловко спать могу.

То-есть, онъ могъ спать сидя на лавочкѣ такъ, чтобы этого не замѣтилъ sergent de ville.

— А если онъ васъ замѣтитъ?

— Я на другую иду.

— Вѣдь и съ другой сгонятъ?

— Не скоро,—съ полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда онъ идетъ.

Digitized by Google

Но теперь обращаемся къ *случаю*.

Разъ, выйдя изъ русской церкви, я встрѣтился въ паркѣ Монсо съ моею давнею знакомою, г-жею Т. Мы сидѣли на скамеечкѣ и говорили о тѣхъ, кого знали и которыхъ теперь хотѣлось вспомнить. А намъ было о комъ побесѣдовать, такъ какъ знакомство наше съ этою дамою началось еще во дни восторговъ, пробужденныхъ псковскою исторіею Гемпеля съ Якушкинымъ и тверскою эпопеею «пяти дворянъ». Мы вмѣстѣ перегорали въ этихъ трепетаніяхъ,— потомъ разбились: она, тогда еще молодая дама, съ именемъ и обезпеченнымъ состояніемъ, переселилась на житье въ Парижъ, а я,—мелкая литературная сошка, остался на родинѣ испытывать тоску за различные мои грѣхи, и всего болѣе за то, чего во мнѣ никогда не было, т.-е. за какое-то *направленіе*.

Съ тѣхъ поръ минуло безъ малаго четверть столѣтія и многое измѣнилось, — однихъ не стало, другіе, очутились слишкомъ далеко, а мы, которыхъ здѣсь свелъ случай послѣ долгой разлуки, могли не безъ интереса подвергнуть другъ друга провѣркамъ: что въ комъ изъ насъ испарилось, что осталось и во что преложилось и окрасилось. Она въ это время видѣла больше меня людей интересныхъ, и притомъ такихъ, о которыхъ я имѣлъ только одни книжныя понятія. Въ дни ея отъѣзда, я помню, что она горѣла однимъ постояннымъ и ни на минуту не охлажденнымъ желаніемъ стать близко къ Гарибальди и къ Герцену. О первомъ она писала, что ѣздила на Капреру, но Гарибальди ей не понравился: онъ не чуждался женскаго пола, но относился къ дамамъ слишкомъ реально. Онъ ей показался лучше издали, но почему и какъ, — я ее о томъ не разспрашивалъ. Герценъ тоже не выдержалъ критики: онъ сдѣлался подъ старость «не интересенъ какъ тайный совѣтникъ», и очень капризенъ и придирчивъ. Дама весьма хорошо умѣла представлять, какъ она краснѣла за него въ одномъ женевскомъ ресторанѣ,—гдѣ онъ при множествѣ туристовъ «велъ возмутительную сцену съ горчичницей» за то, что ему подали не такую горчицу. Онъ былъ подвязанъ подъ горло салфеткою и кипятился совершенно какъ русскій помѣщикъ. Всѣ даже оборачивались... И это былъ тотъ, чьи остроумныя клички и прозвища такъ смѣшили либеральный Петербургъ шестидесятыхъ годовъ! Это невозможно было сне-

Digitized by Google

сти: дама махнула рукой на подвязаннаго салфеткою старца и даже въ видѣ легкой ироніи отыгралась съ нимъ на его же картахъ: она называла его «салфеточнымъ». Затѣмъ ея вниманіе занимали Клячко, Лангевичъ, Пустовойтова, наконецъ папа Пій IX, отъ котораго она тогда только-что возвратилась и была въ восторгѣ по причинѣ его «божественнаго лица».

— Кротость, ласковость и... какое обхожденіе,—говорила она:—всякому онъ что-нибудь... Пусть его бранятъ, что онъ выдумалъ непогрѣшимость и зачатіе, но какое мнѣ дѣло! Это все въ догматахъ... Боже мой! кто тутъ что-нибудь разберетъ, а не все ли равно, какъ кто вѣритъ. Но какая прелесть... Въ одномъ представленіи было много русскихъ: одинъ знакомый профессоръ съ двумя женами, то-есть съ законной и съ романической,—и купецъ изъ Риги, раскольникъ—лѣчиться ѣздилъ съ дочерью, дѣвушкою... Всѣхъ приняли,—только раскольнику велѣли фракъ надѣть. Старикъ никогда фрака не надѣвалъ, но купилъ и во фракѣ пришелъ... И онъ со всѣми, со всѣми умѣлъ заговорить, — съ нами по-французски, а раскольнику черезъ переводчика напомнилъ что-то такое, будто государю говорили, что «въ его новизнахъ есть старизна», или «старина». Говорятъ — это, дѣйствительно, такъ было. Раскольникъ даже зарыдалъ: «батюшка, говоритъ: откуда износишь сіе, отколь тебѣ все вѣдомо?» упалъ въ ноги и вставать не хочетъ. «Старина, старина», говоритъ... Мнѣ это нравится: съ одной стороны находчивость, съ другой простота... Здѣсь теперь въ модѣ Берсье: онъ измѣнилъ католичеству, сдѣлался пасторомъ и все противъ папы... Я и его не осуждаю,—у него талантъ, но онъ не правъ и я ему прямо говорю: вы не правы; папу надо видѣть; надо на него глядѣть безъ предубѣжденія, потому что съ предубѣжденіемъ все можетъ показаться дурно,—а безъ предупрежденія...

Но только-что она это высказала, — на поворотѣ аллеи, какъ изъ земли вылупился Шерамуръ,—и какой,—въ какомъ видѣ и убранствѣ! Шершавый, всклоченный, тощій, весь въ пыли, какъ выскочившій изъ-подъ грязной застрѣхи котъ, съ желтымъ листомъ въ своей нечесаной бородѣ и прорѣхами на блузѣ и на обоихъ колѣнахъ.

При появленіи его я просто вздрогнулъ, перервалъ оживленный разсказъ моей дамы и, пользуясь правами короткаго знакомства, взялъ ее за руку и шепнулъ:

Digitized by Google

— А вотъ, посмотрите-ка безъ предубѣжденія.

— На кого? Вотъ на этого монстра?

— Да; я послѣ разскажу вамъ, какое подъ этимъ заглавіемъ содержаніе.

Она прищурилась, разсмотрѣла и... тоже вздрогнула.

— Эта ужасно!—прошептала она вслѣдъ Шерамуру, когда онъ минулъ насъ, не удостоивъ ни единаго взгляда, съ понурою, совершенно падающею головою. Надо было думать, что нынѣшнюю ночь, а можетъ быть и нѣсколько ночей кряду, его мало пожалѣлъ sergent de ville.

Моя дама схватила за карманъ, достала портмонэ и, вынимая оттуда десять франковъ, сказала:

— Вы можете ему передать это?..

— О, да, говорю, — съ удовольствіемъ. — Но, позвольте, вотъ что мнѣ пришло въ голову: вы вѣдь вѣрно знакомы съ кѣмъ-нибудь изъ здѣшнихъ нашихъ дипломатовъ?

— Еще бы,—даже очень дружески.

— Помогите же этому бѣдняку.

— Въ чемъ?

— Надо узнать: преступникъ онъ или нѣтъ?

— Охотно, только если они знаютъ. Но они, кажется, о русскихъ никогда ничего не знаютъ.

— Они,—говорю:—могутъ узнать.

Она вызвалась поговорить съ однимъ изъ близкихъ ей людей въ посольствѣ и черезъ два дня пишетъ мнѣ, чтобы я прислалъ къ ней Шерамура: она хотѣла дать ему рекомендательную карточку, съ которою тотъ долженъ пойти къ г. N. N. Это былъ видный чиновникъ посольства, который обѣщалъ принять и выслушать Шерамура и, если можно, помочь ему очистить возвратный путь въ отечество.

— А тогда,—прибавила дама:—я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить въ Петербургѣ и проч., и проч.

Думаю: чего же еще лучше надо?

Передаю все это Шерамуру и спрашиваю:

— Что вы на это скажете?

— Да я,—отвѣчаетъ:—не понимаю: зачѣмъ это?

— Вы развѣ не хотите въ Россію?

— Нѣтъ; отчего же,—могу; тамъ пищевареніе лучше.

— Такъ идите къ этой дамѣ.

— Хорошо. Она дура?

Digitized by Google

— Съ какой же стати она будетъ дурою?

— Аристократка.

— А они развѣ всѣ дураки?

— Да я не знаю, я такъ спросилъ: какая она?

— Это вамъ все равно,—какая она,—она очень добрая, принимаетъ въ васъ участіе и въ силахъ вамъ помочь, какъ никто другой. Вотъ все, что вамъ достаточно знать и идти.

— И ничего изъ этого не будетъ.

— Почему не будетъ?

— Вѣдь я сказалъ.

— Нѣтъ, не сказали.

— Аристократка.

— Такъ вы не пойдете?

Онъ помолчалъ, поводилъ носомъ и протянулъ:

— Ну, чортъ съ ней,—пожалуй схожу.

Онъ это дѣлалъ совершеннымъ grande signore, — чтобы отвязаться. Ну, да и то слава Богу, что хоть мало на ладъ идетъ. Моя знакомая женщина съ душою,—она его пойметъ и на его невѣжество не обидится.

Другое дѣло, — какъ онъ аттестуетъ себя въ самомъ посольствѣ передъ русскимъ дипломатомъ, котораго чувства, конечно, тоньше и который, по уставамъ своего уряда, «по поступкамъ поступаетъ», а не по движенію сердца.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я ждалъ развязки дипломатическихъ свиданій Шерамура съ нетерпѣніемъ, тѣмъ болѣе, что все это затѣялось наканунѣ моего отъѣзда, и вотъ мнѣ не терпится: вечеркомъ въ тотъ день, какъ онъ долженъ былъ представиться своей патронессѣ, я ѣду къ ней и не могу отгадать: что застану? Но застаю ее очень веселую и довольную.

— Вашъ Шерамуръ,—говоритъ:—презабавное существо. Какъ онъ ѣстъ!—какъ звѣренышъ.

— Вы его кормили?

— Да; я его брала съ собой...

— Вотъ какъ, я всегда зналъ, что у васъ предоброе сердце, но это еще шагъ впередъ.

— Отчего?

— Оборвышъ онъ этакой, а вы его водили и вмѣстѣ обѣдали.

Digitized by Google

— Ахъ, это-то! Ну, полноте, вѣдь здѣсь не Россія. Не безпокойтесь меня хвалить: въ Петербургѣ я бы этого ни за что не сдѣлала, а здѣсь что же такое... Я такая, какъ всѣ, и могу дѣлать что хочу. Гарсоны на него только все удивлялись. Я имъ сказала, что это дикій изъ русской Сибири, и они его все разсматривали и были къ нему очень вѣжливы. А кстати: вы замѣтили, какъ онъ кости грызетъ?

— Нѣтъ,—говорю:—что-то не замѣтилъ.

— Ахъ, это прелестно: онъ ихъ грызетъ какъ будто какую-нибудь жареную вермишель и чавкаетъ какъ поросеночекъ.

— Да, — говорю: — насчетъ изящества съ нимъ нужна снисходительность.

Но она и приняла это снисходительно, и даже разсказала оставшійся у меня въ памяти анекдотъ о другомъ, еще болѣе противномъ, способѣ обращаться съ костями. Дѣло шло объ одномъ ея великосвѣтскомъ кузенѣ Вово и состояло въ томъ, что этотъ кузенъ, русскій консерваторъ, удостоясь чести кушать за особымъ столикомъ съ нѣкоторою принцессою, ощутилъ неодолимое желаніе показать, какъ онъ чтитъ этотъ счастливый случай. Онъ остановилъ лакея, убиравшаго тарелку съ косточками птички, которую скушала принцесса, выбралъ изъ нихъ двѣ или три, завернулъ въ свой бѣлый платокъ и сказалъ, что дѣлаетъ это съ тѣмъ, чтобы «сберечь ихъ какъ святыню». Но, къ сожалѣнію, все это было дурно принято: принцесса обидѣлась такою грубостью, и кузенъ Вово лишился впередъ приглашеній. Дама называла это «русскимъ великосвѣтскимъ бебеизмомъ», который ставила безъ сравненія ниже Шерамурова чавканья,—а я ее не оспаривалъ.

— Конечно,—говорю:—такой неделикатности Шерамуръ не сдѣлаетъ, но вотъ меня занимаетъ: какъ онъ поведетъ себя съ дипломатомъ? Предупредили ли вы того: какой это экземпляръ?

— Какъ же,—я все сказала.

— Ну, и что же онъ?

— Очень смѣялся.

Я покачалъ головою и сомнительно спросилъ:

— Зачѣмъ же онъ очень смѣялся?

— А что?

— Да такъ... Зачѣмъ это они всѣ нынче любятъ очень

Digitized by Google

смѣяться, когда слышатъ о страдающихъ людяхъ. Лучше бы *немножко* посмѣяться и *больше* о нихъ подумать.

И она вздохнула, и говоритъ:

— Правда, правда, правда.

— А когда,—спрашиваю,—ихъ rendez-vous?

— Завтра.

— Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали никакого наставленія, какъ ему себя держать?

— Нѣтъ.

— Это очень жаль.

— Да не могла,—говоритъ:—онъ такъ скоро убѣжалъ, что мы и не простились.

— Отчего же такъ?

— Не знаю; должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять въ комнату,—его уже не было; дѣвушка говоритъ: швырнулъ книгу и убѣжалъ, какъ будто за нимъ самъ дьяволъ гнался.

— Что за чудакъ!

— Да.

— Что же это можетъ значить?

— Я васъ могла бы объ этомъ спросить, вы его больше знаете.

— Такъ, говорю,—но надо знать: что передъ этимъ было?

— Передъ этимъ?—передъ этимъ онъ съѣлъ довольно много омлета съ малиной.

— А, говорю,—это тоже не шутка.

И мы оба, казалось намъ, *поняли* и разсмѣялись.

— Но, впрочемъ,—добавила она:—я надѣюсь, что все будетъ хорошо.

А я, признаться, на это не надѣялся, хотя и самъ не зналъ,—почему всѣ добрыя надежды на его счетъ были мнѣ чужды.

Затѣмъ, слѣдующій день я провелъ въ бѣготнѣ и въ сборахъ и не видалъ Шерамура. Консьержъ говорилъ, что онъ приходилъ, узналъ, что меня нѣтъ дома, и ушелъ, что-то написавъ на притолкѣ.

Я долго разбиралъ и прочиталъ нѣчто несообразное и не отвѣчавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «оставьте мнѣ пузырянку глазныхъ капель, что помогаютъ отъ зубной боли».

Digitized by Google

Я зналъ, что онъ одинъ разъ, когда у него болѣли зубы, взялъ въ ротъ бывшія у меня глазныя капли и тотчасъ исцѣлѣлъ. Это меня тогда удивило и насмѣшило, и я отдалъ консьержу «пузырянку», чтобы передалъ Шерамуру, если онъ не застанетъ меня дома. Но онъ не приходилъ за глазными каплями, — вѣроятно, зубы его прошли сами собою.

На слѣдующій день онъ не явился, и еще день его тоже не было, а потомъ уже и наступилъ и день моего отъѣзда. Шерамуръ какъ въ воду канулъ.

Я былъ въ затрудненіи; мнѣ чрезвычайно хотѣлось знать: чѣмъ его Богъ черезъ добрыхъ людей обрадовалъ; но Шерамура нѣтъ и нѣтъ,—какъ сквозь землю провалился.

Хоть неловко было докучать моей дамѣ послѣ прощанія, но я урвалъ минутку и ѣду къ ней, чтобы узнать: не былъ ли у ней мой несмысль, или не слыхала ли о немъ чего-нибудь отъ того, къ кому его посылала.

Пріѣзжаю и не застаю ея дома: говорятъ, она на цѣлую недѣлю уѣхала къ пріятельницѣ за Сенъ-Клу.

Конечно, больше искать слуховъ было негдѣ, и я помирился съ той мыслью, что, вѣроятно, такъ завтра и уѣду, ничего не узнавъ о Шерамурѣ. А потомъ,—думаю, онъ, пожалуй, такъ и затеряется, и въ сознаніи моемъ о немъ останется какой-то разсучившійся обрывокъ... Будетъ и жалко, и досадно всю жизнь воображать, что онъ попрежнему все голоденъ и холоденъ и блуждаетъ отъ одной скамьи до другой, не имѣя гдѣ выспаться.

Кто настоящій эгоистъ, кто съ толкомъ любитъ свой душевный комфортъ, тотъ долженъ тщательно избѣгать такихъ воспоминаній. Вотъ почему, между прочимъ, и слѣдуетъ знакомиться только съ порядочными людьми, у которыхъ дѣла ихъ всегда въ порядкѣ, и надо ихъ бросать, когда фортуна поворачивается къ нимъ спиною. Это подлое, но очень практическое правило.

И вотъ прошла послѣдняя ночь, прошло утро: я сбѣгалъ позавтракать невозможными блюдами m-me Grillade,—все въ чаяніи встрѣтить тамъ Шерамура, и, наконецъ, за часъ до отхода поѣзда, нанялъ фіакръ, взялъ мой багажъ и уѣхалъ.

Я зналъ, что пріѣду на амбаркадеръ рано; это мнѣ было нужно, чтобы встрѣтиться съ землякомъ, съ которымъ мы

условились ѣхать въ одномъ поѣздѣ, притомъ я хотѣлъ поправить свой желудокъ нѣсколько лучшимъ завтракомъ.

О Шерамурѣ размышлять было уже некогда, но зато онъ самъ очутился передо мною въ самую неожиданную минуту, и притомъ въ особенномъ, мало свойственномъ ему настроеніи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Передъ самымъ главнымъ подъѣздомъ амбаркадера сѣверной дороги есть небольшой ресторанъ съ широкимъ тротуаромъ, отѣненнымъ пятью густыми каштанами, подъ которыми разставлено множество бѣлыхъ мраморныхъ столиковъ. Здѣсь даютъ настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Такихъ ресторанчиковъ тутъ нѣсколько и всѣ они, главнымъ образомъ, существуютъ на счетъ отъѣзжающихъ и провожающихъ; но самый лучшій изъ нихъ это тотъ ресторанъ съ пятью каштанами, о которомъ я разсказываю. Тутъ мы условились встрѣтиться съ землякомъ, съ которымъ хотѣли держать путь, и какъ сговорились, такъ и встрѣтились. Комиссіонеръ избавилъ насъ отъ всякихъ трудовъ по сдачѣ багажа и покупкѣ билетовъ, и мы имѣли добрый часъ досужаго времени для послѣдняго завтрака подъ тѣнью парижскихъ каштановъ. Мы заняли одинъ столикъ, спросили себѣ бифштексы и вина, и не успѣли воткнуть вилки въ мясо, какъ на имперіалѣ выдвинувшагося изъ-за угла омнибуса появился Шерамуръ, котораго я издалека узналъ по его волнующейся черноморской бородѣ и бандитской шляпѣ. Онъ и самъ меня замѣтилъ и сначала закивалъ головою, а потомъ скоро соскочилъ съ имперіала и, взявъ меня за руку, сжалъ ее и не только подержалъ въ своей рукѣ, но для чего-то поводилъ изъ стороны въ сторону и даже промычалъ:

— Ну!

— Да, говорю: вотъ я и уѣзжаю, Шерамуръ.

Онъ опять пожалъ и поводилъ мою руку, опять что-то промычалъ и сталъ ѣсть бифштексъ, который я велѣлъ подать для него въ ту минуту, когда только его завидѣлъ.

— Пейте вино, Шерамуръ, — поднимайте прощальную чашу,—вѣдь мы съ вами прощаемся, пошутилъ я, заговоривъ in hoch romantische Stille.

— Могу,—отвѣчалъ онъ.

Digitized by Google

Я налилъ ему большой кубокъ, въ который входитъ почти полбутылки, и спросилъ еще вина и ёще мяса. Мнѣ хотѣлось на разставаньи накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.

Онъ выпилъ, поднялъ другой кубокъ, который я ему налилъ, сказалъ «ну», вздохнулъ и опять поводилъ мою руку, и опять сталъ ѣсть. Наконецъ, все это было кончено, онъ выпилъ третій кубокъ, сказалъ свое «буде», закурилъ капоральную сигаретку и, опустивъ руку подъ столъ, сталъ держать меня за руку. Онъ, очевидно, хотѣлъ что-то сказать, или сдѣлать что-то теплое, дружественное, но не зналъ, какъ это дѣлается. У меня въ груди закипали слезы.

Я воспользовался его рукожатіемъ и тихо перевелъ въ его руку двадцати-франковый червонецъ, которымъ предварительно подавилъ его въ ладонь. Онъ почувствовалъ у себя въ рукѣ монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвѣчалъ:

— Могу, могу,—и съ этимъ зажалъ деньги въ ладонь съ ловкостью приказнаго старыхъ временъ.

— Ну, какъ же,—говорю:—разскажите, любезный Шерамуръ, каковъ вышелъ дебютъ вашъ въ большомъ свѣтѣ?

— Гдѣ это?

— Въ посольствѣ.

— Да, былъ.

— Что же... какой вы тамъ имѣли успѣхъ?

— Никакого.

— Почему?

— Я не знаю.

— Ну, шутки въ сторону: разсказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?

— Нашелъ. Я сначала попалъ было куда-то, гдѣ написано: «извѣщаютъ соотечественниковъ, что здѣсь никакихъ пособій не выдаютъ». Тамъ мнѣ сказали, чтобы смотрѣть, гдѣ на дверяхъ заплатка и на заплаткѣ его имя написано.

— Ну, вы нашли заплатку и позвонили?

— Да.

— Васъ приняли?

— Да, пустили.

— И вы разсказали этому дипломату всю вашу исторію?

Шерамуръ посмотрѣлъ на меня, какъ дѣлалъ всегда, когда ему не хотѣлось говорить, и отвѣчалъ:

Digitized by Google

— Ничего я ему не разсказывалъ.

Но я не могъ позволить ему такъ легко отъ меня отдѣлаться и присталъ:

— Отчего же вы не разсказали? Вѣдь вы же съ тѣмъ пошли...

— Да что-жъ, какъ ему разсказывать, если онъ не вышелъ.

— Что это за мученіе съ вами: «приняли», «не вышелъ»,—говорите толкомъ!

— Лакей пустилъ и велѣлъ пять минутъ подождать. Я подождалъ пять минутъ, а потомъ говорю: пять минутъ прошло. Лакей говоритъ: «что дѣлать, — monsieur вѣрно позабылъ». А я говорю: ну, такъ скажи же своему monsieur, что онъ свинья,—и ушелъ.

Я просто глаза вытаращилъ: неужто это и все, чѣмъ кончилась моя затѣя?

— А что же вамъ еще надо?

— Шерамуръ, Шерамуръ! Злополучное и бѣдное созданіе: да развѣ это такъ можно дѣлать?

— А какъ еще надо дѣлать?

— Да вы бы подумали,—вѣдь мы изъ-за этого подняли цѣлую исторію: впутали сюда свѣтскую даму...

— А ей что такое?

— Какъ что такое? Она васъ рекомендовала, за васъ старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомаго ей человѣка въ его же домѣ и при его же слугѣ. Вѣдь это же такъ не водится.

— Отчего—не водится?

— Ну, вотъ еще: «отчего?»—не водится, а вдобавокъ ко всему можетъ-быть вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.

Шерамуръ сдѣлалъ видъ рѣзкаго недоумѣнія и вскричалъ:

— Какъ это... я несправедливо сдѣлалъ!

— Да; вы несправедливо сдѣлали; этотъ чиновникъ въ самомъ дѣлѣ могъ быть занятъ, могъ и позабыть.

— Ну, перестаньте.

— Отчего?

— Какія у нихъ занятія!

— У дипломатовъ-то?

— Да!

— А сношенія?

Digitized by Google

— Все глупости.

— Покорно васъ благодарю.

— Разумѣется; у нихъ жрать всегда готовое. Я, батюшка, проходилъ, самъ видѣлъ: внизу тамъ поваръ въ колпакѣ и кастрюли кипѣли. Чего еще: жри пока не надо.

Я дольше не выдержалъ, разсмѣялся и приказалъ подать еще вина.

Шерамуръ освѣтился; онъ почувствовалъ, что его пытка кончилась: онъ опять изловилъ мою руку, помялъ ее, поводилъ, вздохнулъ и сказалъ:

— Бросимъ... не надо ничего.

— Это дѣло о вашей судьбѣ бросить?

— Да; какая судьба... Ну ее!..

— А мнѣ, говорю, — ужасно даже это ваше равнодушіе къ себѣ.

— Ну, вотъ,—есть о чемъ.

Русскій человѣкъ, — думаю себѣ:—одна у него жизнь, и та—бездѣлица. А онъ вдругъ оказываетъ мнѣ снисхожденіе.

— Вы, говоритъ, — можете, если хотите, лучше въ Петербургѣ?

— Что это такое?

— Да прямо Горчакову поговорите.

— А вы думаете, что я такая персона, что вижу Горчакова запросто и могу съ нимъ о васъ разговаривать и сказать, что въ Парижѣ проживаетъ второй Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

— Зачѣмъ Бобчинскій,—сказать просто, такъ, что было?

— А вы думаете я знаю, что̀ такое съ вами было?

— Разумѣется, знаете.

— Ошибаетесь: я знаю только, что васъ цыгане съ девятаго воза потеряли, что васъ землемѣръ въ тѣсный пасалтырь запиралъ, что вы на дворъ просились, проскользнули какъ Спиноза и ушли оттого, что не знали, почему сіе важно въ-пятыхъ.

— Вотъ, вотъ это все и есть,—больше ничего не было.

— Неужто это такъ—рѣшительно все?

— Да, разумѣется, такъ!

— И больше *ничего*?

— Ничего?

— Припомните?

Припоминалъ, припоминалъ и говоритъ:

Digitized by Google

— Я у одной дамы былъ, она меня къ одному мужчинѣ послала, а тотъ къ другому. Всѣ добры, а помогать не могутъ. Тогда одинъ мнѣ работу далъ и не заплатилъ — его арестовали.

— Вы писали, что ли?

— Да.

— Что же такое?

— Не знаю. Я середину писалъ, — безъ конца, безъ начала.

— И политичнѣе этого у васъ всю жизнь ничего не было?

— Не было.

— Ну, такъ вотъ же вамъ послѣдній сказъ: какъ вы себя дурно ни держали въ посольствѣ, ступайте опять къ этой дамѣ и разскажите ей откровенно все, что мнѣ сказали — и она сама съѣздитъ и попроситъ навести о васъ справки; вы вѣрно невинны и, можетъ-быть, никѣмъ не преслѣдуетесь.

— Нѣтъ; къ ней-то ужъ я не пойду.

— Почему?

Молчитъ.

— Что же вы не отвѣчаете?

Опять молчитъ.

— Шерамуръ! вѣдь мы сейчасъ разстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить къ этой дамѣ?

— Она безстыдница.

— Что-о?

Я отъ нетерпѣнія и досады даже топнулъ и возвысилъ голосъ:

— Какъ, она безстыдница?

— А зачѣмъ она чортъ знаетъ что читать даетъ.

— Повторите мнѣ сейчасъ, что такое она дала вамъ безстыдное?

— Книжку.

— Какую?

— Нѣтъ-съ, я этого не могу назвать.

— Назовите, — я этого требую, потому что я увѣренъ, что она ничего безстыжаго сдѣлать не могла, вы это на нее выдумали.

— Нѣтъ, не выдумалъ.

А я говорю:

Digitized by Google

— Выдумали.

— Не выдумалъ.

— Ну, такъ назовите ея безстыдную книжку.

Онъ покраснѣлъ и засмѣялся.

— Извольте называть!—настаивалъ я.

— Такъ... вы по крайней мѣрѣ—того...

— Чего?

— Отвернитесь.

— Хорошо,—я на васъ не гляжу.

— Она сказала...

— Ну!

Онъ понизилъ голосъ и стыдливо пролепеталъ:

— Вы бы читали хорошіе англійскіе романы... и дала...

— Что-о та-акое?!

— «Попэнджой ли онъ»!

— Ну-съ!

— Больше ничего.

— Такъ что же тутъ дурного?

— Какъ что дурного?... «Попэнджой ли онъ»... Что за мерзость!

— Ну, и вы этимъ обидѣлись?

— Да-съ; я сейчасъ ушелъ.

Право, я почувствовалъ желаніе швырнуть въ него что попало, или треснуть его стаканомъ по лбу, — такъ онъ былъ мнѣ въ эту минуту досадителенъ и даже противенъ своею безнадежною безтолковостью и безпомощностью... И только тутъ я понялъ всю глубину и серьезность такъ называемаго «петровскаго разрыва»... Этотъ «Попэнджой» воочію убѣждалъ, какъ люди другъ друга не понимаютъ, но спорить и разсуждать о романѣ было некогда, потому что появился комиссіонеръ и возвѣстилъ, что время идти въ вагонъ.

Шерамуръ все провожалъ насъ до послѣдней стадіи,— даже несъ мой пледъ и не разъ принимался водить туда и сюда мою руку, а въ самую послѣднюю минуту мнѣ показалось, какъ будто онъ хотѣлъ потянуть меня къ себѣ или самъ ко мнѣ потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тѣнь и волненіе его стало несомнѣнно: онъ торопливо бросилъ пледъ и побѣжалъ, крикнувъ на бѣгу:

— Прощайте; я, должно-быть, муху сожралъ.

Такова была наша разлука.

Digitized by Google

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Парижъ давно былъ за нами.

По мѣрѣ того, какъ я освобождался отъ нервной усталости въ вагонѣ, мнѣ стало припоминаться другое время и другіе люди, которыхъ положеніе и встрѣчи имѣли хотя нѣкоторое маленькое подобіе съ тѣмъ, что было у меня съ Шерамуромъ. Мнѣ вспомянулся дерзновенный «старецъ Погодинъ» и его просвѣтительныя паломничества въ Европу съ благородною цѣлію просвѣтить и наставить на истинный путь Искандера, нѣжныя чувства къ коему «старецъ» исповѣдалъ въ своей «Простой рѣчи о мудрыхъ вещахъ» (1874 г.). Потомъ представился Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, — этотъ даровитѣйшій изъ всѣхъ насъ писатель — и «мягкій человѣкъ»; пришелъ на умъ и тотъ рослый грѣшникъ, чьи черты Тургеневъ изображалъ въ Рудинѣ, — человѣкъ, котораго Тургеневъ видѣлъ и наблюдалъ здѣсь же, въ этомъ самомъ Парижѣ, и мнѣ стало не по себѣ. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Тамъ у всѣхъ есть видъ и содержаніе, и свой нравственный обликъ, а это... именно что-то цыганами оброненное; какая-то затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бѣдная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеномъ встряхнуть, да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже черезчуръ хитро задуманная «загадочная картинка», изъ тѣхъ, которыми полны окна мелкихъ лавчонокъ Парижа? Глупыя картинки, а надъ ними прилежно трудятъ головы очень не глупые люди. Изъ этихъ головоломокъ мнѣ особенно припоминалась одна: какой-то завитокъ, — сѣрая размазня съ подписью: «Qu'est ce que c'est?» Она болѣе всѣхъ другихъ интригуетъ и мучитъ любопытныхъ и сбиваетъ съ толку тѣхъ, которые выдаютъ себя за лучшихъ знатоковъ всѣхъ загадокъ. Они вертятъ ее на всѣ стороны, надѣясь при одномъ счастливомъ оборотѣ открыть: что такое сокрыто въ этомъ гіероглифѣ? и не открываютъ, да и не откроютъ ничего, потому что тамъ нѣтъ ничего,—потому что это просто пятно,—и ничего болѣе.

По возвращеніи въ Петербургъ, мнѣ приходилось говорить кое-гдѣ объ этомъ замѣчательномъ экземплярѣ нашей эмиграціи, и всѣ о немъ слушали съ любопытствомъ, иные съ состраданіемъ, другіе смѣялись. Были и такіе, которые

Digitized by Google

не хотѣли вѣрить, чтобы за видимымъ юродствомъ Шерамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо бы его положить, да поласкать каленымъ утюжкомъ по спинѣ». Конечно, — каждый судилъ по-своему, но была въ одномъ домѣ вальяжная няня, которая положила ему судъ особенный и притомъ прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась въ домѣ уваженіемъ и правомъ вступать съ короткими знакомыми въ разговоръ и даже дѣлать имъ замѣчанія.

Она, разумѣется, не принадлежала ни къ одной изъ ярко очерченныхъ въ Россіи политическихъ партій и хотя носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазію въ «шнипѣ», но въ вопросахъ высшихъ мировыхъ coterie держалась взглядовъ Бѣжецкаго уѣзда, откуда происходила родомъ, и оттуда же вынесла запасъ русскихъ истинъ. Ей не понравилось легкомысліе и шутливость, съ которыми всѣ мы относились въ Шерамуру; она не стерпѣла и замѣтила это.

— Нехорошо,—сказала она:—человѣкъ ничевошный, надъ нимъ грѣхъ смѣяться: у него есть ангелъ, который видитъ лицо.

— Да что же дѣлать, когда этотъ человѣкъ никуда не годится?

— Это не ваше дѣло: такъ Богъ его создалъ.

— Да онъ и въ Бога-то не вѣритъ.

— А Господь съ нимъ—глупъ, такъ и не вѣритъ, и безъ него дѣло обойдется, ангелъ у него все-таки есть и о немъ убивается.

— Ну, ужъ будто и убивается?

— Конечно! Онъ къ нему приставленъ и соблюдетъ. Вы какъ думаете: вѣдь чѣмъ плоше человѣкъ, тѣмъ ангелъ къ нему умнѣй ставится, чтобы довелъ до дѣла. Это и ему въ заслугу.

— Ну да, вы какъ заведете о дуракѣ, такъ никогда не кончите. Это у васъ самые милые люди.

Она слегка обидѣлась, начала тыкать пальцемъ въ разсыпанныя дѣтьми на скатерти крошки и съ дрожаніемъ въ голосѣ докончила:

— Что они вамъ мѣшаютъ, дурачки! ихъ Богъ послалъ, терпѣть ихъ надо, можетъ-быть онъ опредѣлится къ такой цѣли, какой всѣ вы ему и не выдумаете.

Digitized by Google

— А вы этому вѣрите?

— Я? почему же? вѣрю и уповаю... А вотъ вамъ тогда и будетъ стыдно!

Вотъ она, думаю,—наша мать Ѳедорушка, распредобрая, распретолстая, что во всѣ края протянулася и всѣмъ ласково улыбнулася.

Украшайся добротою, если другимъ нечѣмъ.

Няня казалась немножко разстроена и съ нею больше не спорили и теплой вѣры ея не огорчали, тѣмъ болѣе, что никто не думалъ, что всей этой исторіи еще не конецъ и что о Шерамурѣ, долго спустя, получатся новѣйшія и притомъ самыя интересныя извѣстія.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Прошло около двухъ лѣтъ; въ Герцеговинѣ кто-то встряхнулъ старые счеты и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У насъ шли споры о томъ, какъ мы исполнили наше призваніе. Ничего не понимая въ политикѣ, я не принималъ въ этихъ спорахъ никакого участія. Но съ окончаніемъ войны я раздѣлялъ нетерпѣливыя ожиданія многихъ, чтобы скорѣе начинала дешевѣть страшно вздорожавшая провизія. Подъ вліяніемъ этихъ нетерпѣливыхъ, но тщетныхъ ожиданій, я, бывало, какъ возвращаюсь съ прогулки, сейчасъ же обращаюсь къ этажеркѣ, гдѣ въ завѣтномъ уголкѣ, на полочкѣ, поджидаетъ меня докучная книжка съ постоянно возрастающей «передержкой». И вотъ разъ, сунувшись въ этотъ уголокъ, я нахожу какую-то незнакомую мнѣ вещь, — свертокъ, довольно дурно завернутый въ бумагу,—очевидно книга. На бумагѣ нѣтъ ничьего имени, но есть какія-то расплывшіяся письмена, писанныя въ самый край «подъ тѣснотку», какъ пишутъ неряхи. Начинаю дѣлать опыты, чтобы это прочесть и послѣ большихъ усилій читаю: «долгъ и за процентъ ж. в. х.». Больше ничего нѣтъ.

Снимаю бумагу и нахожу книгу Ренана «St. Paul», но прежде чѣмъ я успѣлъ ее развернуть, изъ нея что-то выпало и покатилось. Начинаю искать, шарить по всѣмъ мѣстамъ: что бы это такое вывалилось? Зову служанку, ищемъ вдвоемъ, втроемъ, все приподнимаемъ, двигаемъ тяжелую мебель и, наконецъ, находимъ... Но что?—Находимъ чистѣйшаго золота двадцати-франковую французскую монету! Не можетъ же быть, чтобы она валялась тутъ изстари: послѣ

Digitized by Google

метутъ, натираютъ и не могли бы ее не замѣтить... Нѣтъ; монета положительно сейчасъ только выпала изъ книги. Но что это такое? зачѣмъ и кто могъ сдѣлать мнѣ такое приношеніе? Ломаю голову, припоминаю, не положилъ ли я ее самъ, соображаю то и другое и не прихожу ни къ какому результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и разсматриваю письмена, возлагая на нихъ послѣднюю надежду узнать: что это за явленіе? Ничего болѣе: «долгъ и за процентъ ж. в. х...» Характеръ почерка неуловимъ, потому что писано на протекучкѣ, и все расплылось... Соображаю, что здѣсь *долгъ* и что — *процентъ*, или «за процентъ»: монета долгъ, а книга «за процентъ», или наоборотъ? И потомъ, что̀ значатъ эти «ж. в. х.»? Нѣтъ сомнѣнія, что это не первыя буквы какого-либо имени, а совсѣмъ что-то другое... Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: — все выходитъ какъ-то странно и некстати: «жму вашу руку», — но послѣдняя буква не та; «жгу вашъ хохолъ», тутъ всѣ буквы соотвѣтствуютъ словамъ, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мнѣ такую глупость? Или это продолженіе фразы: посылаю «долгъ и за процентъ» еще вотъ что, напримѣръ: «желтый ватошный халатъ, или женскій ватошный халатъ»... Все никуда не годится. Глупый водевильный случай, а интересуетъ! Даже во снѣ соображаю и подбираю: «желаю вамъ хорошаго». Вотъ, кажется, это пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»; или... наконецъ, батюшки мои! батюшки, да это такъ и есть: не надлежитъ ли это читать... «жру всегда хорошо»? Рѣшительно это такъ и не можетъ быть иначе. Но тогда, что̀ же это значитъ: неужто здѣсь былъ Шерамуръ? Неужто онъ появился въ Петербургѣ именно теперь, въ это странное время, и проскользнулъ ко мнѣ. Какова отчаянность! Или, можетъ-быть, его простили и разрѣшили и онъ ходитъ смѣло по вольному паспорту... Вѣдь, говорятъ, все возможно въ природѣ.

Я припомнилъ, что дѣвушка мнѣ дня три-четыре назадъ сказывала о какомъ-то незнакомомъ ей господинѣ, который приходилъ, спрашивалъ, просилъ позволенія «обождать» и ждалъ, но не дождался, ушелъ, сказавши, что опять придетъ, но до сихъ поръ не приходилъ.

Разспрашивалъ: каковъ былъ приходившій ростомъ, дородствомъ, лицомъ — красотою? — ничего не добился. Всѣ

Digitized by Google

примѣты описываютъ точно на русскомъ паспортѣ: къ кому хочешь приложи—всѣмъ одинаково впору будетъ.

Остается одно: книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я такъ и сдѣлалъ, и ждалъ его терпѣливо, съ надеждою, что авось онъ и совсѣмъ не придетъ. Такъ минулъ день, два, недѣля и мѣсяцъ, и, наконецъ, когда я совсѣмъ пересталъ ждать, — онъ вдругъ и явился.

Звонокъ; дѣвушка отпираетъ дверь и спѣшно бѣжитъ впередъ гостя шепнуть:

— Это тотъ, который ждалъ.

Легкое волненіе и выхожу навстрѣчу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Входитъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, совершенно мнѣ незнакомый, и называетъ себя незнакомымъ же именемъ.

Прошу садиться и освѣдомляюсь: чѣмъ могу служить.

— Я, говоритъ,—недавно изъ-за границы; жилъ два мѣсяца въ Парижѣ и часто видѣлся тамъ съ однимъ страннымъ землякомъ, котораго вы знаете. Онъ далъ къ вамъ порученіе,—доставить посылочку. Я ее тутъ у васъ и оставилъ, чтобы не носить, но позабылъ сказать прислугѣ.

— Я, отвѣчаю, — нашелъ какую-то посылочку; но отъ кого это?

Онъ назвалъ Шерамура.

— Какъ же, говорю:—очень его знаю. Ну, что онъ, какъ, гдѣ живетъ и все такъ же ли бѣдствуетъ, какъ бѣдствовалъ?

— Онъ въ Парижѣ, но что касается бѣдствованія, то въ какомъ смыслѣ вы это берете... Если насчетъ жены...

— Какъ, говорю, — жены!.. Какая жена! Я спрашиваю: есть ли у него что ѣсть?

— О, разумѣется,—онъ вовсе не бѣдствуетъ: онъ «пропріетеръ», женатъ, сидитъ grand mangeur'омъ въ жениномъ ресторанѣ, который называетъ «обжорной лавкой», и вообще, говоря его языкомъ, «жретъ всегда хорошо»,—впрочемъ, онъ это даже обозначилъ начальными буквами, въ полной увѣренности, что вы поймете.

— Понять-то я понялъ, но что же это... какъ же это могло случиться... Ангелъ... конечно, много значитъ... но все-таки...

Digitized by Google

Всматриваюсь въ моего собесѣдника, — думая, коего онъ духа,—не вышучиваетъ ли онъ меня, сообщая такія нестаточныя дѣла о Шерамурѣ? Нѣтъ; насколько мнѣ дано наблюдательности и проникновенія, господинъ этотъ производитъ хорошее впечатлѣніе,—повидимому, это экземпляръ изъ новой, еще не вполнѣ обозначившейся, но очень пріятной породы бодрыхъ людей, не страдающихъ нашимъ нервическимъ раздраженіемъ и безпредметною мнительностью,— «человѣкъ будущаго», который умѣетъ смотрѣть впередъ безъ боязни и не таять въ безплодныхъ негодованіяхъ ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлаго ему представляются больными съ похмелья; онъ на нихъ не сердитъ и даже совсѣмъ ихъ не судитъ, а словно провожаетъ на кладбище, приговаривая: вамъ гнить, а намъ жить.

Я люблю эту породу за то, что въ ней есть нѣчто свѣжее, нѣчто уже не наше, нѣчто намъ несвойственное, но живучее и сильное. Они взросли, какъ осотъ на межахъ между грядъ, и ихъ уже не выполешь. Русь будетъ скоро не такая, какъ мы, а такая—какъ они, и слава Богу, слава Богу!

Понявъ, что мой гость относится къ этому сорту, я сейчасъ же усадилъ его въ болѣе покойное кресло, велѣлъ подать чай и безцеремонно (какъ слѣдуетъ съ такими людьми) попросилъ его разсказать мнѣ все, что̀ ему извѣстно о моемъ Шерамурѣ, — какъ онъ женился и сдѣлался парижскимъ «пропріетеромъ».

Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Шерамуру помогла славянская война въ Турціи. Но какъ онъ могъ вздумать воевать? Не противно ли это всей его натурѣ и всѣмъ доводамъ его бѣднаго разсудка? И противъ кого и за кого онъ мужествовалъ и сражался? Все это было, какъ вся его жизнь,—безтолково.

Вотъ какъ шло дѣло: онъ *начиталъ* въ газетахъ, что̀ турки обижаютъ *бѣдныхъ* славянъ, отнимая у нихъ урожай, стада и все, что надо «жрать». Этого было довольно: долго не разсуждая, онъ возсталъ и пошелъ по образу пѣшаго хожденія въ Черногорію. Онъ попалъ въ «Волдавію» или «Молдахію», гдѣ соединился съ «доброходцами», и явился въ Сербію, образцовые порядки которой дѣлали нелишними

Digitized by Google

здѣсь даже Шерамура. Онъ поступилъ куда-то, во что-то, о чемъ, по своему обыкновенію, не умѣлъ дать никакого резоннаго отчета. На войнѣ онъ «барабанилъ», чего я даже не могъ ожидать отъ него, но потомъ нашелъ, что въ Сербіи у всѣхъ жратвы больше, чѣмъ онъ видѣлъ во весь свой вѣкъ. «Дажо виномъ прихлебываютъ». Никакихъ иныхъ интересовъ, достойныхъ борьбы на жизнь и смерть, Шерамуръ, разумѣется, не признавалъ, но въ этомъ его нельзя винить, потому что онъ не могъ ихъ чувствовать.

И вотъ онъ духомъ возмутился: за что онъ сражается: если у нихъ есть что жрать, то чего же имъ еще надо? «Черти проклятые!.. съ жиру бѣсятся! къ намъ бы ихъ спровадить, чтобы въ черныхъ избахъ пожили, да мякины пожевали!» Славянскія претензіи Шерамуръ всѣ считалъ пустяками, которые Аксаковъ въ Москвѣ выдумалъ вмѣстѣ съ Кокоревымъ, и Шерамуръ разсердился и «вышелъ», то-есть пересталъ барабанить. Нѣкоторое время онъ слонялся безъ дѣла, но ощущалъ себя въ полномъ довольствѣ: «вездѣ, говоритъ, есть кукуруза и даже виномъ запиваютъ, какъ въ царствѣ небесномъ». Таково его понятіе о царствѣ небесномъ. Но вотъ, переходя туда-сюда, съ плохими и безтолковыми разспросами, онъ былъ, наконецъ, приведенъ своимъ ангеломъ куда ему слѣдовало; напалъ на такихъ людей, которые тоже подобно ему подвывали:

Холодно, странничекъ, холодно,
Голодно, родименькій, голодно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Шерамуръ здѣсь сейчасъ «опредѣлился». Опять какъ и подъ какимъ заглавіемъ? это онъ, по непримиримой враждѣ ко всякой опредѣленности, излагалъ не ясно; но можно было понять, что онъ въ качествѣ человѣка черномордаго и съ «сербскимъ квитомъ» былъ въ числѣ санитаровъ. Кому-то гдѣ-то его отрекомендовалъ какой-то, по его словамъ, «очень добрый и вполнѣ невѣрующій монахъ». Прозорливый инокъ увѣрилъ кого-то, что лучше Шерамура нѣтъ, чтобы «приставить къ пищѣ». И вотъ нашъ чудакъ въ первый разъ во всю жизнь попалъ на мѣсто по своему настоящему призванію. И зато, говорятъ, какъ же онъ дѣйствовалъ: крошкѣ не позволялъ пропасть, все больнымъ тащилъ. Самъ только «хлѣбово» ѣлъ, а свою порцію котлетъ солдатамъ дробилъ,

Digitized by Google

выбирая, который ему казался «заморснпѣй». Начальство, «сестры» — всѣ имъ были довольны, а солдатики цѣны не слагали его «добродѣтели».

— Даже котораго, говорятъ, монахъ на смерть отысповѣдуетъ, онъ и тому, мимо идя, еще кусочекъ котлетки въ ротъ сунетъ, — утѣшаетъ: «жри». Тотъ и помирать остановится, а за нимъ глазомъ поведетъ.

И кончилось все это для Шерамура чѣмъ же? тѣмъ, что онъ самъ не замѣтилъ, какъ, при его спартанствѣ, у него къ концу службы собралась отъ жалованья «пригоршня золота». Сколько его тамъ было,—онъ не считалъ, но повезъ все въ свою метрополію, къ «швейцарцамъ»—чтобы дѣлить. Привезъ къ одному изъ митрополитовъ и «высыпалъ». Стали говорить и поспорили: тотъ «*все*» хотѣлъ взять на «дѣло», но Шерамуръ не далъ. Онъ настаивалъ, чтобы прежде всего «сотворить какую-то вселенскую жратву», т. е. «пожрать и другихъ накормить», и ограничился на этомъ такъ твердо, что «*тотъ* цапнулъ съ краю и ушелъ». Сколько именно онъ у него взялъ — Шерамуръ не зналъ: «цапнулъ съ краю», да и баста. Деньги были не считанныя, да и считать ихъ не зачѣмъ: «все равно не воротить».

Шерамуръ увидалъ, что здѣсь дѣлятъ неладно, и уѣхалъ въ Парижъ. Здѣсь онъ зналъ честную душу, способную войти во всѣ его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содѣйствіе; драгоцѣнный человѣкъ этотъ была Tante Grillade.

Она приняла Шерамура и его золото совсѣмъ не такъ, какъ «швейцарскіе митрополиты».

Tante Grillade ввела Шерамура въ своей arrière boutique, что составляетъ своего рода «святая святыхъ» еврейской скиніи, и пригласила его всыпать тамъ все золото въ комодъ, запереть и ключъ взять съ собою. Voyou положили пока не собирать. Tante сказала, что знаетъ нѣчто лучшее, — и назначила Шерамуру придти къ ней вечеромъ, когда она будетъ свободна. Они вмѣстѣ должны были обдумать, какъ лучше распорядиться такимъ богатствомъ, которое въ практичныхъ рукахъ нѣчто значило.

Шерамуръ, которому до сихъ поръ никакія комбинаціи никогда не приходили, думалъ просто: оставить деньги у Танты и водить къ ней голодныхъ, пока она подастъ счетъ и скажетъ: tout est fini. Но Tante Grillade была гораздо

Digitized by Google

дальнозорче и умнѣе Шерамура, а притомъ, на счастье его, она имѣла на него планы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Вечеромъ, когда Шерамуръ пришелъ къ Тантѣ, онъ встрѣченъ былъ необыкновенно: «кормежная» зала, дальше которой и во дни благополучій не заходилъ Шерамуръ, теперь была свободна отъ гостей, подметена и убрана. Въ ней еще было влажно и пахло «картофелемъ и маркофелемъ», но въ углѣ, шипя и потрескивая, горѣла маленькая угольная печечка и очищала воздухъ. Зато чрезъ открытую дверь виднѣлось настоящее чудо декоративнаго устройства. Arrière boutique, которая днемъ казалась отвратительнымъ колодезнымъ днищемъ, куда никогда не проникалъ свѣтъ и гдѣ Tante Grillade едва поворачивалась какъ черепаха въ шайкѣ, теперь представляла очень пріютный уголокъ. Сѣрая стѣна, которая заслоняла весь свѣтъ широкаго, но совершенно безполезнаго окна, теперь была заслонена пышною бѣлою драпировкою съ фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вмѣсто слабыхъ, тщедушныхъ рефлексовъ внѣшняго свѣта комната была до изобилія освѣщена и согрѣта огнемъ двухъ лампъ, стоявшихъ по угламъ неизбѣжнаго мраморнаго камина. Вся эта комната была такъ мала, что представляла какой-то клубочекъ, въ которомъ ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространствѣ какихъ-нибудь четырехъ квадратныхъ аршинъ тутъ были и двуспальная кровать Tante Grillade, и комодъ, гдѣ теперь хранилось Шерамурово золото, и каминъ съ веселымъ огонькомъ, и круглый столъ, на которомъ прекрасно дымилась чистая вазочка съ бульономъ изъ настоящаго мяса. Кромѣ этого, тутъ же стояли литръ краснаго вина и корзинка съ лакомствомъ «четырехъ нищихъ».

Сама Grillade тоже была въ авантажѣ: сѣдые крендели на ея вискахъ были загнуты какъ-то круче и крѣпче обыкновеннаго и придавали ея опытному лицу внушительность и въ то же время нѣчто пикантное.

Здѣсь у мѣста сказать, что Шерамуръ въ этотъ разъ *впервые* вкушалъ хлѣбъ и пилъ сокъ винограда tête-à-tête съ женщиной. И онъ не разсуждалъ, но чувствовалъ истину догмата, что для счастія недостаточно достать кусокъ хлѣба, но нужно имѣть съ кѣмъ его пріятно съѣсть.

Digitized by Google

Затрапезный разговоръ ихъ никѣмъ не записанъ, но онъ былъ очень серьезенъ и шелъ исключительно о деньгахъ. Tante доказала Шерамуру, что если держать его деньги въ ея комодѣ и кормить на нихъ voyou, то этихъ денегъ хватитъ не надолго; онѣ выйдутъ и voyou опять будетъ не на что кормить.

Шерамуръ согласился и задумался, а Tante Grillade показала выходъ, который состоялъ въ томъ, чтобы пустить деньги въ оборотъ. Тогда эти деньги дадутъ на себя другія деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить другихъ.

Шерамуръ захлопалъ въ ладоши:

— Voilà, говоритъ,—voilà, это и нужно! Одна бѣда: какъ пустить деньги, кому довѣрить; кто не обманетъ?

Шерамуръ закивалъ головою: ему вспомнились его швейцарскіе митрополиты, и онъ какъ перепелъ забилъ: вуй, вуй, мадамъ, вуй, вуй, вуй.

А потомъ, когда вслѣдъ затѣмъ Tante встала, чтобы подать compote de pommes, Шерамуръ, глядя ей стыдливо въ спину, вымолвилъ:

— Да возьмите вы эти деньги, Танта!

— На какой предметъ, monsieur?

— Да дѣлайте что знаете, наживайте.

Но Танта нашла это невозможнымъ.

— Я наживу и умру, а васъ выгонятъ.

— Гм... Да... подлость... А сколько бы человѣкъ можно постоянно кормить?

— Можно человѣка два кормить раза по два въ недѣлю, или, еще лучше, троихъ каждое воскресенье. И, кромѣ того, разъ въ годъ можно сдѣлать особый пиръ, на которомъ никого не будетъ, кромѣ бездомныхъ voyou.

У Шерамура даже сердце забилось отъ такой мысли, и когда Tante Grillade, вооружась щипчиками, принялась за noisettes, онъ застѣнчиво приступилъ къ ней:

— Ну, такъ какъ же, Tante, — какъ это сдѣлать? — а Tante, надавливая крѣпкій орѣхъ, посмотрѣла на него и дружески отвѣтила:

— Надо жениться.

— Ну, вотъ! Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что у васъ тогда все будетъ общее и если жена наживетъ — это принадлежитъ и мужу. Тогда, напри-

Digitized by Google

мѣръ, будь это я: я отдаю вамъ весь мой ресторанъ, и мы никого сюда больше не пустимъ.

— Да, да, вотъ... это самое: никого, никого не пустимъ!— вскричалъ Шерамуръ и въ сладостномъ изступленіи ума и чувствъ онъ схватилъ Tante за обѣ руки и мялъ ихъ, и водилъ изъ стороны въ сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться.

На другой день вечеромъ его опять повлекли сюда и мысль о пирѣ нищихъ, и, можетъ-быть, пріютный уголокъ при каминѣ, чего онъ, по своей непрактичности, не зналъ какъ устроить даже съ деньгами.

И вотъ онъ опять явился и говорилъ:

— Можно ли, чтобы опять... здѣсь... по-вчерашнему?

— Ага, я понимаю: ты, плутишка, вѣрно нашелъ себѣ жену и хочешь со мной говорить? Хорошо, хорошо, — садись: вотъ вино и баранина.

— Да; а жены нѣтъ. Вотъ если бы вы... захотѣли...

— Найти тебѣ невѣсту?

— Нѣтъ, если бы... вы... сами...

— Что это? ужъ не хочешь ли ты сдѣлать позднюю поправку къ проступку третьяго Наполеона?

— Именно это!

— Но едва ли *это* будетъ тебѣ по силамъ, мой бѣдный мальчикъ. Вѣдь тебѣ съ чѣмъ-нибудь тридцать, а мнѣ сорокъ восемь.

Видя простоту Шерамура, Tante Grillade рѣшилась на этотъ случай сократить свою хронологію болѣе чѣмъ на пятнадцать лѣтъ, но это было совершенно не нужно. Ни лѣта, ни наружность Танты не имѣли въ глазахъ Шерамура никакого значенія.

— Это ничего.

— А если такъ, то вотъ тебѣ моя рука и дружба до гроба.

Они обнялись, поцѣловались и обвѣнчались, при чемъ Танта безмѣрно возросла въ глазахъ мужа черезъ то, что получила какія-то деньги съ какого-то общества, покровительствующаго бракамъ.

Вечеромъ у нихъ былъ «пиръ нищихъ» — пиръ удивительный. Гости пришли даже изъ Бельвиля, и всѣ одинъ голоднѣе другого и одинъ другого оборваннѣе. Шерамуръ, пріодѣтый Тантой въ какую-то куртку, былъ между ними

Digitized by Google

настоящій король, и они съ настоящею деликатностью нищихъ устроили ему королевское мѣсто.

Безъ всякихъ ухищреній съ нимъ совершился святой обычай родной стороны: Шерамуръ былъ княземъ своего брачнаго вечера. Имъ занимались всѣ: жена, гости и полиція, которая могла заподозрить здѣсь нѣкоторое движеніе въ пользу наполеонидовъ.

Особенно возбудителенъ былъ одинъ моментъ, когда подали biegnots aux pommons и три человѣка, подученные Tante Grillade, вынули изъ-подъ стола незамѣтно туда спрятанную корзинку; въ корзинкѣ оказался большой, немного увядшій вѣнокъ, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. Въ вѣнкѣ были стоптаны нѣсколько цвѣтковъ, но зато его освѣжили яркимъ пучкомъ румяныхъ вишенъ и перевязали длиннымъ пунсовымъ вуалемъ съ надписью: «Bon oncle Grillade».

Вѣнокъ возложили на голову Шерамура и этимъ актомъ навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою: съ сей поры онъ сдѣлался «теткинъ мужъ», и очень много утрачивалъ въ своей непосредственности. Но онъ объ этомъ не думалъ. Къ тому же, историческая точность обязываетъ сказать, что добрый «oncle Grillade» въ настоящую торжественнѣйшую минуту его жизни былъ пьянъ, и это не его вина, а вина доброй Танты, которая всѣми мѣрами позаботилась облегчить всѣ предстоящія ему задачи.

И, къ чести ея, она съ первыхъ же шаговъ показала, что знаетъ и тактику, и практику. Когда sergent de ville постучалъ въ дверь, чтобы честная компанія разошлась, и довольные необыкновеннымъ угощеніемъ voyoux разсыпались, а jeunes mariés остались одни, Tante Grillade, ни слова не говоря, взяла своего маленькаго мужа на руки, повѣсила его вѣнокъ надъ кроватью, а самого его раздѣла, умыла губкою и положила къ стѣнкѣ. Шерамуръ все выдержалъ съ стоицизмомъ своего званія и потребовалъ только одно, чтобы ему дали оставшійся въ вѣнкѣ пучокъ вишенъ. И когда Tante его удовлетворила, онъ ихъ немедленно «сожралъ» и покорился своей долѣ.

Но не была ли эта доля слишкомъ сурова? Вотъ небольшія свѣдѣнія, которыя позволяютъ кое-что умозаключать объ этомъ.

Digitized by Google

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Tante не злоупотребляла своими преимуществами: она была великодушна, какъ настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шерамура, — опять-таки *губка*, — это страшное орудіе, которымъ повсюду ему угрожали женскія руки. Но зато онъ изъ этого научился извлекать нѣкоторыя выгоды въ пользу бѣдныхъ. Если ему встрѣчалась надобность помочь ближнему, не въ счетъ абонемента, и Танта этому противилась, — онъ «не давался умывать» и всегда успѣвалъ настоять на своемъ.

Повѣствователь видѣлъ его въ такой борьбѣ и уловилъ кое-что изъ ея сути. Онъ говорилъ, какъ они многіе сообща хотѣли кому-то помочь, и какъ къ этому стремился дядя Грилядъ, но ничего не принесъ и самъ пропалъ. А потомъ, когда разсказчикъ зашелъ къ нему вечеромъ, чтобы увести его на прощальную пирушку, онъ засталъ дядю въ стиркѣ: Танта только-что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцемъ.

Здороваясь съ гостемъ, онъ сейчасъ же сунулъ ему въ руку золотой и сказалъ:

— Передайте, я только сейчасъ у нея выпросилъ.

— Но я за вами, чтобы вмѣстѣ попировать.

— Это теперь невозможно.

— Отчего?

— Я занятъ,—видите: меня уже губкой вытерли.

— Тѣмъ лучше идти въ гости.

— Нѣтъ,—какъ же въ гости,—я говорю вамъ, что я занятъ. Надо же честно нести свой сакрифисъ.

И онъ остался въ пользу бѣдныхъ при своей Омфалѣ.

Сообщилъ я объ этомъ толстой нянѣ въ «панье» и со шнипомъ. Хлопнула себя она обѣими руками по крутымъ бедрамъ и расхохоталась.

— Видишь, говоритъ,—какое ему вышло опредѣленіе.

— А какъ полагаете: счастливъ онъ этимъ или нѣтъ?

— А отчего же не быть счастливымъ: какъ она женщина степенная и въ виду, такъ и очень, можетъ-быть, счастливъ.

И впрямь, — все же это лучше, чѣмъ было ему во всю его прошлую жизнь.

Я боюсь, что мой Шерамуръ вамъ не совсѣмъ понятенъ.

Digitized by Google

читатель, но это не моя вина; я его записалъ вѣрно. Лично я, по долгому навыку съ нимъ обращаться, все въ немъ нахожу простымъ и понятнымъ. Это видовая, а не родовая особенность: онъ сынъ своего родителя и мнѣ въ немъ видны крупныя родственныя черты, сближающія его даже съ обращавшею его въ христіанство графинею. Это не новая новинка, а только остатки давняго худосочія. Шерамуръ такой же «мизантропъ, развлекающій свою фантазію», какъ его родитель и графиня; только онъ, разумѣется, ихъ безъ сравненія сердечнѣе; но это взято имъ не отъ нихъ, а принесено оттуда, откуда духъ дышитъ — приходитъ и уходитъ, но никто его не узнаетъ. Шерамуръ человѣкъ ни на что не нужный, точно такъ же, какъ и тѣ, и онъ благополучно догніетъ въ одно съ ними время. Вся разница будетъ въ томъ, что о первыхъ скажутъ: «они скончались», а о Шерамурѣ, что онъ—«околѣлъ». Но, можетъ-быть, это не такъ серьезно, какъ нѣкоторые полагаютъ или, по крайней мѣрѣ, не составляетъ самаго рѣшительнаго для вѣчности съ ея безконечнымъ путемъ.

Пьеса кончена и читатель можетъ меня теперь спросить: зачѣмъ она попала въ одну книгу съ разсказами о трехъ праведникахъ, съ которыми у Шерамура, повидимому, нѣтъ ничего общаго въ природѣ?

Такой вопросъ очень возможенъ, и я, предвидя его, спѣшу дать мой отвѣтъ. Шерамуръ поставленъ здѣсь по двумъ причинамъ: во-первыхъ, я опасался, что безъ него въ этой книжкѣ не выйдетъ опредѣленнаго числа листовъ, а во-вторыхъ, если самъ Шерамуръ не годится къ праведнымъ даже въ качествѣ *юродиваго*, то тутъ есть русская няня, толстая баба съ шнипомъ, судъ которой, по моему мнѣнію, можетъ служить выраженіемъ праведности всего нашего умнаго и добраго народа

Digitized by Google

Оглавленіе

V ТОМА.

стр.
Очарованный странникъ. 3
Шерамуръ. 136

Digitized by Google

Digitized by Google

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Digitized by Google

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

Digitized by Google

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Digitized by Google

Digitized by Google

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ и, вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галлереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленыхъ бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства — было просторнѣе. Здѣсь, передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребающихъ въ пустынѣ молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь

Digitized by Google

слегка плечикомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка, съ золотисто-красными волосами, разсыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ ундину или никсу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нимало не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ и надъ нимъ нельзя было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? — произнесъ по-русски тихій женскій голосъ сзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора!—позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густыя рѣсницы, и до синевы черными волосами, изящно оттѣняющими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много разсказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокаго табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? — спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ,—отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

Digitized by Google

— Да, *чего никто не хочетъ видѣть*, это можетъ быть, но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что̀ его занимаетъ въ этой картинѣ? Онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла:

— Тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человѣкъ стоялъ, съ маленькой карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! — крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнулъ въ карету, и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ея волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора

Digitized by Google

еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! — сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и, видимо, хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая-нибудь глупая любовь къ этому негодяю!—сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, — тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

— Извините, пожалуйста, — отнесся къ ундинѣ пассажиръ, сѣвшій у Магдалины: — я считаю нужнымъ сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона. Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота Люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній и, выходя, поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, poste restante. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой аллеѣ Люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего-нибудь?—спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! что я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ-быть, здѣсь же и вашъ вексель, — отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель, дѣйствительно, оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсу, застѣнчиво спросила его:

Digitized by Google

— Скажите пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, — проговорила она серьезно и протянула ручку.—Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтреность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусѣ,—отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку, ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ назвать меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это — моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя Несторъ Долинскій, — отвѣчалъ незнакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ,—пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста, приходите, — упрашивала дѣвушка. — Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите,—попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду,—отвѣчалъ Долинскій и повернулъ назадъ къ Латинскому кварталу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждаго изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая

Digitized by Google

исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, разсказывая эту исторію, была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то съ родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху сѣверной Пальмиры, и, наконецъ, вышла замужъ за князя Аггея Лукича Сурскаго, человѣка стараго, не безобразнаго, но страшнаго съ виду и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ перваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подъ шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцатитрехлѣтнюю Ирину Васильевну и посватался за нее черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ достатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцатитрехлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не обѣщала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ-Синей-бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ для достиженія этой цѣли. Совершилась пышная свадьба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою,

Digitized by Google

а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣломраморное чело и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время перемѣнило козырь и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упоительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже и за старымъ мужемъ... можетъ-быть, даже особенно за старымъ мужемъ...

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человѣкомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатерининскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тираніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребенка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ

Digitized by Google

опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ человѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и, наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ!* При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго попавшагося ему навстрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребенка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ,—сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:—вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послѣзавтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманёкъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги, закричалъ:

— Милуйте, жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья нечаяннаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихоньку голося и горестно причитывая, черезъ день, оплаканная родственниками и свойственниками, выѣхала изъ родного села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украйнѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убѣгавшаго отъ своей горе-горькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе. Дня не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при испол-

Digitized by Google

неніи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ и безмолвно-могильными тѣнями скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой—рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, вонючую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удавленники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжьимъ палатамъ, стоная о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Эолова арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпенящій ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясясь всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспошлетъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго объ умѣньи князя управляться съ людишками, приползла къ нему на подводишкѣ просить вступиться за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму.

— Ѳедька Лапотòкъ кучеромъ со мной пріѣхалъ,—жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и разскажетъ, какой страхъ дается глупому народу,—молилась добравшаяся предъ княжьи очи помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Ѳедькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли оттрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери.

— А ну-ка ее теперь,—спокойно буркнулъ князь, и прежде

Digitized by Google

чѣмъ Коробочка успѣла что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери и въ припадкѣ бѣшенства бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскипѣла:

— Я не крестьянка ваша; вы не смѣете...—сказала ему она.

Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ:

— Не смѣю! я не смѣю!..—проговорилъ онъ, свистнулъ своихъ челядинцевъ и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь.

Гувернантка схватила со стола ножъ и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребенка, въ простыню и отнесли въ ея комнату. Здѣсь держали ее спеленатою, пока залили рубцы отъ розогъ и, какъ ребенка же, кормили рожкомъ и соской, а, наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее, со всѣми ея пожитками, отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ какъ въ данномъ случаѣ свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсалъ не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ вольтеріанецъ, къ суду Божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ не тронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ и, вскочивъ

Digitized by Google

на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала и вошла къ мужу.

— Князь!—позвала она тихо, остановившись у порога.

Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! что! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда?—закричалъ, трясясь и топая, старикъ.

— Я *сама* пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда!—бѣшено заоралъ безумный князь и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь—Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ и повалился на полъ. Бѣшенымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго

Digitized by Google

звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю, самая слюна его, вѣроятно, имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды и подошла со стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу», рычалъ князь, закусивъ коверъ и глядя на жену столбенѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ Божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комиссія застала князя на столѣ и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наслѣдовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старѣлась, начинала чудить и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и factotum старѣющейся въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ, зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивающихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подросшаго князя Луку Агтеича, съ нимъ, наконецъ, отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросшую падчерицу, и вообще была

Digitized by Google

твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и не знавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли насчетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самою страстною, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвѣнчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Аннушка, и вслѣдъ затѣмъ Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время молодой князь Лука Аггеичъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кириломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, къ крайнему прискорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню посѣтило новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею, и главною опекуншею малолѣтняго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижѣ и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было

Digitized by Google

сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется», говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня расцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дьячокъ русской посольской церкви, она не мало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитятей вывезли за границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, *и...*» и на этомъ *и* княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, — добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою и вмѣстѣ съ такимъ

Digitized by Google

удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая?—спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой,— отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть—эта Дорушка!— размышляла дѣвочка цѣлый день до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайлиньки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Трапша, управлявшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Трапшъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую, вѣрно, можно купать, пеленать, няньчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще,—княгиня сказала:

— Ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружочекъ, умерла.

— Умерла!—закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя?—спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было,—успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія, очень доброю и просвѣщенною женою новаго управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладаю-

Digitized by Google

щимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шестнадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа въ какую-то глухую степную деревню.

— Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не видавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно приготовленную вольную для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей ассигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполнѣ обязательное для его наслѣдника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы го-

Digitized by Google

ворятъ: *онъ поступилъ какъ мужчина.* Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее и что она была ни больше, ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться по-временамъ о ребенкѣ, пока его можно будетъ перевезть въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенна понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ о своемъ ребенкѣ, существованіе

котораго не было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудіенціи у своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ обѣщалъ заѣхать и не заѣзжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ,— говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сиживала веселая и довѣрчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе?»—подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, *о нашемъ ребенкѣ*, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться».

Въ дверь кто-то слегка постучался

«Это его стукъ», — подумала Анна Михайловна и отвѣчала:—«войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? — спросилъ онъ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

Digitized by Google

— Я,—отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете— князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, — говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна. — Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда, наконецъ, я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря поистинѣ, я полагаю, *никогда,* — отвѣчалъ, вскидывая голову, французъ. — Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, — отвѣчала, вся вспыхнувъ, Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребенокъ?—рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, — отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать,—твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! — воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, разсказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ,—отвѣчала краснѣя Анна Михайловна—и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то,

довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать одно только пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!.. Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бъ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Дорушка пожала плечами и онѣ поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кіевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украйнѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая въ «племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забитыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолокшій ихъ міръ Божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и

Digitized by Google

рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребенкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все религіознѣе; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимою средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и треволненій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житьѣ по слову Божію, она стала даже съ омерзѣніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ, не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и направо, и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна—ангелъ,—говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребренница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но, наконецъ, въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали пріупадать», а еще немножко — и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ были трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурного: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ ровно, одною чисто-евангель-

Digitized by Google

скою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстности самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на колѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми Божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ матерью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людямъ и въ разумъ истинный внити».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого-нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, пріютятъ и утѣшатъ. Приходитъ къ чаю какой-нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнитъ, какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства—

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство
И многимъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь разсказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, долы, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекати-полемъ и Божьей птицей аистомъ «змѣеистребителемъ»; все это такъ и рисуется въ воображеніи съ разсказовъ обутаго

въ лапотки «человѣка Божія», а надо всѣмъ намъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николая, «скораго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ, какъ кипѣнь, конѣ, рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и, наконецъ, выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запрячь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Днѣпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжитъ по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ — и Ульяна Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного сужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что-нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, — отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «пріупадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покушалъ спѣлыхъ дынь-дубровокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверозапада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ,—говорила она:—его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта Шекспирова «божественная нимфа»

Digitized by Google

съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него и другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Парѳенія, отъ которой вдалекѣ былъ виденъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задергивала все небо чернымъ, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несмѣтное количество слеглаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ путь, — сказалъ Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по-своему. Она посмотрѣла въ угасшія очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, оттовѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ соборовалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію взяла тетка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Потровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сто-

Digitized by Google

ронахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный инокъ Божій, — говаривала часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ-быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Можетъ-быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ, вѣроятно, могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить подъ руководствомъ своей матери и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что у насъ называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутренняго *и* онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а, огорченный чѣмъ-нибудь, только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лѣчить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи,

Digitized by Google

откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борьбѣ съ снисходительностью и любовью къ человѣчеству и, наконецъ, болѣзненный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшительность — безволье. Это послѣднее свойство своего характера Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во что бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самымъ безжалостнымъ образомъ заставлялъ свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальныя упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего-нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ наперекоръ и своей волѣ, и своимъ желаніямъ, повергали его въ глубокую апатію—у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣйшей губерніи, въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ, приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новоприбывшая фамилія состояла изъ матери, толстомясой барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными корнетскими усиками и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза свареннаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шелъ пятнадцатый годъ, и о ней не стоитъ распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, такъ себѣ, какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка»; или, какъ народъ говоритъ, «птица-пиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притомъ каждаго изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

Digitized by Google

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольна нѐглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она несомнѣнно владѣла всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ бьютъ лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстіи, что застрѣлился какой-нибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить кого-нибудь кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцова не могла, не умѣла и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякаго сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекло дѣтство, отрочество и юность Юліи Азовцовой, были таковы, что разсматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выйти ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была поилицею и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличомъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій — тетеречникъ». Объ отцѣ Юліи Азовцовой съ гораздо большею основательностью, чѣмъ о мужѣ слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда не годился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навыкатѣ и щегольскіе корнетскіе усики, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и, наконецъ, произведя на свѣтъ Викториночку, бросила супруга въ его хуторномъ

Digitized by Google

тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, извѣстный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ — позоромъ и безславіемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска» считала богача своимъ дяденькой. Радостно срѣтая нѣкогда его коммерческое восхожденіе, она упросила его быть воспріемнымъ отцомъ Юлиньки. Коммерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онёрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигурѣ валета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленныя валетомъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка, цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго развращенія, вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею дѣвочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвезла ее въ вертепъ откупного туза и научила, какъ она должна плакать, какъ притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ льстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ тузенятамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и вѣрно поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищебродство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее въѣзжающею въ разлатомъ возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и горя въ своей нищебродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждаго, кто боялся прогнать ее предъ очами са-

Digitized by Google

мого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженькое платьице, безпощадно спорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но зато тузиха и туженята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она изъ нея дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло о томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія—та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самоё ее, матроску, дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перекрутилось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣшливо на неутѣшныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальныя визитныя карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ не много можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ Бѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ѣхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ-не-такъ, а ужъ какъ-нибудь что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или, по крайней мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ — мой дядя, вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тетка

Digitized by Google

съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, канальи! — разсказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочкѣ, въ этомъ было очень не много радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь поцетиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же, какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинскій, и она перевѣнчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки они же ассигновали по триста рублей въ годъ, и на житье самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный, вѣтреный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома.

— Такимъ образомъ,—говорила она:—вы сдѣлаете эко-

Digitized by Google

номію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леокадіи Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; разсказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть было не сбило съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя,—говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не безпокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать,—отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него браться вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! — заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія* именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ, молча; передъ топящеюся печкою, Юла тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извиняется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

Digitized by Google

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю,— мечтательно досказала Юла.—Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень не трудно достигнуть,— отвѣчалъ Долинскій.

— Да, не трудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто поневолѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю,—отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ, грѣшнымъ! — замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій, кромѣ матери и тетки, да сестры, не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значитъ, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлыя варіаціи поэффектнѣе, и дѣло должно удаться.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украйнѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она вздумала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и

Digitized by Google

бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природѣ была настолько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, насколько грандіозныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то зато въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много топкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тускарскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, состраданія и ихъ непонятныхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою и, наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ самыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка Аксинья Тимоѳеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксиньи Тимоѳеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею, Юліею, отъ оскорбленій, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимоѳеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салопъ, справленный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ попалъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно задумываться о Юлочкѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимоѳеевна шла верхнимъ чутьемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцова, обозрѣвъ поле сраженія и со-

Digitized by Google

образивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціей атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что, какъ по нотамъ, разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

«Нашла дурака»,—думала матроска и молчала, выжидая, что̀ изъ всего этого отродится.

— Этотъ агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, — шептала Долинскому Аксинья Тимоѳеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела,—говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеркомъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что̀ вы это... хандрите, кажется? — спросилъ ее, садясь противъ печки, Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что̀ съ вами такое?—спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ея подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что̀ съ вами? что̀ у васъ за горе такое? — добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те,—судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите, пожалуйста, свѣчу, не могу смотрѣть, — простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ! — вырвалось изъ груди Юліи, когда она отпила полстакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

Digitized by Google

— Вы успокойтесь,—проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоитъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?

Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, — говорила она тихо и не спѣша: — чтобъ только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобъ только уйти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ этомъ говорить, — произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія и, хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статьѣ, — произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и, выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... остань... останьтесь! — торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой!—шептала она...—хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? — спросилъ, остановившись передъ ней, Долинскій.

— Хоть бы будочникъ какой женился на мнѣ,—докончила Юлія.

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Что жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! — отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

Digitized by Google

— Отчего же нѣтъ? и отчего, наконецъ, порядочный человѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм!. Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало нищая, я побирушка, христорадница, *лгунья*; понимаете—*лгунья*, презрѣнная, гадкая *лгунья*. Вы знаете, въ чемъ прошла моя жизнь?—въ лганьѣ, въ нищебродствѣ, въ вымаливаньи. Вы не сумѣете такъ поцѣловать своей невѣсты, какъ я могу перецѣловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только даютъ хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взводите,—говорилъ, сильно смущаясь, Долинскій.

— Что это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честный трудъ*; меня этому только учили; меня этому теперь учатъ. Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана;* помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ!—начала какъ бы сама съ собою полушопотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что-жъ такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ,—начала Юлочка:—когда узнаетъ насъ, за сто верстъ обѣжитъ. Вѣдь мы *ложь*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! — говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у насъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ-быть, думаете, шелки или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой, да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду и, ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатѣ. Юлинька встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти отоженощной, — проговорила она и стала листовать книжку, съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Digitized by Google

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно—

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно, — отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку,—попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. — Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, Бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила: — а какъ моего нравственнаго спасителя, и теперь еще, можетъ быть въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Что вы хотите сказать этимъ? что я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!.. Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Digitized by Google

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего *счастія*. *Для моего счастія*,—повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю!—произнесъ, пожавъ плечами, Долинскій.

— И не нужно,—сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя муки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Что это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цѣловать откупщичьи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ пріучить меня цѣловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизнію* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я? — какъ бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

Digitized by Google

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, если бы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ!* Ты — мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тсс, господа! господа!—заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимоѳеевны, которая, какъ выпускная кукла по пружинкѣ, вышла какъ разъ на эту сцену въ залу.—Ставни не затворены,—продолжала она въ мягко-наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, — прошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимоѳеевны, онъ вырвался изъ горячихъ Юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимоѳеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ,—шептала между тѣмъ, стоя на прежнемъ мѣстѣ, Юлочка.

— Что-жъ такое? это все равно,—пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести приписать,—заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимоѳеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

Digitized by Google

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе: что̀ же онъ обо мнѣ подумаетъ?—говорила Юлинькѣ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно что̀ онъ о васъ подумаетъ?—отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно или не нужно, но вѣдь я же, однако, не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую!—крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете,* если будете глупы,—отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ, Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены,—отвѣчала Долинскому сестра.—Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ».

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное, но потомъ показалось опять, что это какое-нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать это письмо и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и, кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь,—добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что̀ такое твоя невѣста,—писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю.—Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектница и фантазерка и вотъ провралась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и, ради всего хорошаго на свѣтѣ, Бога ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я, наконецъ, выхожу замужъ,—писала Юлинька между

Digitized by Google

прочимъ.—Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская.* Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно не развитъ и мы съ нимъ не пара ни по чему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни; но... я, можетъ-быть, привыкну къ нему и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва—и кому? Что̀ онъ? Что̀ видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надоѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбенѣла.

— Что̀ это?—спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо. «Милая Устя!»—прочла она, и сейчасъ же воскликнула:—А! вѣрно, опять романтическія сочиненія!

— Оставьте!—крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капотъ и шубку.

— Куда?!—крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, молъ, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься!—отвѣчала, проходя, Юлинька, и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри!—заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя, шельму, пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою

Digitized by Google

глупенькую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу!—говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому.

Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нея прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцѣловала, и еще поцѣловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку, не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ?—спросила она, тяжело разсаживаясь на щупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужъ и такъ болѣе чинить нельзя,—отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ,—возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда жъ этотъ болванъ, наконецъ, рѣшится?

Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значитъ, ужъ спроворила, милая?

— Дѣлайте, что вамъ говорятъ,—отвѣтила Юлинька и, бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный

Digitized by Google

взглядъ, сѣла писать Устьѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ,—ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночного посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, что̀ ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ и его не послѣдовало.

Мѣсяца медоваго у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминучую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы щадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другою и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина, дѣйствительно, была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первыя слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ощипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мерзавцы поступаютъ!—крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).—Вашъ долгъ показать людямъ,—продолжала матроска:—какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что̀, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что̀ о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ!—замотавъ головою разъярилась матроска.—Это значитъ—вамъ все равно, что̀ моя дочь, что̀ Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что̀ бѣлье вамъ носила; думаете—не знаю?

Digitized by Google

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ правилъ, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А и тебѣ, дурѣ, ништо, ништо, ништо,—оборотилась она къ дочери.—Рюмь, рюмь теперь, а вотъ, погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и совсѣмъ тебя будетъ прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій не понравился.

— Какой-то совсѣмъ неискательный,—отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

— Своихъ отряхъ, учителишекъ, умѣете примѣчать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете,—наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной иниціативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа, насколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викторинушку изъ дома. Роды перваго ребенка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнскаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка — что не предупредила, и мужъ, должно-быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

Digitized by Google

— Я же чѣмъ виноватъ?—говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ не виноваты!.. — крикнула Юлинька. — А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? посовѣтовались вы... прочитали вы? да прочитали вы, напримѣръ, что-нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ?—удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?.. Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: *чѣмъ?..* Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности — не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кіевскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Если бъ я знала болѣе, такъ вы, навѣрно, со мною не сдѣлали бы всего, что хотѣли.

— Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянія-то!—подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ!—закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы:
Нѣтъ—*мужъ устроенъ для жены*,

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и, наконецъ, даже часто вовсе не принимали. Новыя знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же, Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новые знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тещей; но ни остановить чужихъ, ни обрезонить своихъ

Digitized by Google

онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно не везло въ гостиной; что̀ она ни станетъ разсказывать о своихъ аристократическихъ связяхъ — все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ, и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать матроска, какъ нарочно, стеариновую свѣчу назоветъ *стерлиновою*, вмѣсто сиропа—*суропъ*, вмѣсто камфина—*канхинъ*. Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ разсказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанскомъ дворянинѣ;* желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище Правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловѣдѣнія*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Брошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за неискательность и недостатокъ средствъ удовлетворенію расширявшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобъ уйти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій, въ качествѣ отца двухъ дѣтей, сталъ подвергаться сугубому угнетенію и, наконецъ, не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержитъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться,—отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьѣ произнесъ:

— Не могу, какъ-то все это съ одной, будто, стороны такъ, а съ другой—опять.

Digitized by Google

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣвѣешь, бабы ѣздить на тебѣ будутъ!—воскликцалъ Журавка.

Поживя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что, дѣйствительно, нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ,—говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену, а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало-быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идетъ, и да будетъ тебѣ, яко же хощеши! Послѣзавтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругѣ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу Божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... уухх, одними глазами такъ и вскипятитъ иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь, если по правдѣ говорить, все-таки, вѣдь, дрянь.

— А я думаю, — говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:—я думаю, точно ты правъ, надо, вѣдь, это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, не надо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты, пожалуйста, ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большого изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время

Digitized by Google

онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

«Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не пріученъ, а на великодушіе, хотя бы даже въ далекомъ будущемъ, я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я — въ васъ. Не будемте безполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мѣрѣ, не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ».

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Дорушкою уже послѣ четырехлѣтняго его житья въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-за границы ему два или три раза приводилось давать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

Digitized by Google

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главныя лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ, лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго, Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините Бога ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но, взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: «а какъ она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черные волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны, дѣйствительно, могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста, садитесь, сестры дома нѣтъ, но она

Digitized by Google

сейчасъ должна вернуться, — говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во́-время?—началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы, пожалуйста, не обращайте на это вниманія, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами,— начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая...

— Непосредственная, кажется, — подсказалъ, улыбаясь, Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, — замѣтила снисходительно Анна Михайловна.—Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что̀ она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не сто̀итъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контральтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись.
Въ день несчастія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.'

— Вотъ и она,—сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А-а!—произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ,—произнесъ, разсмѣявшись, Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ-лѣтописецъ.

— То-есть—былъ; но это во всякомъ случаѣ не я.

Digitized by Google

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно-быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, я передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ просьбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ, вѣрно, морщится, что мы дружимся, — проговорила Дора, и, взглянувъ въ лицо сестры, добавила: — такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, что дѣлаю.

— Ты знала, что дѣлала, и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ.

— Это въ первый разъ случилось, но, впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь, мы друзья, правда?

— Правда,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что я дѣлаю. Я женщина практичная — и это правда. Вы хотите мароновъ?—спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тепленькіе совсѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора?—вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совсѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно-быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ, на этомъ углу, въ лавочкѣ, мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

Digitized by Google

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, что дѣлать, — произнесла Анна Михайловна.—Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки это, съѣдомое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, во-первыхъ, глупъ, а, во-вторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ—да и только. Вы давно за границею?—обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, monsieur Долинскій, теперь насъ извиняйте за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и, подружившись, всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу,—серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ-нибудь обвѣнчается и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, — отвѣчала, сморщивъ носикъ, Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно,—шутила Анна Михайловна.

— Во-первыхъ, — выкладывала по пальцамъ Дора: — на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а, во-вторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе!—произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю; не безпокойтесь. Я увѣрена, что я въ полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу—жить, жить и пѣть.

Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Digitized by Google

Золотая волюшка мнѣ милѣй всего.
Не надо мнѣ съ волею въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ,—начала она: — я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобъ никто не женился, а я говорю—пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справедливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непремѣнно за дурака? — спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ нашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся, и замужъ выходятъ.

— Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то,—резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что̀ онъ дѣлаетъ, а дураки—дураки всегда охотники жениться. Вѣдь, вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь,—отвѣчалъ, немного покраснѣвъ, Долинскій.

— А-а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ,—еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись, отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно переконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ знаетъ что такое! — крикнула изъ-за драпировки Дорушка голосомъ, въ которомъ звучали и насилу сдерживаемый смѣхъ, и досада.

— Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что̀ ты дѣлаешь! — тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Digitized by Google

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея физіономія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, «*чудо, какъ умно*!» — заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно,—повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата,—оправдывалась Дора:—что насталъ такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не сказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? — обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, — продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну, не вѣрьте.

— И не вѣрю, — отвѣчала Дора. — Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, что же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся,—отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны?—спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще!—отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu, mon plaisir, спать хочу,— сказала Дорушка и, дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

Digitized by Google

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кое-что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ, и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина, часто уклонялась отъ такъ-называемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени, дѣйствительно, перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! — восклицала Дора.

— Это правда, — отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все, вѣдь, мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ, вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Что жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, если бъ не имѣлъ чина пентюха?

— Это вы не можете догадаться, что бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую-нибудь изъ насъ влюбиться, — говорила ему не разъ, расшалившись, Дорушка.

— Не могу,—отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо?

— Да вотъ видѣть чудесъ-то я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ,—шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши, право, вянутъ слушать, что ты только врешь, — останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать,—обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна* и *величественна*, во

Digitized by Google

все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы, въ самомъ дѣлѣ, женаты?— спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена?—спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Что̀ жъ это значитъ? вы съ нею, вѣроятно, разошлись?

— Дора!—остановила Анна Михайловна.

— Что жъ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года кряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя — нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что жъ, Анна Михайловна, я, вѣдь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня нимало не смущаетъ: я, дѣйствительно, не въ ладахъ съ моей женою.

— Какое несчастье, — проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться?—допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жъ, она измѣнила вамъ, что ли?

— Дора! Ну, да что̀ жъ это, наконецъ, такое!—сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу,—отвѣчалъ Долинскій:—какое мнѣ до нея теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите?—продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушка.

Digitized by Google

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему жъ вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что̀ вамъ за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ; нѣтъ, а вы попробовали ли себя спросить, что̀ если бъ ваша жена любила кого-нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, если бы ваша жена цѣловала своего любовника, или... такъ, вышла, что ли бы, изъ его спальни?

— Дора! да ты, наконецъ, рѣшительно несносна! — воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ,—отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну, если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное,—протянула Дора.

— Но смѣшно только,—отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, щепетильно-самолюбивымъ людишкамъ,—подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но, тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ что̀ до этого? — укоризненно качая головою, спросила Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастія.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора,— сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почемъ ты знаешь, какая его жена? Можетъ-быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть: онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что ли?

— Ну, а Богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да, впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ: умъ и сердце у него хорошіе, — это все, что нужно.

— Нѣтъ; а ты пресентиментальная особа, Аня,—начала, укладываясь въ постель, Дорушка. — У тебя все какъ бы такъ, чтобъ и волкъ наѣлся, и овца бъ была цѣлою.

— А, конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только, къ несчастію, вотъ досадно, что это невозможно. Ужъ ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ онъ дитя,—правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы—чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора,—проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, — отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локоть, Дора:—что вотъ этакое твое мягкосердечіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ-быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? — отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

Digitized by Google

— А, вѣдь, онъ очень хорошъ, — сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, — тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза,—произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свѣчу.

— Люблю такія тихія, покорныя лица, — досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость,— отвѣчала ей Анна Михайловна

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми, и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогалъ имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комиссіонеру всѣ покупки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенныя мытарства въ Петербургъ; даже помогалъ имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, зато каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго, но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно,—замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

Digitized by Google

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня, — глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? — отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статься, — произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право, нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, по 11-й линіи, домъ Клеменца.*

— Скажите, какой скромникъ! — воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы и ни разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ,—отозвалась Анна Михайловна.—Я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности,—вмѣшалась Дорушка.—Онъ, вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самаго утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила,—пошутила Дорушка, гладя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ Долинскій.

Digitized by Google

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣдняго только, самаго-то главнаго, и не обѣщаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ,—смыслъ жизни.

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совсѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значитъ.

— Нѣтъ, это *очень много* значитъ, — отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей, и женщину.

— Да, если бы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто! всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно,—вмѣшалась Анна Михайловна.—Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что̀ она говоритъ. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что̀ говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винегретъ! Все это очень умно,

Digitized by Google

звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это ce sont des пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладитъ, а вы, милашечки мои, сами неудобь какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно,—проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говоритъ пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста боятся*, а я буду при томъ, что *соколу лѣсъ не страшенъ*. Вѣдь, это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона!—крикнула изъ окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый соколъ.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжко почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленныя тамъ книги, и пустыя комнаты, которыя мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинёшенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

«Вернуться бы ужъ, что ли, самому въ Россію?» подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

«Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ,—размышлялъ онъ, переворачивая, по своему обыкновенію, каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ:—нужно имѣть

Digitized by Google

надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дора знаетъ, что дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначащія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его поразило, а потомъ весьма порадовало и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долинскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непремѣнно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственныя дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ

Digitized by Google

богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обои разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границею родился новый ребенокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать, и ребенокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на-дняхъ ѣздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ, и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по-моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетенъ, я думаю, самое лучшее дѣло— какъ можно болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.

«Пребываю къ вамъ благосклонная

Дора».

«PS. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціэллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ».

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ-быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь,

Digitized by Google

что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало-быть, въ самомъ дѣлѣ, иногда знаешь, что дѣлаешь,—сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ, густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобь наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ жъ онъ?—спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но, взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разомъ закричали: «Несторъ Игнатьевичъ, это вы?»

— Я, Анна Михайловна,—отвѣчалъ Долинскій, цѣлуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило,—похвалила Дорушка.—А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «*Неудобь*».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужъ это хоть не спрашивай—Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ,—воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чайшка дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите,—отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онѣ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что онъ думалъ, что видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Digitized by Google

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ параднѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкапомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашеныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленаго коленкора, за которою стояли три кроватки, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкапное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матеріи, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ, на табуреткахъ, сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки, одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платьица съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшетчатою деревянною спинкой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными мохрами напереди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, — отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ, удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохолъ, и чертообразность сѣтки, всегда столь ненавистной русской швеѣ «фран-

Digitized by Google

цуженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоить себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосёнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самаго благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохолъ на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила выскакивать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому, продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ сказать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванныя отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и не злыхъ, но утратившихъ подъ ударами чужого невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того, Дора, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и разсказывала имъ, какъ умѣла, о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослыя мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо бо̀льшаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ боль-

Digitized by Google

шую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отъ роду лѣтъ двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, замотавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ, кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ-нибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернаторовъ принимаетъ, чуть пàру въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что̀ она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнитъ, такъ и не надо; значитъ, совѣсти нѣтъ», говорила она, и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала, и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, обѣ-

Digitized by Google

щала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія— Анна Анисимовна не отдала.

— Счастье у своего ребенка отнимаете, — говорили ей дѣвушки.

— Ничего,—отвѣчала Анна Анисимовна:—зато совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по-міру.

Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ?

— Прекрасно,—отвѣтилъ Долинскій.

— Вотъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька; видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это,—продолжала Дора:—это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще не успѣвшая ничѣмъ отличиться, — сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ:—а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу и съ неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою исколотую иголкою руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь, — позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту

Digitized by Google

вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки,—проговорила, идя впереди со свѣчою, Дорушка:—а зато народъ все преискренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шелъ небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посрединѣ коридора была дверь, которою входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввелъ сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая—въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ внаймы, третья—въ спальню Анны Михайловны, а четвертая—въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьевичъ?—спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо,—соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой,
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцѣловала свою сестру.

— Дорого только,—сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево,—сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! — говорила Дора. — На-

Digitized by Google

няли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виноватъ, скажите пожалуйста?

— Ты,—отвѣчала Анна Михайловна:—сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы, люди, мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться?—началъ, входя, художникъ.

— Крошечку выпилъ,—подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило,—сказала, разсмѣявшись, Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щечкахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, — проговорилъ, икнувъ, Журавка.

— Никакъ нельзя,—поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ!—лепеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на углѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается,—сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! — снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... — Журавка икнулъ и продолжалъ: — Денкера приказчикъ, говоритъ, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ заказать. Ну, вѣдь, волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпили, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!.. А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутыльченокъ шампанскаго. И ужъ извините,

Digitized by Google

кумушка, двѣ бутыльченки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія! — воскликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленныя бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича, на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьянѣнія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ Денкеровъ приказчикъ,—говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ натянулся и еще въ долгъ пару бутыльченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь; вонъ онѣ, заморскія, засмоленныя... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, — шутила Дора. — Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-Богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», — передразнила, смѣшно кривляясь, Дора и добавила:—совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты!

Журавка обнялъ и поцѣловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь,—говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятій, Долинскій: — теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ, небось, не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ, вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами,—разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

Digitized by Google

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ,—отвѣчалъ художникъ, налегая на букву *и* въ умышленно портимомъ словѣ прекрасно.

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатьичемъ вмѣстѣ жить будемъ,—сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдаетъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь, или просто говорите?—вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите? — сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! — возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, — говорила Дора: — по крайней мѣрѣ, будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно,—отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутыльченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Если бъ я былъ холостой, — заговорилъ онъ: — ужъ тебѣ бъ, братишку, тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женатъ! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію, и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

Digitized by Google

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился,—оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человѣкъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе,—требовалъ Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!.. чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, что̀ ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ-нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріятели проѣхали молча, и Журавка опять началъ:

— Потому что, что̀ жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, — отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ не хорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ,—шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріятеля весело разсмѣялись и распростились у гостиницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительствѣ.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацію, какъ я долженъ жить у васъ,—разсказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ,—отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любитъ насъ чрезмѣрно, — проговорила Анна Михайловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самаго выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и

Digitized by Google

всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неизмѣнно, въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе со свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертью своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластіе его тетки, оставила въ немъ одни тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожившими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба жениной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ Латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, не смотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился во́время встать, во́-время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда

Digitized by Google

разсказать впередъ — и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготовить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читалъ листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи,—все скучно,—говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать безполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ не только успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсыльный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что-нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала Богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполнѣ независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣлываться. Особенною ея антипа-

Digitized by Google

тіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ничему по сосѣдству сообщиться не можетъ; но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ или Вырвичемъ, и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственныя достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ размѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить, что̀ вамъ угодно, а все-таки вы не то, что̀ тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ что̀ же мы такое по-вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, что̀ вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по-моему, какъ называются такіе люди, какъ вы?—спросила, смѣясь, Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

Digitized by Google

— Сердиться глупо. Всякая свобода — нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди, какъ вы, называются *скучные люди*.

— А! а вамъ веселья хочется.

— Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать, въ видѣ новостей, то, что̀ каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навыдумывала пропасть вздоровъ?» — Вѣдь это-жъ, согласитесь, скучно! Кто-жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ, все это—нуль; на все это жизнь дунетъ—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! Боже меня сохрани! — отвѣчала Дора, и какъ бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что̀ же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значитъ быть независимой. Вы сами не знаете, что̀ говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что̀ я такое. У меня есть совѣсть и, какой случился, свой царь въ головѣ, и, кромѣ ихъ, я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой,—отвѣчала съ раздувающимися ноздерками Дора.

— Крайнее свободолюбіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что-жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ

Digitized by Google

ужъ и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка, и я не позволю на ней играть никому,—говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы, въ самомъ дѣлѣ, наконецъ, станете независимы отъ здраваго смысла? — отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала,—убѣждали Дору.

— Нѣтъ-съ; ужъ это извините, пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значитъ, у васъ человѣкъ—рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай что долженъ.

— А что же вы *должны?*

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется,—отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то-есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, *ваши* на этотъ счетъ мнѣнія?—затягивали Долинскаго.

Digitized by Google

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищите прежде всего царствія Божія и правды Его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моралью! Что̀ это за царствіе, и что̀ это за правда?

— Правда? Внутренняя правда—*быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что-жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрастъ имате; чтите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, объ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободъ, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула Дора.

— Да и я, и я!—шумѣлъ Журавка.

«И я»,—говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ,—замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка, чтобы она, такъ сказать, въ аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея ей и не удается до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но, по своей страстной натурѣ, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что-нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «*философствующей вздержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Что̀ это за люди? — говорила она Долинскому: — все

Digitized by Google

вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додумаются?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и не удивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней мѣрѣ, нигдѣ не видная и ничего не знающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними?— говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что̀ за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не сто̀итъ. Что̀ мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что̀ очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь или разубѣждаетесь въ чемъ-нибудь,—а они много-что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значитъ, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм! какой любезный!—произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ-нибудь — очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ: *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

Digitized by Google

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жъ, однако, вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется, наконецъ, вѣрить!—говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе,—успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую, Даша всегда говорила:—зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ?—спрашивала Дора.—Это—человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ, *несетъ жизнь;* а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученые скворцы сверкочутъ: «дай скворушкѣ кашки!» И еще этакія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы, что ни одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство,—шутила она съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А, впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу,—говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала:

— Пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора.

— Неужто,—говорили ей:—вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же, бьются за ваши же естественныя права, которыя у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ,—отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

Digitized by Google

— И не хочу; мнѣ довольно судить самоё себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! — останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня, за живое меня задѣваютъ эти молодыя фразы,—горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачомъ?—возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Не только свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, — ну, положимъ, вы можете себѣ создать этакое другое независимое положеніе, а тѣ, которыя не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помилуйте, что жъ это, приговоръ, что ли, что сказалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да—приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно разсказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите!—говорили ей послѣ этого разсказа развивателн:—а легко зато этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно!—запальчиво отвѣчала Дора. — Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ и даже говорить о ней не долженъ.

Digitized by Google

— Да, женщина, почти каждая — раба; она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ,* не хочетъ сама себѣ помогать, продаетъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожитъ чѣмъ-нибудь больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены!—съ улыбкой перебивала Дора.—Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, что̀ дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключатъ изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна,—говорили ей: — не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унизительны.

— Да что жъ, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите? Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ—то-есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора, наконецъ, похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ, и другимъ—ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій—общій вопросъ.

— Да то-то вотъ; пожалуйста, хоть не называйте же̂ вы этого вопроса *женскимъ.*

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барыньскій*, *дамскій*—однимъ словомъ какъ тамъ хотите, *только не женскій,* потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, рус-

Digitized by Google

ская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ — такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба!* Ха-ха-ха!..

Дѣвушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, *а во всякое время* будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А, впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и ужъ, разумѣется, тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стòитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говоритъ о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно ихъ умѣть найти!*—проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о чемъ собственно рѣчь-то?—вмѣшался Долинскій.—Если объ общемъ счастіи, о мужскомъ и о женскомъ, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который, дѣйствительно, *любитъ* женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Чтò тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ сказать, чтобъ ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да-съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, съ точки хлѣба и брюха.

Digitized by Google

Долинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы расцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ-быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду, и къ свободѣ, чтобъ она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнитъ свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совсѣмъ не по вашимъ рецептамъ,—равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, — заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны, ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперекъ дороги?

— Что̀ за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы,—заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она

Digitized by Google

на-голову побивала своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашенной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка!—говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно, шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно,—заключилъ Вырвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете,—поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича: я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра? — спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть,—также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю,—отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? Тутъ ничего нѣтъ такого удивительнаго. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ — пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой—говоритъ, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили-были кутыль да журавль; накосили они

Digitized by Google

себѣ стожокъ сѣнца, поставили посередь польцà, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока *«Якова»*, и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ Третьемъ—жизнь!.. О, разумъ!—къ тебѣ взываю. Чтò это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Живая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убійцѣ. Помилуйте, развѣ это возможно.

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси,—вставилъ съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломить,—спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ, послѣдовательно идя, почему-жъ не свернуть любя и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала и, посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть крошечныя-крошечныя страстишки-то!—Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ этакія должно быть, чупушныя, малюсенькія; меньше воробьинаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не безпокойтесь, пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочитъ, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вырвичъ и Шпандорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи художества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и зато питалъ къ нимъ всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ

Digitized by Google

сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихалъ, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но зато, пересидѣвъ ихъ и дождавшись, когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлачки! кошлачки!—говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачки!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавенькіе, все сѣренькіе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живого не выйдетъ... То-есть,—добавлялъ онъ, кипятясь и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкусато, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тьфу, вы сморчки ненавистные!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродитъ. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребенка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно, иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки таки-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самоё поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,
«То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ глазъ; держался передъ

Digitized by Google

нею какъ передъ идоломъ: ни слова необдуманнаго, ни шутки веселой—словомъ, ничего такого, что онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатѣ, заводила съ Долинскимъ рѣчь о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влеченіе о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинскаго ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ преобладало именно благоговѣйное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякаго знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушила этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго, однако, не могла не замѣтить и которымъ не отказывало себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая раза два въ недѣлю хватить водчонки, говорилъ Долинскому:

— Спасибо тебѣ, Несторка, отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!

Ильѣ Макаровичу и даже проницательной Дорѣ и въ умъ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинскаго съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпли и крѣпли.

Задумалъ Долинскій, по Дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что успѣвалъ написать между своей срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшеюся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кромѣ ея красотъ или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вни-

Digitized by Google

маніе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самаго симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея всегда ровная и спокойная сестра слѣдитъ за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо споритъ съ Дорою и просто дрожитъ отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописалъ Долинскій повѣсть до конца и сталъ выправлять ее и окончательно приготовлять къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана! — вскрикнула, по окончаніи чтенія, Дора.

Анна Михайловна и Долинскій смутились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила объ этомъ болѣе рѣчи; но дня два была какъ-то задумчивѣе обыкновеннаго, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ погоди, скоро его какой-нибудь пріятель отвалеетъ за эту повѣсть, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долинскаго.

— За что же?—вся вспыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что-нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоитъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслью о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣетъ.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть, — произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонько выходя изъ комнаты.

— Что ты, Дорушка, сказала? — спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ, Богъ знаетъ, что сболтнула, — отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцѣловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

Digitized by Google

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мальчикъ Бобка.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, позднимъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись было въ столовую, закипѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому пренію и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую касторовую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа, мой вѣрный пажъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, — отвѣтилъ Долинскій: — и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы,—произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ Доринымъ плечамъ, но вдругъ остановился и, поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ:

— Тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату и, притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку и, весь дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Что такое?!—спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда!—отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

Digitized by Google

— Да что? что?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ!—произнесла чуть слышно Дорушка и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго.—Душенька! Анна Анисимовна!—говорила она идучи: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевича комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ, всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ:—Видите, Бобка на карнизѣ!—выбѣжалъ и, снова возвратясь черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь:—Богаради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что̀ онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что̀ онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ и отдѣляющему фронтонъ флигеля и бѣльевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четвереньках по направленію отъ слухового окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребенокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребенокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленкія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четвереньках. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ

Digitized by Google

Бобки и, гнувшись, шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непремѣнно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непремѣннѣе полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десяти-саженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбѣжна, потому что голубь бы непремѣнно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ мальчикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребенокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда-нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непремѣнно оборвался и легъ бы съ размозженнымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но на Бобкино счастье во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка!—позвалъ онъ потихоньку сквозь доску, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А!—отозвался на знакомый голосъ юный Блонденъ.

— Гляди-ка сюда!—продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду

Digitized by Google

привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говабь повзаетъ,—говорилъ, весь сіяя, Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его, щельму, сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! — отвѣчалъ мальчикъ, и самъ возрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выцвѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правою рукою онъ сильно держался за край слухового окна и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнулъ туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и разсказывала, какъ она

Напоила его мятою,
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчикъ!—нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— Насилу поймалъ,—говорилъ весело Долинскій.

— Боже мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго,—проговорилъ шутливо Вырвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Digitized by Google

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, — говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, — отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Черезъ часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Что это такое съ тобою?—спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорушка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпѣнія.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И что только такое тутъ говорилось!.. И о развитіи, и о томъ, что отъ погибели одного мальчика человѣчеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ,— проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже! — нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Господи, да что̀ такое за «не тронь-меня» этотъ Долинскій.

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя,— сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ и молча поцѣловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцѣловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо не свойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вырвичъ частенько заимствовались у Долинскаго небольшими деньжонками и что должки эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значащихъ. Было извѣстно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбивается съ копейки и что въ одну изъ такихъ минутъ онъ самымъ мягкимъ и деликатнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что̀-нибудь; но отвѣта на это письмо не было, а Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непремѣнно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я?—говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо?—спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что̀ такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говоритъ, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Digitized by Google

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чемъ-нибудь... неисправнымъ?—тихо вмѣшалась Анна Михайловна.—Всѣ пустые люди,—продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя!—началъ онъ, являясь домой, и разсказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ проситъ сообщать мнѣ такія мерзости!—взвизгнулъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели.—Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ!—зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею, всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости задорно смотрѣлъ въ сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аннѣ Михайловнѣ, наоборотъ, смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора!—отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ

Digitized by Google

такъ начинаетъ водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпитъ самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоитъ разсказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ — уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ,—жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ изъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже не большой ихъ почитатель,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздятъ.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто... боюсь масокъ.

— Боитесь!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все нипочемъ... Не люблю.

— Зато можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ; изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенэбель-

Digitized by Google

ные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкія шпильки, постоянно увеличивавшія гонявшійся за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ темы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужъ если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо,—разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тему.— Или бороться,—говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная!—съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это,—говорила она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ люди мало цѣнятъ то, что̀ въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутовство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ, и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что̀ эти волненья крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, «кажется»! Я вѣрю въ это,—отвѣчала Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Да, конечно... Борьба... а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я—человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? — Чистая, чистая любовь и борьба—вотъ настоящее наслажденіе: «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! — произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ!—звало его пискливымъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ не интересная,—пищало домино.—Я ее знаю—совсѣмъ не интересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди, иди себѣ съ Богомъ, маска, — отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою,—настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? — спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно не знаю.

— Долинскій!—опять запищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище,—начала, смѣясь, маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь!—рѣшительно отвѣчала маска.—Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты—дорогъ мнѣ, Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ,—картавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

Digitized by Google

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила—*пришила его,*—отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора?—говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія навстрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ,—сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится? — спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ,—издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ! — продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ,—соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, что̀ ему дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры. — Вотъ... Чортъ знаетъ, что̀ я могу, что̀ я долженъ сдѣлать? Если бъ Дора! ахъ, если бъ она! Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ—глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери!—произнесло сквозь смѣхъ заднее домино и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски висѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся піявки, и только захохотали.

— Ты не думаешь ли драться?—спросило его покрывало.

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвардеецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, разсказывалъ что-то лейбъ-казачьему офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ за колоннадою.

Digitized by Google

— Пустите меня Бога-ради!—просилъ Долинскій и ворохнулъ руками тихо, но гораздо посерьезнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.—Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна попрежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейбъ-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣреннаго старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

«Боже мой! — вспомнилъ онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ—откупщикъ», и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, что̀ хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова—голова страшно разболѣлась,— говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго,—отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два или даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Digitized by Google

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минутъ черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти,—тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость,—отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? — спросила, входя тоже нѣсколько смущенная, Анна Михайловна.

— Сытъ,—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста,—вы устали, — отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Что это было за явленіе такое? — спросила она, опускаясь въ кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову,—отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать—это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай,— упрашивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку. — Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду Богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило,—прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли *съ вами* чего дурного?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что̀ вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю, вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ,—отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что̀ сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что̀ же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія.

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово,—попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не сердитесь?—спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? — краснѣя и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что̀?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше,—чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо и сердце билось, точно подъ самымъ ухомъ. И онъ, и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, — прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ,

Digitized by Google

но взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцѣловала и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! не надо, не надо, Бога-ради не надо! — заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и, переведя духъ, какъ тѣнь, неслышно скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только Дорушкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день онѣ сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Объ вмѣстѣ?*—спросила, удивясь, Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, — отвѣчали дѣвушки.

— По крайней мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и, наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны.

Digitized by Google

Анна Михайловна была посаженою матерью дѣвушекъ, Несторъ Игнатьевичъ посаженымъ отцомъ, Дорушка и Анна Анисимовна — дружками у Оли и Маши. Илья Макаровичъ былъ въ эту пору боленъ и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частію Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что̀ это за прелестное созданіе наша Дора!—заговорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что̀ ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить!— отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попугаи! — позвала, спѣшно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего-жъ вы сюда забились? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинскій—*баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты

Digitized by Google

были бы очень огорчены, если бы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохенькаго квартета танцовала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ подъѣздовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кингчарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, — уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная,—сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно,—молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ,—проговорила она, вздохнувъ черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ?—спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

Digitized by Google

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите,—отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна? — Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго и договорила: —вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, — продолжала, краснѣя и волнуясь, Анна Михайловна: — вы мнѣ доказали истинно и не словами, что вы меня, дѣйствительно, любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить,—произнесла она, мѣшаясь, какъ переконфуженный ребенокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцѣловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы — хорошій человѣкъ, — прошептала она и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе Риголетка насторожила уши и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это? — произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете! Десять часовъ стучусь и никакъ не могу достучаться, — взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услыхали, — отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра!—позвала она.

— Ну,—откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ и, остановясь, спросила:

— Что̀ это ты такая?

— Какая?—мѣшаясь и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Странная какая-то,—проронила скороговоркой Дора и сейчасъ же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостаетъ чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, Бога ради, въ одномъ платьѣ по лѣстницамъ,—попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самаго порога, торопливо прошла прямо въ свою комнату и заперла за собою дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Маленькія непріятности начинаютъ нѣсколько мѣшать большому удовольствію.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лѣчить, а она стала разнемогаться и, наконецъ, заболѣла самымъ серьезнымъ образомъ. Долинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнесть слово *чахотка;* но когда кто-нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Даши и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ, стало Дашѣ чуть-чуть будто полегче — Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя настолько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель и еще посерьезнѣе прежняго.

— Ну, ужъ теперь, кажется, будетъ кранкенъ,—сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря:

— Не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собой имѣть, чтобы никому не надоѣдать и не злиться.

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владѣла собою

Digitized by Google

и у нея можно было замѣчать движенія безпокойныя, которыхъ бы она, вѣроятно, не допустила въ здоровомъ состояніи. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комодѣ зонтикъ и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и спряталась у него подъ стуломъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ-подъ стула и нѣсколько разъ больно ударила ее зонтикомъ.

— Дорушка! Дарья Михайловна!—останавливалъ ее Долинскій.

— Даша! что это съ тобой? — послышался изъ спальни голосъ Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку?—обрезонивалъ ее тихо и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственнаго удовольствія... За то, что она любитъ меня меньше, чѣмъ васъ,—отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестрину комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ? — возразила Даша, съ раздувающимися ноздерками.

— О, ну, Богъ съ вами! что вамъ ни скажешь, все невпопадъ, за все вы готовы сердиться,—отвѣчалъ, покраснѣвъ, Долинскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите, — добавилъ, беззвучно смѣясь, Долинскій.

— Отправляйтесь,—серьезно проговорила Даша.—Отправляйтесь, отправляйтесь,—добавила она, сводя его за руку со стула.

Digitized by Google

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась?—отнесся Долинскій къ собачкѣ.— Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣшь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Мммъ! дуракъ, настоящій дуракъ,—произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все—то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе, никто не вѣрилъ этому пуризму, и въ мастерской, при разговорахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: сама и ейный.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Капризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладанъ. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

— Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ,—сказалъ онъ:— я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.

— У нея чахотка?—спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде, чѣмъ смерть придетъ за мною, — говорила больная. — Все шушукаютъ, да скользятъ безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите

Digitized by Google

вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о Дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще съ начала болѣзни, она обвела глазами комнату и, къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня?—спросила шопотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ,—отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Дорѣ ложку лѣкарства.

Дорушка выпила микстуру и, сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему,—отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лѣкарства, налилъ и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное, — проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце,—добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ Дашѣ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-lle Alexandrine, и тамъ все шло капромъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ разсказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ Вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣ-

Digitized by Google

вочки спали на своихъ постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготовляла на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны и правилъ какія-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьемъ стального пера, да щелканьемъ иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнѣе и внятнѣе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

«И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь».

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

— Господи! какъ глупо такъ умереть.

— Она бредитъ?—спросилъ шопотомъ Долинскій.

— Должно-быть,—шопотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.

— Что вы тамъ все шепчетесь? — тихо проговорила больная.

— Что ты, Даша?—спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслышавъ ея вопроса.

— Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надъ покойникомъ.

— Богъ-знаетъ, что тебѣ все приходитъ въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.

— Нѣтъ, я не брежу; я не спала. Откройте мнѣ занавѣсъ,—сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.

Долинскій всталъ и откинулъ половину полога.

— Все, все отбросьте, вотъ такъ! — сказала больная. — Ну, говорите теперь, — добавила она, оправивъ на себѣ кофту.

— О чемъ прикажете говорить, Дарья Михайловна? — спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что-нибудь

Digitized by Google

Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробикъ ребенку, ужинъ отцу» прочтите.

Долинскій зналъ, что̀ Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.

— Некрасова-то нѣтъ дома,—отвѣчалъ онъ.

— Куда же это онъ уѣхалъ?

— Я его далъ одному знакомому.

— Все вретъ! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались! — говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Что̀ ни ступите, то солжете. Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставъ изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.

— «Мцыри»,—сказала Даша.

Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».

— «Бояринъ Орша»,—сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».

Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для дѣтей» и, наконецъ, нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно,—сказала Даша.—Хорошенькаго понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подалъ ей книжку; она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглыя губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша?

— Что жъ я сказала? Я сказала: поцѣлуйтесь, пожалуйста.

Долинскому и Аннѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Что̀ ты, съ ума сошла, Дора! — могла только проронить Анна Михайловна.

— Какіе вы смѣшные! — проговорила, улыбаясь, больная.—Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что̀ вы это говорите? что̀ вы говорите! — повторялъ

Digitized by Google

съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія, и, помолчавъ съ минуту, опять сказала:

— Да поцѣлуйтесь, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ вѣрно хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла,—сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудаки! — тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно!—воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадой и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки,—отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы, по крайней мѣрѣ, перестаньте, пожалуйста, комонничать! — крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что̀ такое значитъ *комонничать*? Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю,—отвѣчалъ сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня,—сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, — отвѣчала ей Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видъ вашъ ненавистенъ»,—тихо улыбаясь, шутила Дора.—Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ Богомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Присказка кончается и начинается сказка.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною и, прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, — утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать?—спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего, что надо; а какъ ее везть? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это Богъ съ ними, пусть все пропадетъ; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую?—вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ-быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопилъ отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ

Digitized by Google

надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Пріѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя и, поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь, слава-Богу, ужъ гораздо крѣпче, m-lle Dorothée; вамъ бы очень хорошо было теперь проѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или, лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру,—добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ,—подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете?—спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что̀ хотятъ со мной дѣлаютъ: только пожить бы немножко.

— Поживете! — отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку и, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, m-lle Dorothée!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

— Такъ немножко?

— Что̀ немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете,—отвѣчалъ докторъ, чтобы что-нибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и Богъ съ вами,—сказала Даша.—Заѣзжайте жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь, пожалуй, ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за

Digitized by Google

нерѣшительность и объявила, что она съ большимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лѣкарства, а Анна Михайловна, собирая ея бѣлье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ,— говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на-дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ свое мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неусыпными заботами и бережливостью.

— Ну, что̀?—спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо,—улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

«Я скрипу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногѣ,
Въ сафьяномъ сапогѣ».

— Кто бы это?—сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери.

Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что̀ вы это дѣлаете?—вскрикнулъ

Digitized by Google

Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите,—запыхавшись и грозя пальчикомъ, отвѣчала Даша. — Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ-нибудь теплымъ—я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Ишь, какой онъ нѣжоха! Какой у него халатикъ мягенькій,—говорила Даша, проводя ручкой по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, Боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ? Видите?—спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка,—сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь.

— Чего ты на меня такъ смотришь? — спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу. — Не смотри такъ, пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? — проговорила Даша, глядя на огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на лѣченье мое, я думаю, Богъ знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что ты меня

Digitized by Google

обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто жъ думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что̀ вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что̀ жъ это значитъ, денегъ почти что нѣтъ! — сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно?—спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками.

Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему не годную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего,—сказала, подумавъ, Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности заплатила.

— Дорушка,—вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что̀ сказала Даша насчетъ его жены, и сердце его не сжалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше,— сказалъ онъ:—кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорты нужно взять, — замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

Digitized by Google

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье,—шутила Дора.—Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цѣлую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею,—сказала Анна Михайловна, обращаясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушкѣ.

— Поѣдемте, мой милый! — сказала Даша, обернувъ къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцѣловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдемте, поѣдемте, Дорушка. Я только боюсь, сумѣю ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки?—спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ея глаза.

— Нѣтъ, не боюсь,—отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцѣлую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцѣловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу,—соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не надо, не надо, — говорила Даша, махая рукой:— ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнаткахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите корреспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, за границей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ея не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ

и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что̀ напишете; будемъ марать, поправлять. А я буду лѣчиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право, какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что ли, везите меня съ этого «милаго сѣвера въ сторону южную».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье многомного чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо сумѣетъ иногда подслушать въ небрежно оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пишите чаще,—говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать,—отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь, пожалуйста.

— Я буду писать аккуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, — отвѣчалъ, смѣясь, Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатьичъ... то, что̀ это я хотѣла сказать?.. Да, берегите, Бога-ради, Дору. Старайтесь, чтобъ она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра, въ восемь часовъ, нужно было ѣхать,

Digitized by Google

и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспалась хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ часъ или два. Вдругъ дверь изъ коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустилъ книгу на одѣяло и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Что̀ это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, что̀ подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Что̀ вы? что̀ съ вами?—спрашивалъ, пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ, Долинскій.

— Ахъ, Боже мой!—отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да что же такое? что̀?—допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, — проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна. — Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сюда пришла? — добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и, опустившись, сѣла въ ногахъ Долинскаго и заплакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете? — упрашивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цѣлуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу,—тихо отвѣчала Анна Михайловна и, спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! — заговорила страстнымъ шопотомъ Анна Михайловна. — Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, — прошепталъ онъ сохнущимъ языкомъ.

Digitized by Google

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду,—лепетала Анна Михайловна, страстно цѣлуя его въ глаза, щеки и губы.—Я буду еще больше любить тебя!—добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ и, какъ мокрый вьюнъ, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Опять ничего не видно.

Извозчичья карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкѣ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! — говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее, и покачалъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, Бога-ради, — отвѣчала Анна Михайловна и, махнувъ рукой, опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша цѣловала дѣвушекъ и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра!—сказала, наконецъ, подойдя къ ней, Даша.

— Прощай,—тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу.—Лѣчись, выздоравливай, возвращайся скорѣй,—говорила она, цѣлуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цѣловались, плакали и, наконецъ, поцѣловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцѣловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу,—сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы, и, положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцѣловала. Губы ея были холодны, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Ми-

Digitized by Google

хайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверецъ съ заплаканными глазами и говорили:

— Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе.

Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и, отирая по временамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извозчику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!» — а Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ, и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали во-время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать въ багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголкѣ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болѣзненно подергивалось и она кусала до крови свои губки.

Подошелъ Долинскій и, укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, — добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки,—тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное: что бы ни случилось—все пишите мнѣ.

— Пожалуйте садиться!— крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу.

Долинскій взялъ саквояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. Въ глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто

Digitized by Google

успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, — говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти,—отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которыя будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама,—сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ этакими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ, вагоны дернулись, покатились и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною— даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши — пусто, вошла къ Долинскому—тоже пусто. Присѣла на его креслѣ, и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!»—подумала она и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ вырастало въ холодномъ полумракѣ бѣлесоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкапъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатой Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Даши, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, со слезами въ голосѣ, разсказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а

Digitized by Google

тутъ... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!..

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! — произнесла про себя Анна Михайловна и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только-что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Даши и Долинскаго начали приходить аккуратно, и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.

Digitized by Google

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Маленькій человѣкъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть, судя по первой части, все будутъ люди очень маленькіе — до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя загодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ-отцовъ, спеціально занимающихся угнетеніемъ геніальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и, вѣроятно, еще всему этому пока не конецъ. Еще на-дняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запороли въ училищѣ, но который все-таки выкарабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣе посѣдѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя рѣчи и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не во-время, что даже и при немъ у знакомаго этому *орга-*

Digitized by Google

низму лакея *насѣкомыя* все-таки *могутъ отгѣсть голову.* Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библіотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безсребренника, словомъ — ни одного гражданскаго героя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурного воспитанія.* И потому, кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть не кто иной, какъ старый нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его тепкой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свистнетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохолъ до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старый, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ съѣдомаго, говаривалъ: «а возьмить, будьтэ ласковы, або ковбасу отъ менэ, або менэ отъ ковбасы, а то або я зъимъ, або вонà менэ зъистъ». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой физіономіей. Физіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки, тогда какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и

Digitized by Google

объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ по острову такой анекдотъ, что будто, работая что-то такое въ дрезденской галлереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund, — отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, — поправлялся и выяснялъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго профессора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью:

— Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастье свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большему, и оно же сыграло презлую шутку съ Ильей Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у профессора, прогулялся за городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда тотчасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видитъ — маленькая парикмахерская и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхенъ все сидитъ и дѣлаетъ частые штычки своей иголочкой,

Digitized by Google

да нѣтъ-нѣтъ и подниметъ свою головку съ русыми кудерками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты, шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки,—думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ физіономіей королевско-прусскаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!»—подумалъ Журавка и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію васильеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Илья Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было, въ самомъ дѣлѣ, Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Во-первыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность); во-вторыхъ, вѣдь и чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть вдогонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только — совсѣмъ немножко, этвасъ... бисхенъ, лепеталъ онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ не могъ вполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zuschneiden, mein Herr?—спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte,—твердо отвѣтилъ Илья Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— Nichts über den Kamm soll bleiben? — спросилъ нѣмецъ снова.

Илья Макаровичъ не понялъ и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja,—отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

Digitized by Google

— Oder nichts für den Kamm? — пристаетъ опять вахмистръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, что это такое значитъ», — подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja,—махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

«Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ ja не отдѣлаешься.

«Была не была», — подумалъ онъ и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмецкой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлянулся и съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготовленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

— «Recht wohl!» и, ничѣмъ не смущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую нашъ Сампсонъ не замѣчалъ, какъ жречески священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его ganz akkurat до самаго черепа. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щетку, такъ что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцѣловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat!—произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ васильеостровской академіи позорѣ.

Digitized by Google

— Нѣтъ, я вижу, нечего тутъ съ этими чертями дѣлать! — рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою копію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ,—увы!—не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ говорилъ только:

— Ну, да, да, я знаю, что я смѣшонъ: но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются.

Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуля; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ, скорчась мопсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на Смоленскомъ полѣ или подстрѣливаніемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

Digitized by Google

— Это подлое ружьенко,—говорилъ онъ насчетъ какого-нибудь ружья, къ которому началъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калибру — и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный погонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцеришко бардзо добрый! — весь сіяя отзывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза.

И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но зато коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица, — говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить безполезную личность къ коршуну. — О! о! видите, якъ туляется, подлецъ, по клѣткѣ! — указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого-нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было заегозился, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во

Digitized by Google

всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы не плесть всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомѣрной доктриной и не ядовитымъ шипѣніемъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и неделикатно стѣсняла его свободу. По крайней мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно,—говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза не долюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ разсказывала о какомъ-нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими разсказами, точно, было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ-нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволялъ къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь — и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребенка. Ребенокъ захотѣлъ груди и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Digitized by Google

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить,—оправдывался художникъ.— О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, — говорилъ онъ Дорѣ, когда ребенокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребенка и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнымъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули или изучать механизмъ добраго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ васильеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ и не прочь попотчивать пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ, дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянокъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумасшествія и каждый годъ хоть по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хоть лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Digitized by Google

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Темныя предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скупыя стали?— спросилъ, поглядѣвъ на часы, художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скупа? — спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— Que diu?—спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я, въ самомъ дѣлѣ, невнимательная! — сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте!—крикнулъ Илья Макаровичъ: — я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафѣ.

— Пойдемте вмѣстѣ! — крикнулъ Илья Макаровичъ, и засѣменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкафѣ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, — сказалъ художникъ. — Теперь бы кусочекъ чего-нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что̀ найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать! не надо! не надо! Вотъ это что̀ у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закушу.

Илья Макаровичъ тутъ же, стоя у шкапа, выпилъ водченки и закусилъ грибченкомъ.

— Хотите еще рюмчонку? — сказала Анна Михайловна,

Digitized by Google

держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки. — Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слыхали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! — возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! — отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился и, разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть было не поперхнулся.

— А грибченки бардзо добрые,—заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтительные грибченки,—говорилъ Илья Макаровичъ, входя въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣдняго дома.

— Пора домой,—сказала она, не оборачиваясь

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигарeточку,—отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь?—спросила она по-французски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ,—отвѣчалъ по-русски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня,— отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? — спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки, видимо, развеселили.

— А Богъ его знаетъ, — вздохнувъ, отвѣчала Анна Михайловна.

Digitized by Google

— Теперь хорошо въ Италіи!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колоритъ-то! колоритъ-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а, впрочемъ, всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую?—посмѣиваясь и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, — проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія,—сказалъ, вздохнувъ, Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? — спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *тальянкамъ* до нашей, до русской! Наша русская какъ полюбитъ, такъ и пригрѣетъ, и приголубитъ, и пожалѣетъ, а это все...

— Qua? — спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка,—отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой.—Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть, вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! — добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцѣловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колоритъ-то, колоритъ-то какой!—говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней. — Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

Digitized by Google

— Да, въ одиннадцатой линіи, какъ говаривалъ Несторъ Игнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, сострилъ шельмецъ, чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ, и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! — отвѣчалъ онъ и, обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава Богу, не пишетъ—успокоилась.

Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма!—сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать,— сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ.—Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая, какъ бѣлобрюхой, холодной жабой проползла надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала, вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за границей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала приписки подъ его письмами, и то не всегда.

«Что это значитъ? — думала Анна Михайловна: — До-

Digitized by Google

рушкѣ лучше, Дорушка почти здорова и отъ Дорушки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба...»

Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ниццу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ:—Зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать,—прибавляла она въ раздумьѣ.

Такъ все и ползло, и лѣзло скучное время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по таліи чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Если бъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура, — разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну: — что̀ бы я только устроила... Tiens! Oui, oui... une petite maisonnette et tout ça.

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны

Digitized by Google

былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement,—сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire!— отвѣчала ей гостья.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ Дашиной рукою. Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ post scriptum:

«Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгѣ я надѣюсь съ нимъ счесться».

Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ и что на-дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на-дняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли?—спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея,—отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?—Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь

Digitized by Google

вообразить, chère Vera, — отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь?—спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина,—назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ-нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да,—отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ допроса, сама спросила:—такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ une tête d'or. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Ну... это не совсѣмъ такъ, — произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

Digitized by Google

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно,—отвѣчала, смѣясь, незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша, — сказала Анна Михайловна и разсѣянно спросила: — а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ разсказъ!— проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей maman. Можетъ-быть, хотите что-нибудь передать имъ?

— Merci bien. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ,—замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея amant.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай.

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа!—пройдя нѣсколько шаговъ, сказала m-lle Vera.

— И, ma chère! въ какомъ же по-твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ,—въ раздумьѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу и саркастически улыбнулась.

— Не настолько, однако, надѣюсь, интересенъ, — пошутила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ,—отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ и заговорили ни о чемъ.

Digitized by Google

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Туманная даль близится и яснѣетъ.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала его съ нетерпѣніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одиннадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что-жъ это Несторка-то! — началъ онъ, только входя въ комнату.

— А что? — спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Не скоро доходитъ за границу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть?—спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть?—читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава Богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава Богу.

— А что, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ,—медленно проговорила Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? — спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чайники развѣ, такъ отъ скуки—могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

— Вы на меня не въ претензіи? — спросила она Илью Макаровича.

— За что?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

Digitized by Google

— Скучно безъ нихъ ужасно, — сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Знаете, что̀ я подозрѣваю?—сказалъ онъ.—Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна!— сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ и снова остановясь передъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что̀, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза и, наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что̀ онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю,—сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! — наконецъ, вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ, самъ понимаетъ, что̀ дѣлаетъ.

— И ее,—еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу?—переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

Digitized by Google

— Не знаете вы, за что̀ беретесь, мой милый! — отвѣчала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человѣка опомниться,—таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что̀ вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что̀ у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашѣ?

— Да-съ.

— О, Аркадія священная! Дашѣ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жаль; а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ ничей разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жъ они о себѣ теперь думаютъ! — грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ—зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что̀ же это такое вы сами-то, наконецъ, говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что̀ же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецъ!—Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что̀ вы его такъ браните? Ну, что отъ этого поправится, или получшѣетъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете, хоть и въ Италіи были.

Digitized by Google

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего-нибудь сбивалъ?—сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и, помолчавъ, спросилъ:

— Такъ какъ же это по-вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгалъ.

— Да... однакожъ... позвольте: на что же это она бьетъ, въ чью же-съ голову она бьетъ?! — спросилъ онъ, остановившись.

— Любитъ.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что жъ будетъ изъ такой любви?

— Что̀ изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... *вы* его, наконецъ, любите?

— Ну-съ; такъ что же далѣе?—произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю! — крикнулъ, пожавъ плечами, Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгалъ, мотая повременамъ головою и повторяя съ ажитаціей: — ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы, однако, поняли, что тамъ что-то есть? — спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлью повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ, просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ, наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понурый, на женщину никогда не взглянетъ, а женщины на него, какъ муха на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да,—уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинскаго и опять невинно смущаясь.

Digitized by Google

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя,—сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну, нельзя, нельзя.

— Нельзя, — подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серьезнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Дорушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ, а?.. развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и неистово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что̀ онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ»! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То-есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ ума сойти!—отвѣчалъ художникъ, заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ знаетъ что̀ такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, а то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но, наконецъ, это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать, однако?

— Ничего,—также тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлалъ на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жъ вы не сказали, здѣсь бы была водченка, — спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то-и-дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью,—разсуждалъ Журавка.

Digitized by Google

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно?—шопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу?—отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! — воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть,—отшутилась Анна Михайловна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Немножко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отъѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось, — глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ и ничего ему не отвѣтила. Подъѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостиницѣ номеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать,—сказалъ ей Долинскій.

— Да, я спать хочу,—отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не безпокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! — слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка—хорошо.

Digitized by Google

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было по чемъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! — сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Что̀ она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, что жъ еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? — она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія,* а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните ли вы его?

— Что же это такое, Дорушка?

— Свезите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется посмотрѣть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составитъ большой расчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ-нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей, и Даша была очень счастлива.

— Люблю я,—говорила она:—ѣхать на лошадяхъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глупыхъ вагоновъ.

Digitized by Google

Долинскій смѣялся и разсказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадяхъ по Россіи.

— Все это, можетъ-быть, такъ; я только одинъ разъ всего ѣхала далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запираютъ, прихлопнутъ, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертятъ: дескать, не смѣешь вылѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волыни и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультракатоличка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?—спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ?—Съ мужемъ?..

— Съ какимъ мужемъ,—разсмѣявшись, спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете?—спросила, нѣсколько обиженная ея смѣхомъ, полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, — отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и разсказала пани Свѣнтоховской какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Что жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія?

— Не то, что очень неприлично, а...

— А что?

— Оно... небезпечно.

Digitized by Google

Даша опять захохотала и, немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? — освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности?

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, — отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. Я, *моей собственной персоной!*

Даша разсказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ, и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно безпокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора,—не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать?

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулись домой только во второмъ часу. Войдя въ номеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, — отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что̀ о васъ говорили паны? — спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что̀ они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка?

Даша сдѣлала гримасу и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали; а потомъ спросила: — А вы слышали, что̀ о васъ говорили пани?

Digitized by Google

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы Анинъ «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится.

Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ!—начала, подумавъ, Даша.— Громами гремите противъ предразсудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Что же вамъ! Развѣ вы не любите сестры или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорятъ, «коханкомъ».

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, что у этихъ господъ значитъ *коханекъ*.—Мнѣ, это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ! — отвѣчала съ ироніей Даша. — Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко, еще, вѣрно, сидятъ въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, — повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время
Полупорывовъ долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

Digitized by Google

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Все обстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько слабою. Закачало ее, и потому Долинскій рѣшился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гораздо лучше и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ,—говорила она:—чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего добраго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года, живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скуки какъ-разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хоть со свѣта бѣжи тогда.

— Что̀ вы выдумываете, Дорушка!

— А что̀-жъ! Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Развѣ ужъ въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! — смѣясь, воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты, таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины или женщины?

— Тѣ и другія?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значитъ, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же, какъ

Digitized by Google

и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ Божіе идетъ Богови, а кесарево кесареви. Они и живутъ, и думаютъ, и любятъ, и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ?

Даша разгорячилась.

— Шуты святочные! — сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ что̀ же вы, Даша, разскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелесть! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣшетились.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у! Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавитъ.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что̀ я одно только не взлюбила въ полькахъ?—заговаривала Дора.

— Что̀? — спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! — отвѣчалъ Долинскій, все еще не вошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась и, пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

Digitized by Google

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что̀ же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову—какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сторону ничего не видятъ. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ: или строгость, или ужъ распущенность, есть своеволіе, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же розвять! — отвѣчала, качая головкой, Дора.

— Способнѣе, полагаете, наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ, дѣйствительно, смѣлость; наши женщины—хорошія женщины; онѣ, дѣйствительно, хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь не плохо и теперь живется съ ними?—добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка,—отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что̀, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день, по пріѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостиницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ,

Digitized by Google

отыскивая квартиру. Задача была не малая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, не высоко и не дорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. M-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что̀ будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голландскимъ пѣтухомъ, жила въ крошечной комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того, у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигіеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. M-me Бюжаръ оказалась драгоцѣннымъ существомъ. Она услуживала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и со всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: — m-me Бюжаръ! Изъ другого окна ей весело откликались словомъ:—Signora Dorra! и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать что̀ нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алыя пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щёчекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ

Digitized by Google

вслухъ или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣсколько разъ повторять ей нѣкоторыя мѣста и часто надъ многими крѣпко и долго задумывалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ, Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша, молча, замарала все начерченное ея перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала:

— Пойдемте гулять.

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба, молча, присѣли на зеленую травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это!—сказала Даша, не открывая глазъ.

— Что̀ такое?—какъ бы оторвавшись отъ другой думы, спросилъ Долинскій.

— Такъ, Богъ знаетъ, что̀ приходитъ въ голову. Вотъ напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

Digitized by Google

— Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю,—отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, — начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ-навыворотъ и таранты-на-вонъ. Клянутъ и презираютъ за то, что только уважать можно, а уважаютъ за то, за что отвернуться хочется отъ человѣка. Трусы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en détail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется — его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросаетъ — только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними!—тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе.

— Да, это *не счастіе!*

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету да взамѣнъ ея получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотѣ одна мелочь, на которую ужъ нельзя вымѣнять снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! — сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да *у никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась и, помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора не годится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

Digitized by Google

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькіе съ своими програмками. Счастья они не даютъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предразсудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пустые, безволье, привычка цѣнить пустыя удобства, да и многое, многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенное несчастіе.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предразсудковъ, противъ *всего*, что̀ несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, силъ человѣческихъ недостанетъ.

— Но какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другого, для чего-то далекаго, неосязаемаго.

— Что жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погостѣ живучи, всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь, всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется, а впрочемъ, можетъ-быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что̀ такое?.. Путаница-то эта?

Digitized by Google

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я, по какимъ-то счастливымъ случайностямъ, давно пріучилъ себя смотрѣть на многое по-своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю или, по крайней мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Разскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что-нибудь про вашу матушку,—попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ разсказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, разскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье въ Кіевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но, увле-

Digitized by Google

каясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здѣсь, въ Ниццѣ, на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ниццскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій, не крадучи, можетъ взять у нея все, что̀ ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это разсказываете!—перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе:

— У насъ въ домѣ не знали, что̀ такое попрёкъ, или ссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе—прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько тебѣ чего нужно, столько для тебя есть на свѣтѣ».

Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій, молча, пожалъ руку Доры.

— Вы знаете,—продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются «Галубомъ»; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а Тазитъ только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она впередъ своей христіанской индульгенціей простила все людямъ, она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненькое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записывалъ моею дѣтскою рукою ея имя — и оно гдѣ-то пропало тамъ, въ Москвѣ, и еще, можетъ-быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва

Digitized by Google

умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньѣ, и этотъ Шпандорчукъ или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ?—произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я, ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ — что я такое?.. Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что я, наконецъ, такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, — произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, — опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? — спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все, что какъ-нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, — отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.—Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого!—сказала строго Дора.

Digitized by Google

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ!—сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора, и, окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала:—*пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— Зато, — началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто:—кончается мое незабвенное дѣтство и съ нимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены въ началѣ хотя?—разспрашивала, силясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что̀ это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то небезкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и слава Богу.

— Нѣтъ, вы разскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете, какъ любятъ, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ, но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?

— Разъѣхались, разбросало насъ по разнымъ мѣстамъ.

— Какъ будто мѣста̀ могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ.

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вамъ?

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра?—спросила она послѣ короткой паузы.

— Сестра моя?.. Богъ ее знаетъ! говорятъ, такъ себѣ... *барыня...*

Digitized by Google

— По «правиламъ» живетъ,—смѣясь сказала Дана.
— По «правиламъ»,—смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.
— Эгоистка она?
— Нѣтъ.
— А что же?
— Я вамъ сказалъ: барыня.
— Добрая?
— Такъ... не злая.
— Не злая и не добрая?
— Не злая и не добрая.
— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.
— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ, Анна Михайловна—хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.
— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?
— Обѣ вы хорошіе человѣки.
— Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?
— Васъ, конечно.
— Ну—то-то.

Они разсмѣялись и, наговорившись до-сыта, пошли домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Любовь до слезъ горючихъ.

Тихое однообразіе ниццской жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушимое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ semper idem, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ, увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей *съ искрой Божіей* нѣтъ semper idem, и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи

Digitized by Google

этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучатъ эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣкъ снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ café съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кирилломъ, и когда Кириллъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непрямомъ положеніи. А Кириллъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кириллъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свойственнаго большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кириллѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ-таки ровно ничего незначащимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кириллъ Онучинъ?.. Да какъ бы это вамъ сказать, что̀ такое Кириллъ Онучинъ?—отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками, всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кириллъ Александровичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что-нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи—знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была из-

Digitized by Google

вѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III, а во всѣхъ кружкахъ затолковали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что̀ это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кириллъ Александровичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ ней подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленькій женскій наперстокъ и, загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большомъ,—разсказывалъ Кириллъ Александровичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвесть въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто-на-просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствію за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще бо̀льшую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла пятилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ

Digitized by Google

этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ родцемъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошенькія коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая телѣжка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы,* какъ называли Жервезу горожане, которымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошаденкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою крошечную телѣжку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжащійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою телѣжки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материно молоко, хлопалъ ее полненькой рученкой по смуглой груди и улыбался, зазирая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и, оставивъ у нея ребенка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала стаканъ кофе, брала ребенка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Дорушка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица* ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи,—говорила она Долинскому:—а не мы, Мароы, кажется, только и стоящія одного упрека... Можетъ-быть, только мы и выслужимъ за свое мароунство.

— Опять новое слово,—замѣтилъ весело Долинскій:—то разъ было *комонничать,* а теперь *мароунствовать.*

Digitized by Google

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны,—отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кириллъ Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь,—наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай, ай!—говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то,—отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше,—успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идиллія изъ повѣсти или романа,—говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика: — благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно,—увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

Digitized by Google

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будитъ меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубитъ вамъ дровъ и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ, бѣдный, не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ-быть, и поетъ,—пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ, нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цѣловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чиститъ его бѣлье, кто ему починитъ, если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычиститъ его бѣлье и его поцѣлуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? — произнесла, блѣднѣя, «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ. — Вы знаете что-нибудь, mademoiselle?—спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ и быстро вперяя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, — говорила встревоженная Дора, вставая и цѣлуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила и что я, напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! — проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора, я ему совсѣмъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ не виновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и

Digitized by Google

ласковый, и потомъ вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, — говорила она, развеселясь и цѣлуя за каждымъ словомъ своего ребенка. — Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ, правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ зато, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшіе; мы все цѣлуемся, все цѣлуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ разсказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съ ума и онъ тоже.

— А что̀ вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ? *Недурненькій* онъ или нѣтъ? — говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что̀ же?—переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! — отвѣчала ей на ухо Жервеза.—Онъ такъ меня цѣлуетъ,—шептала она скороговоркой:—что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы Дорушка остановилась разъ шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень легко: за ухо приведетъ и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ;* помни это, голубчикъ!—говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она зато вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

Digitized by Google

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила въ мужѣ самоё себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любитъ истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на сѣнѣ?

— Тогда она собака на сѣнѣ.

— Видите,—начала, подходя къ городу, Дора: — почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—многорѣчивыми Мареами. Какъ это все у нея просто и все выходитъ изъ одного *люблю*.—Почему *люблю?* — Потому, что онъ такой недурненькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ — и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ пойдетъ мареунство: какъ? да что? да, можетъ-быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, супленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ — и все пойдетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, стало-быть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей любви*, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ,—подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почемъ вы знаете, чего здѣсь болѣе — любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь — большое дѣло! Она скромна, она молчитъ... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь,—сказала она: — вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ-быть.

Digitized by Google

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! — протянула Дора и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? — спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!.. никакого,—отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ синерозовыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземнаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насѣвшую на его лакированный ботинокъ, изъ растворенного низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною сѣтью ползли синіе усы винограда; Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорою и остановился у ея плеча.

— Тсс! — произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только-что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадонны, съ сердцемъ, пронженнымъ семью мечами—все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ спензерѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой рубашки

Digitized by Google

лежалъ небольшой черненькій шарикъ. Это была головка ея младшаго сына, который тихо сосалъ грудь и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра Жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки сжавши на груди, но смотрѣлъ въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлый котенокъ, преграціозно раскачивающій лапкою привѣшенное на ниткѣ красное райское яблочко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадоннѣ и тотчасъ же запѣла: «Ты, Который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти пѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно, отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но, тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ тріо была гармонія удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣтъ съ нами, Ты также помилуй, и съ ними живи,—пѣла Жервеза послѣ первой молитвы.— Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и заглядывали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

«А тѣхъ, которые любятъ другъ друга, — запѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ перваго звука зазвенѣли слезы:—тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избави ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другъ къ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и не попусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плывшія въ голосѣ Жервезы и затруднявшія ея пѣніе, разомъ хлынули цѣлымъ потокомъ, съ стонами и рыданіями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ ду-

Digitized by Google

шевныхъ движеній не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за насъ, Алиночка!—говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ пересталъ колыхать лапкой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадонны; въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать,—произнесла въ это время, успокоиваясь, Жервеза:—будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Бѣднымъ дѣтямъ, — запѣла она спокойнѣе: — дѣтямъ-сироткамъ будь Ты отцомъ и обрадуй ихъ лаской Твоею, и добрыхъ людей имъ пошли Ты навстрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и платья, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва, повидимому, приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникѣ и, незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ садика.

— Что̀ молится такъ, Долинскій? — спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій успѣлъ ей что-нибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ удареніемъ сказала: — такъ молится *любовь!* Любовь такъ молится, а не страсть и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронулась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Что̀ жъ, вы не зайдете, развѣ? — спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?.. Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ оруже

Digitized by Google

ставляется мнѣ теперь этотъ домъ?—проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухѣ руку къ домику Жервезы.—Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ. Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за нихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, — сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, — добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значитъ, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта?—ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по-вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ Анина, или Жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?.. ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какія-то тамъ глупыя страсти.

— Мнѣ такъ показалось.

Digitized by Google

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Если бы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно-быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ-быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Что это такое? первое дѣло—оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской—не Божій: всегда въ немъ много ошибокъ, — отвѣчалъ спокойно Долинскій. — Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался—извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случалось, хоть и со мною даже... идетъ, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ — кракъ, смотришь — все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну, вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я не виноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди уми-

Digitized by Google

раютъ? Какъ это послѣдняя минута?.. вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ!—подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Умретъ кто-нибудь — мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ—бацъ! не поймалъ, умеръ и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *увѣренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!.. позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша, и вы мнѣ этимъ не польстите. И вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снялъ шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, ммм! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребенокъ! Ну,

Digitized by Google

развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней мѣрѣ, очень многое.—Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные, люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а одностороннихъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наоболмашь, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ о немъ разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ — старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожкѣ и читаю; вдругъ, вижу я, за куртиной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро и, кромѣ насъ да птицъ, въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за

Digitized by Google

каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху и чуть слышно шепнулъ мнѣ:

«— Ни до чего не дошелъ.

Говорю ему:

«— А какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи.

«— Какъ отношусь?—говоритъ.

И опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ:

«— Не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ.

— Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я, дѣйствительно, человѣкъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами, и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю Богъ знаетъ что̀, Богъ-знаетъ что̀! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко!—проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пушокъ подъ ея крылышками.

— Милая!—сказала она, поцѣловавъ птичку въ головку,

Digitized by Google

приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минутъ десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ, все страстнѣе и страстнѣе цѣловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого каштана, она поцѣловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ,—сказала она ему, идучи по пустой улицѣ: — знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими *днями передъ казнью*, вамъ остается одно—найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою разсказы о прошломъ, раскрывая передъ нею еще подробнѣе внутренній міръ разсказчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ!—сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку:—разскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ что̀ это вы выдумываете, Дора?

— Такъ разскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто̀-жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что̀ вамъ разсказать?

Digitized by Google

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разсказалъ свою почти дѣтскую любовь къ какой-то кіевской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разсказалъ ей въ главныхъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость!—прошептала Даша и, вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше что̀ было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Что̀?—спросилъ ее Долинскій.

— Такъ, ключъ найденъ!—чуть слышно уронила Дора.— А какъ вы думаете,—начала она, помолчавши съ минуту:— вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Что̀ хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, что̀—хорошо, а то хорошо, что̀ кому нравится.

— Я вамъ говорю, что *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что̀ нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! къ тому, что если встрѣчается что-нибудь очень хорошее, такъ его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а, напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

Digitized by Google

— Съ постоялымъ дворомъ,—смѣясь, отвѣчалъ Долинскій

— Гадко, а похоже, пожалуй.

— А, пожалуй, и непохоже,—отвѣчалъ Долинскій.

— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.

— А другой разъ и пустой дворъ простоитъ.

— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Меркурія отыскать никогда не любившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— Что-жъ, Меркурій отыскалъ?

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

— *Трехъ!*

— Только-то?

— Да-съ, и эти три, знаете, кто были? *Три фуріи!*— протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь этакого фуріознаго сообщества.

— Вы съ какой же это стати?

— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурія и онъ найдетъ ужъ четырехъ.

— Еще полюбите и какъ полюбите.

— Нѣтъ ужъ, кажется, поздно.

— Любить никогда не поздно.

— Вотъ за это вы умникъ! Люди жадны ужъ очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?

— Конечно, правда.

— Какое у насъ образцовое согласіе!

— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.

— А вѣдь я бы могла очень сильно любить.

— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По-моему, любить, значитъ... *любить*, однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.

— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

Digitized by Google

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви»?— улыбаясь, продекламировала Даша.

— Но, кто—о, сердце! можетъ противиться тебѣ?—отвѣчалъ Несторъ Игнатьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

Но сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Любовь, для неба и земли—святыня,
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паѳоса, до поэзіи.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы

— Виноватъ.

— То-то.

Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетены на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсѣмъ не права. Есть вѣдь такія положенія; Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струситъ.

— Напримѣръ, что-жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко пояснѣе.

— Да что-жъ тутъ яснѣе? Мало ли что̀ случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любитъ другая женщина, для которой потерять этого человѣка будетъ смерть... да что̀ смерть! Не смерть, а му̀ка, понимаете—му̀ка съ платкомъ во рту. Что̀ тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь, не любитъ васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любитъ больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье!

Digitized by Google

Вѣдь если, положимъ, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любитъ васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то Б. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любитъ, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой расчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, — отвѣчала она:—въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что̀ даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, что̀ сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если бъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка: не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, что вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то, разумѣется— правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ!—отвѣчалъ, шутя, Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, — отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила:— а вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что̀ вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Эхъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что̀?

Digitized by Google

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, если бъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла:

— Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ и, быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Даши, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виноватъ, проспорилъ. Можно, дѣйствительно, поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ, и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теперь,— сказалъ нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, — началъ Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своемъ зальцѣ.

— Это зачѣмъ?—спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги и, не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платья. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чемъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста,

Digitized by Google

ни положенія и, опустивъ глаза, тихо посмотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! Въ какомъ все строгомъ чинѣ! — сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной конфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ и постучался въ Дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ—отвѣта тоже нѣтъ.

— Даша?—кликнулъ онъ:—Дора! Дорушка!

За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика, и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги,—сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу!

И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-Бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

Digitized by Google

— Ну, простите, Дора, только растирайте скорѣе свои ноги—не остылъ бы спиртъ.

— Попросите хорошенько.

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», — произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря:

— Какую вы это скверность купили.

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? — спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли?—воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, — сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая, надоѣдливая,— говорила, смѣясь и глядя на него, Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый плэдъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! — спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, — отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько,—и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ!—крикнула Даша.

— Что̀ вамъ угодно?

— Что жъ это за невѣжество?

— Что̀ такое?

— Ужъ вы нынче не прощаетесь со мной?

— Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

— А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?

— Ну, пожалуйте же вашу ручку.

— Не надо,—отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.

— И тутъ капризъ.

— Вездѣ, да, вездѣ капризъ! на каждомъ шагу будетъ капризъ—потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Digitized by Google

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ Дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышитъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго, и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала не спокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель— очень неблагопріятная вещь при ея здоровьѣ; прописалъ ей лѣкарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все сушилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребенокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначащими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно, ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придираться и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ, Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? — спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего жъ вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно-быть, капризничаю?

— Ну, что̀ жъ дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, если бы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ,—отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

Digitized by Google

— Вотъ! Стану я еще сердиться! — продолжала вспыльчиво Дора.—Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всѣ врутъ, и только. Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда,—отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ-было ночевать къ ней m-me Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери Дашиной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ!—тихо покликала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали?—спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Что̀ же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота-жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла,—начала, зѣвнувъ, Даша.— Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, — сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повыдумывали: вымышлен-

Google

ное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно, что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное?—философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновенію своему, шалитъ, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Безсонница меня мучаетъ,—говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая безсонница! Вы просто выспались днемъ,—отвѣчалъ Долинскій.—Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу,—отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите,—сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и, улыбнувшись, проговорила:—львы—хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»,—подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любитъ!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что-нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ

Google

ея кровати и, прислонясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахара жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромные крокодилы: «это, должно-быть, Нилъ», — думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ, ты Днѣпръ ли мой широкій!
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

— Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?—спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха!—думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, — говоритъ крокодилъ: — а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри же,—продолжаетъ крокодилъ:—разъ, два!

Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

— Это мой фантъ, твой въ лодкѣ,—говоритъ чудовище.

Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

— Это твой фантъ, — внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонутъ.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ»,— подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, облитую слабымъ свѣтомъ, проходив-

шимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцѣловалъ эту руку, какъ цѣловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцѣлуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая къ его поцѣлуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу; она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣлой наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышитъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры и поспѣшно вышелъ за двери.

Если бъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь и, еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку... Вмѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію?—сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-me Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла

Digitized by Google

на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе и видно было, что онъ искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдетъ,—разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи Дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже, гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану».

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ,—сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила,—сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Былъ восьмой часъ вечера. Угасалъ день очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сядемте здѣсь, — сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко,—сказала Даша.—Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто, Даша легла на немъ и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите,—сказала она, заслонивъ волосами лицо До-

Digitized by Google

линскаго: — я, точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій». Надо жъ, чтобы у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ людей. Вотъ если бы у васъ были такіе волосы, — прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ:—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ,—сказалъ, смѣясь, Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица и проговорила:

— Да вы-таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько и ничего не отвѣтилъ; Дора, молча, смотрѣла въ сторону и, рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что̀ вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Что̀ это васъ такъ обходитъ?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чего добраго, не доѣдете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почемъ знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ-быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выползетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ-быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ. — А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли!—спросила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанѣ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ, чей же замѣчательнѣе? — окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Digitized by Google

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну что̀ за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла; глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда А любитъ Б, а Б любитъ С, и С любитъ Б, что этому С дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же! Вѣдь, это вы мнѣ эту алгебру-то натолковали,—сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что̀ сказать.

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать во̀-время; ни въ чемъ не могу найтись!» — размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— А любитъ Д, и Д любитъ А! Б любитъ А, но А уже не любитъ этого Б, потому что онъ любитъ Д. Что̀ же теперь дѣлать? Что̀ теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнѣе крикнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно,—уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обиняковъ: *я васъ люблю.*

— Дора!—вскрикнулъ Долинскій и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе,—продолжала серьезно Дора:—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!.. Чего жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое—хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я, вѣдь, видѣла, какъ ты хотѣлъ цѣловать мое лицо,—проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго,—ну, вотъ оно—цѣлуй его: *я люблю тебя.*

— Дора, Дора, что̀ вы со мной дѣлаете? — шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

Digitized by Google

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ,—выговорилъ, задыхаясь, Долинскій.

— Не зачѣмъ!—страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцѣловала его въ губы.

— Любишь? — спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите!—робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя и, глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня?

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, — проронилъ, блѣднѣя, Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ...*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше*,—досказала Дора.—Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась въ него безконечнымъ поцѣлуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю! — шептала она, сгорая подъ поцѣлуями.

Лепетъ прерывалъ поцѣлуи, поцѣлуи прерывали лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора идти было домой.

— Боже, какъ уже поздно!—сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ,—тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла, облокачиваясь на руку Долинскаго; онъ шагалъ уныло и нерѣшительно.

— Постой!—сказала Даша.

— Что̀ вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды миріадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбереж-

Digitized by Google

наго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо колеблющимся заливцемъ, а въ открытое окно изъ ярко освѣщенной виллы бояръ Онучиныхъ неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

M-me Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего окна на окно Доры, но окно это, попрежнему, все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ m-me Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенныя руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ!—повторилъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю, — подумалъ онъ нѣсколько радостнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки.—Боже! если бъ смерть! Если бъ не видѣть и не понимать ничего, что̀ такое дѣлается.»

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ Дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой шпаги, поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой муки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ!—позвала съ покойной улыбкой Дора.

Digitized by Google

— Я сейчасъ, — отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногою свое кресло.

. . . . . .

. . . . . .

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не безпокоило; она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря и, стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
CENTRAL RESERVE
CIRC. 476 FIFTH AVE., ROOM 100
116th STREET BRANCH
Digitized by Google

Оглавленіе

VI ТОМА.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ.

	стр.
Часть I.	5
Часть II.	133

NEW YORK PUBLIC LIBRARY
CIRCULATION DEPARTMENT
115th STREET BRANCH, 203 WEST 115th ST.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google